

ИНСТИТУТ  
ЭКОНОМИКИ



РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**О.Б. Кошовец**

ОБРАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В НАУКЕ, ПОЛИТИКЕ  
И ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА

Москва  
2023

УДК303.01; 330.88  
ББК 87.2; 65.02  
К 76

Рецензенты:

*В.С. Автономов* член-корр. РАН, д.э.н., проф.

*Е.В. Балацкий* д.э.н., проф.

*Л.В. Штовалова* д.филос.н.

К 76 **Кошовец О.Б.** Образы экономической реальности в науке, политике и публичном пространстве: тенденции XXI века: Монография. М.: ИЭ РАН, 2023. – 376 с.

ISBN 978-5-9940-0732-7

Работа посвящена осмыслению эволюции понятий экономической реальности в контексте изменения общих представлений о научном знании при переходе от естественнонаучного стандарта к математизированному (в рамках маржиналистской революции), дальнейшей структуралистской трансформации и отказу от субстантивных онтологий. Дана попытка интерпретации причин формирования (не)реальных экономических моделей. Проблема расхождения формальных онтологий и образа реальности в экономической науке резко обострилась после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Однако последовавшее десятилетие не преодолело разрыва, а напротив, скорее усугубило его, что проявилось, в частности, в развитии нейроэкономики и в усилении экономического империализма. Дополнительное напряжение между образами реальности создается в рамках противостоящих и взаимодействующих друг с другом эпистемических культур: властно-административной и собственно научной. Объект управления должен быть идентифицирован и квантифицирован, объект изучения является предметом научных конвенций. В конце XX в. появляется фигура «эксперта», этос которого радикально отличается от этоса ученого. Роль эксперта определяется «заказчиком», а в качестве последнего выступают представители власти. Образ экономической реальности, который представляет эксперт, может сильно отличаться от того, в рамках которого формирует свою исследовательскую стратегию ученый. Работа предназначена для экономистов-методологов, философов и социологов науки.

**Ключевые слова:** реальность, онтологии экономической науки, модели, формализация, речевые практики, нейроэкономика, экспертное знание, трансэпистемическая область.

**Классификация JEL:** A12, A14, B41.

ББК 87.2; 65.02

© Институт экономики РАН, 2023

© Кошовец О.Б., 2023

© В.Е. Ваерис, дизайн, 2007

## ПРЕДИСЛОВИЕ

памяти О.Б. Кошовец (1972–2023)

Любая сложная и нетривиальная книга практически всегда является формой встречи читателя с автором, в ходе которой он может выступать и как соавтор, порождать собственные смыслы, обогащая, в свою очередь, общий жизненный мир произведения, что в перспективе может подарить и самому автору новые идеи и предметы исследования. Однако в данном случае написанная Ольгой Борисовной Кошовец (1972–2023) монография стала поводом для прощания<sup>1</sup>. Этой книге, являющейся иноформой докторской диссертации, блестяще защищенной автором 4 октября 2022 г.<sup>2</sup>, уже страдающим от тяжелой неизлечимой болезни, предшествовал долгий и нетривиальный путь становления ее как ученого, внесшего свой уникальный вклад в российскую науку.

Важно, что хотя последним профессионально-квалификационным шагом Ольги Борисовны стало получение ученой степени доктора экономических наук, она всегда оставалась профессиональным исследователем с базовым философским бэкграундом – и по основному образованию, и по исследовательской культуре, и по широте кругозора, смелости, масштабу и глубине видения предмета.

Кошовец О.Б. поступила на философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 1994 г., уже имея за плечами неоконченное высшее медицинское образование (1989–

---

1. [https://inecon.org/docs/2023/Koshovets\\_Nekrolog.pdf](https://inecon.org/docs/2023/Koshovets_Nekrolog.pdf)

2. «Формирование современной парадигмы экономического знания: методологические, онтологические и институциональные аспекты» по специальности 08.00.01 - Экономическая теория. См.: [https://inecon.org/docs/2022/Koshovets\\_decision\\_dissertation\\_council\\_20221004.pdf](https://inecon.org/docs/2022/Koshovets_decision_dissertation_council_20221004.pdf); [https://www.inecon.org/docs/2022/Koshovets\\_avtoreferat.pdf](https://www.inecon.org/docs/2022/Koshovets_avtoreferat.pdf)

1994 г., Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова) и серьезную богословскую подготовку. Обе эти предшествовавшие университету траектории сыграли свою роль в дальнейшем профессиональном становлении Ольги Борисовны — она будет последовательно соединять фундаментальную гуманитарную подготовку с прекрасной ориентацией в области естественных наук.

Студенты философского факультета выбирают кафедру специализации после первого года обучения, и для Ольги Борисовны таким выбором стала кафедра истории и теории мировой культуры (ИТМК). Во второй половине 1990-х на этой кафедре, которую долгое время возглавлял выдающийся филолог В.В. Иванов, а после него — блестящий историк философии А.Л. Доброхотов, работало целое соцветие выдающихся ученых, поддерживавших на кафедре ренессансную атмосферу комплексной историко-филологической гуманитарно-философской культуры, требовавшей от студентов обязательного глубокого погружения в исследуемый предмет через специфичные для него язык, историю и стиль мышления. Собственно, этот комплекс характеристик и составлял основу титульного предмета кафедры — «культуры».

Кафедра ИТМК сыграла судьбоносную роль в профессиональном становлении Ольги Борисовны. Ее научным руководителем стал В.Н. Романов (1947–2013) — глубокий и тонкий человек, блестящий ученый и один из редких исследователей, которому удалось создать собственный исследовательский подход в социально-гуманитарных науках, которые сам он предпочитал архаично называть «науками о культуре» или просто «историей культуры».

В работе с внимательным и дотошным научным руководителем родилось, по-видимому, первое серьезное исследование О.Б. Кошовец — в форме дипломной работы «Хора и Топос: «естественное» место в древнегреческой культуре». Работа опиралась на подход В.Н. Романова, предполагающий попытку редукции семантики теоретических понятий к исходной практике, приводящей к первоначальному возникновению этих

понятий в квазибытовом контексте и сохраняющейся в инвариантной части (семантическом «ядре») позднейших «зрелых» понятий, сменивших быто-практический контекст на абстрактно-теоретический. В свою очередь, для реконструкции траектории «практика-смысл-теоретическое понятие» необходимо восстановить «потенциальный текст», в который включен соответствующий инвариант группы лексических единиц — ансамбль семантических связей, актуализирующихся с разной степенью вероятности. Соответствующие связи (т.е. устойчивые контексты употребления, в простом случае — ассоциативные связи) и распределение их вероятностей позволяет делать аргументированные выводы о значении того или иного термина «внутри» культуры, т.е. в связи с «потенциальным текстом», в который он включен<sup>3</sup>.

Ольга Борисовна провела масштабное контекстуально-семантическое исследование, реконструировав на основе частного контекстуального анализа фрагменты потенциального текста древнегреческой культуры, связанные с двумя понятиями «места» — «хорой» и «топосом» (на материале оригинальных древнегреческих текстов Платона, Аристотеля и ряда других авторов). Этот подход позволил, в частности, сформулировать апокрифическую по статусу и аргументации, но нетривиальную и важную для историков античности и, в частности, исследователей Платона гипотезу о причинах появления и семантике понятия «хора» в одном из самых «темных мест» платонизма — диалоге «Тимей».

Нетрадиционный для классической филологии, составляющей дисциплинарное ядро исследований античности, подход в духе методологии В.Н. Романова вызвал тогда весьма бурное эмоциональное обсуждение во время защиты учебно-квалификационной работы на кафедре и стоил Ольге Борисовне оценки «хорошо» вместо заслуженного «отлично» и, соответственно, «синего» диплома вместо «красного». Использование

---

3. Подробнее см.: Романов В.Н. Историческое развитие культуры (психолого-типологический аспект). М.: Савин, 2003; Романов В.Н. Культурно-историческая антропология. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2014.

неканонической методологии не смогли компенсировать даже очевидно тщательное и добросовестное исследование внушительного массива текстов на древнегреческом языке и ясный, аргументированный и научно зрелый стиль дипломной работы. И хотя эта работа не получила признания, один из авторов этого предисловия до сих пор используется собранным в ней материалом, подходом и выводами в собственных лекциях по истории науки для студентов философского факультета Московского университета с большим удовольствием и существенной пользой.

В 1999 г. О.Б. Кошовец окончила обучение, получила диплом по специальности «философ, преподаватель философии», и в том же году поступила в аспирантуру философского факультета — на кафедру философии и методологии науки (ФиМН), к тому моменту уже значительно точнее соответствующую её актуальным исследовательским интересам. Не будет преувеличением сказать, что именно философия науки, эпистемология и методологические границы научного знания с тех пор будут оставаться неизменным сюжетообразующим предметом её профессионального интереса. И ее собственный подход, в свою очередь, будет оставаться методологически связанным с методом и проблематикой исследований В.Н. Романова.

На кафедре ФиМН Ольга Борисовна продолжила исследование оснований комплекса гуманитарных и общественных наук, теперь в полной мере сосредоточившись именно на методологическом аспекте проблемы. Что значит «понимать» и как возможно «объективное» или в любом другом смысле надежное знание другой, чужой культуры, как связаны теоретическая культура и материальные практики, что такое «смысл» и что за механизмы обеспечивают порождение, воспроизводство и проецирование на социальную практику теоретических схем и абстрактных понятий? Именно этот комплекс вопросов оказался в центре внимания защищенной Ольгой Борисовной в 2003 г. кандидатской диссертации по философии и методологии науки и техники на тему



«Исследование культуры и культура исследователя: методологические и гносеологические проблемы историко-культурных исследований»<sup>4</sup>.

В этой диссертации явным образом была поставлена под сомнение методологическая продуктивность традиционного для гуманитарных и общественных наук «взгляда сверху» — неявной установки принятия в качестве модельного (интуитивно естественного типового) объекта зрелых культурных форм и зрелого «теоретического» субъекта. Характерная, исторически сложившаяся, зависимость гуманитарных наук от языка, доминирование лингвоцентричных подходов и квазилингвистических моделей для всех форм социокультурной действительности, «разговор с умным собеседником» как естественная методологическая установка восприятия культуры и естественность языковой среды как обязательной и прототипической в методологическом смысле формы культурного опыта<sup>5</sup> — все это было оспорено как aberrация образованного в конкретно-историческом смысле человека очень конкретной культурно-исторической целостности. Перефразируя знаменитую метафору М. Хайдеггера, можно сказать, что язык становится, а не является изначально «домом бытия». Мышление обретает развитую форму вместе с появлением языка, но начинается до языка и опирается на внеязыковую действительность. Материальные практики человека предшествуют теоретическим и формируют семантику еще до появления фиксирующих её знаковых средств. Культура начинается с телесных практик, с действий и ритуалов, сохраняя в своих зрелых

- 
4. Диссертация, как и диплом, к сожалению, не опубликованы, но часть идей и материалов этого исследования О.Б. Кошовец один из авторов предисловия использовал с её разрешения в рецензии на коллективную монографию, где Ольга Борисовна является одним из авторов: Экономика как искусство: методологические вопросы применения экономической теории в прикладных социально-экономических исследованиях / Отв. ред. О.И. Ананьин: Ин-т экономики РАН. М.: Наука, 2008. См. также: Фролов И.Э. Размышления о применении экономической теории в прикладных социально-экономических исследованиях // Вопросы экономики. 2009. № 12. С. 72–82. <http://ecfor.ru/publication/primenenii-ekonomicheskoi-teorii-v-prikladnyh-issledovaniyah/>.
  5. См., например, своеобразную «библию» герменевтического подхода: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.

теоретических формах архаичную глубинную семантику паравербального социального опыта.

В перспективе такой подход позволяет по-новому взглянуть на методологию общественных наук, — в частности, на экономическую теорию, в направлении которой постепенно смещался фокус исследовательских интересов О.Б. Кошовец. В 2005–2006 гг. она прошла курс профессиональной переподготовки на Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, получив право на ведение деятельности в сфере «экономики и управления предприятием». Уже осенью 2006 г. она начала работать в секторе Центра методологических и историко-экономических исследований (ФиМЭН) Института экономики РАН, занимаясь под руководством к.э.н. О.И. Ананьина формированием концепции и структуры энциклопедического справочника по философии и методологии экономической науки.

Если традиционный для «цеховой культуры» экономического знания (как и для большинства других общественных и гуманитарных наук) подход рассматривает его методы как «просто» рациональные и в этом смысле «естественные» — они есть объективный результат работы универсального разума, реализовавшегося в коллективных усилиях многих поколений стремящихся приблизиться к идеальной рациональной машине ученых, — то подход, развиваемый О.Б. Кошовец, привносил в понимание метода историзм и требовал проявить внимание к специфической «культуре исследователя». Что «думает» в исследователе, когда он думает, что просто «думает», что за социокультурные механизмы подсказывают выбор проблем, аксиом и ценностных ориентиров исследователи; говоря философским языком, откуда берется и за счет чего воспроизводится та или иная эпистемология — совокупность регулятивных представлений о сущности знания и принципах обращения с ним<sup>6</sup>?

---

6 Одной из наиболее репрезентативных работ по этому направлению: Кошовец О.Б. Средневековая теология воли и ее роль в генезисе науки Нового времени: от разрушения онтологии к субъективно-психологическому обоснованию познания // Философия и история науки: проблемы взаимодействия. Воронеж: Изд-во Воронежского госуниверситета, 2006.

Исследования в сфере теоретико-методологических проблем экономической теории, развиваемых О.Б. Кошовец, в части комплекса вопросов о причинах кризисного состояния так называемой «чистой теории» экономической науки, причин её оторванности от реальных проблем экономической политики, насколько она адекватно отражает процессы реального мира или по-другому говоря, соответствует ли «чистая теория» экономической реальности и т.п., получили относительно завершённый вид в 2013–2015 гг. Некоторые из наиболее существенных результатов в этой проблемной области заключаются в том, что нереалистичность многих её положений во многом маскируется применением ряда онтологических схем, связанных с использованием сложного математического инструментария, созданного для других задач. Синтез экономической и формальной (созданной средствами математики) онтологий привел к фрагментации онтологии экономической теории и целостность теории в многом воссоздается математическим аппаратом. Более того, у ученых далеких от изучения онтологических проблем оснований математики само применение матаппарата вызывает иллюзию доказанности результатов исследования. Однако, в действительности, использование математики гарантирует лишь строгость изложения, но само по себе не обеспечивает реалистичность принятых посылок и достоверность конечных выводов. По сути, нет какой-то универсальной внеисторичной онтологии, каждая конкретно реализуемая онтология обеспечивает самостоятельность и обоснованность самых абстрактных теоретических знаний только конкретной модели. Это происходит постепенно: любой исследователь весьма длительно осваивает формы действий с абстрактными структурами, в рамках чего и происходит субъективация (необходимая сторона объективации общественных практик) индивида и коллектива, которая и дает им «доступ» к теоретической реальности в качестве субъекта именно этой реальности. Такие теоретические конструкции (например, для экономической теории это «ожидания рациональных субъектов», для финансовой — «дове-

рие» и пр.) представляют собой объективированные формы деятельности определенного типа субъектов, как созданные прошлыми поколениями ученых, так и воспроизводящиеся усилиями современных исследователей и пользователей.

Как соотносятся в таком случае научная реальность и онтология? Онтология теории (модели) выступает основой и обоснованием реальности теории, порождая у ученых чувство непосредственной истинности их теоретических конструкций. Заметим, что их истинность должна была бы проверяться исторически сложившейся практикой (для экономики это — с некоторыми оговорками — бизнес-практика, экономическая политика и управление хозяйством). Однако проверка многих теоретических суждений на их соответствие действительности из-за ряда условий сильно затруднена, поэтому приходится удовлетворяться логической истинностью, а также их воспроизводимостью (возможно, частичной) в теоретических практиках, принятых в конкретной научной школе<sup>7</sup>.

Ольгу Борисовну интересовал и такой дискуссионный вопрос: а может ли экономическая теория как научная дисциплина претендовать на статус естественной науки, о чем пишут многие исследователи, хотя бы в эпистемологическом смысле? Ею, в частности, исследовались типичные интерпретации экономических моделей как разновидности мысленного эксперимента с последующим отождествлением мысленного эксперимента и естественнонаучного эксперимента, уделяя особое внимание историческому контексту его появления в экспериментальной практике естествознания<sup>8</sup>.

- 
7. В качестве наиболее репрезентативных работ можно указать: Кошовец О.Б., Фролов И.Э. Онтология и реальность: проблемы их соотношения в методологии экономической науки и возможность построения научно-реализуемой онтологии // Теоретическая экономика: онтология и этика [отв. ред. О.И. Анашкин]. М.: Институт экономики РАН. 2013. С. 27–111. [https://ecfor.ru/publication/ontologiya-i-realnost/?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss](https://ecfor.ru/publication/ontologiya-i-realnost/?utm_source=rss&utm_medium=rss); Кошовец О.Б., Фролов И.Э., Чусов А.В. Онтологический анализ отношения теории и реальности в методологии экономической науки // Философия и общество. 2015. № 1–2 (76). С. 156–176. <https://www.socionauki.ru/journal/articles/273114/>
  8. Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. Эксперименты без материи: модели в теоретической экономике // Эпистемология и философия науки № 3 (49). 2016. С. 124-139. [https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/epst/03\\_2016/124%E2%80%93139.pdf](https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/epst/03_2016/124%E2%80%93139.pdf); Кошовец О.Б. Что мысленные эксперименты

Активизация работы Ольги Борисовны над докторской диссертацией началась еще в 2018 г., когда она начала публиковать основные положения и идеи своего будущего диссертационного исследования<sup>9</sup>. Однако параллельно она занималась и другой исследовательской проблематикой, носящей междисциплинарный характер: проблемами науки как особой сферы деятельности<sup>10</sup>, отдельными аспектами политэкономии социализма<sup>11</sup>, и рядом других направлений. Находясь на передовых рубежах науки, Ольга Борисовна активно участвовала и в международных конференциях<sup>12</sup>.

---

и модели говорят нам об экономической реальности / Глава в Разделе I. Проблемы методологии (С. 65–95) // Предпосылки экономической теории: критический анализ. Коллективная монография (под редакцией А.Я. Рубинштейна и Р.М. Нуреева). СПб: Алетейя, 2017.

9. См., в частности: Ореховский П.А., Кошовец О.Б. Структуралистская революция и метаморфозы экономической теории: от науки к сказке // Общественные науки и современность. 2018. № 5. С. 143–157. <https://ras.jes.su/ons/issue.2018.1.5-ru>
10. См., например: Кошовец О.Б., Фролов И.Э. Прекрасный новый мир: о трансформации науки в технонауку // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 1. С. 20–31. <https://journal.iph.ras.ru/article/view/4599>; Кошовец О.Б. (2021). Измерять и править: как наука и государство производят экономические знания // Terra Economicus 19(3): 6–19. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-6-19. <https://te.sfedu.ru/arkhiv-nomerov/2021/182-nomer-3.html>; Кошовец О.Б. Экономическое знание и власть: от научной объективности к технологиям имперсональности и социальному конструированию // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59. № 1. С. 171–189. <https://journal.iph.ras.ru/article/view/7927>
11. Когнитивные структуры и политэкономия социализма в СССР: коллективная монография / Под ред. П.А. Ореховского. СПб: Алетейя, 2022.
12. В качестве наиболее интересных за последние годы можно указать на следующие выступления: Koshovets O.B. Less abstract, more natural but still rational and unrealistic: on the economic agent model in neuroeconomics // 21st Annual ESHET Conference – Rationality in Economics. Antwerp (Belgium), Research Foundation Flanders 18–20 May 2017; Koshovets O.B., Varkhotov T.A. Neuroeconomics – Economical Imperialism or Biological Reductionism? // 13th conference of the International Network for Economic Methodology. San Sebastian (Spain), The Hagströmer Library at Karolinska Institutet. 28–30 August 2017; Koshovets O.B., Ganichev N.A., Frolov I.E. Global Projects of Economic Transformation and Digitalization: Declarations, Reality and the Winner // 16th International Symposium “Economy & business”. Elenite, Bulgaria, 1–5 September 2017; Koshovets O.B. Epistemic normativity behind the economics: from pursuing the natural science standards to owning the laws of Nature // 4th International Conference “Economic Philosophy: Norms and Normativity”. Lyon (France), University of Lyon. 27–29 July 2018; Koshovets O.B. Models as maps: epistemological status of models in economics and social sciences // Asian Conference on the Philosophy of the Social Sciences. Tianjin (China), Nankai University, June 1–2 2019; Koshovets O.B., Frolov I.E. Rethinking the transformation of classical science in technoscience: ontological, epistemological and institutional shifts // 16th International Congress Of Logic, Methodology And Philosophy Of Science And Technology. Prague (Czech Republic), 5–10 August, 2019; Koshovets O.B. Neuroeconomics “interdisciplinary”

Необходимо упомянуть и такой факт, что еще с 2006 г. Ольга Борисовна по совместительству работала и в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, где совместно с коллегами занималась и прикладными исследованиями в сфере телекоммуникаций, радиоэлектронных отраслей промышленности, нанотехнологий и цифровой экономики. Ее широта взглядов, концептуальная обоснованность, требовательность к себе и другим в исследовании, послужит для нас вдохновляющим примером еще долгие годы<sup>13</sup>. Вероятно, надо упомянуть и её сотрудничество с социологами и институционалистами, где большую роль сыграла д.соц.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер<sup>14</sup>.

Мы полагаем, что весь предшествующий научный путь Ольги Борисовны, те идеи, которые она высказывала ранее, нашли свое достойное отражение в предлагаемой монографии. Завершая говорить о короткой, но в ряде аспектов уникальной научной биографии Кошовец О.Б., мы можем констатировать, что Ольга Борисовна только вступила в возраст научной зрелости и если бы не болезнь, могла бы еще многое подарить научному миру.

---

strategies: unbridgeable conceptual distance or sciences speaking the same language of Nature // 14th Conference of the International Network for Economic Method. Helsinki (Finland), International Network for Economic Method and TINT – Centre for Philosophy of Social Science. 19–21 August, 2019.

13. В качестве наиболее репрезентативных за последние годы работ можно указать: Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Как посчитать цифровую экономику: между реальностью и конструкцией // ЭКО, 2020. № 2. С. 8–36. <https://ecotrends.ru/index.php/econo/issue/view/451/158>; Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Принуждение к цифровой экономике: как изменится структура цифровых рынков под влиянием пандемии COVID-19 // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. С. 19–35. <https://ecfor.ru/publication/realnoe-vliyaniye-pandemii-na-tsifrovyye-rynki/>; Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. «Новый цифровой разворот» — от дискурса экономического роста к технологическому расколу мира и принудительной рационализации // Вопросы теоретической экономики. 2022. №4. С. 7–24. [https://www.inecon.org/docs/2022/VTE\\_2022\\_4.pdf](https://www.inecon.org/docs/2022/VTE_2022_4.pdf); Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Цифровая экономика России: к стратегии развития в условиях санкций // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6. С. 95–109. <https://ecfor.ru/publication/razvitiye-ikt-sektora-v-rossii-sanktsii-2022/>
14. См., например: [http://www.kirdina.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=375%3A2019-04-27-18-42-00&catid=51%3Anews-home&Itemid=63&lang=ru](http://www.kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375%3A2019-04-27-18-42-00&catid=51%3Anews-home&Itemid=63&lang=ru); [https://inecon.org/docs/2019/publications/Kirdina\\_Koshovets\\_abstract\\_20190417.pdf](https://inecon.org/docs/2019/publications/Kirdina_Koshovets_abstract_20190417.pdf); [https://www.isras.ru/institute\\_news.html?id=8378](https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8378)

В заключение заметим, что писать предисловие к посмертному изданию работы внезапно ушедшего из жизни давнего соратника и друга — это жестокое, тяжелое и заведомо неблагодарное дело: едва ли возможно подобрать такие слова, которые окажутся достаточными, точными и емкими для всего, что хочется и что надо бы сказать. Наш мир устроен таким образом, что для того, чтобы осознать, чем в действительности был, как много значил и каким потенциалом обладал человек, к сожалению, нужно дождаться его ухода. Именно поэтому, вероятно, есть справедливость в том, с какой легкостью мы идеализируем и даже героизируем ушедших друзей и близких, искренне преувеличивая черты, заслуживающие уважения. О.Б. Кошовец была очень живым, равнодушным и искренним человеком. А такие люди редко бывают идеальными: она умела быть настойчивой и бескомпромиссной до невыносимости; с ней можно было часами спорить, в том числе и на повышенных тонах на отвлеченные и далекие от повседневности темы. Она прекрасно разбиралась в классической и современной музыке, живописи, кино и была упряма и неуступчива в многочасовых спорах об искусстве так же, как и в профессиональных пикировках об устройстве научного знания. Однако те черты, которые временами раздражали, тем не менее были сопряжены с какой-то удивительной искренностью, непосредственностью и неизменным живым участием к собеседнику, что не позволяло всерьез обижаться на нее. Она была полна жизни, воли к жизни и искреннего интереса к жизни — до самого последнего дня. Мы запомним её такой, и такой она останется с нами навсегда.

*П.А. Ореховский* д.э.н. (ИЭ РАН),

*И.Э. Фролов* д.э.н. (ИНП РАН),

*Т.А. Вархотов* к. филос.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова),

*Н.А. Ганичев* к.э.н. (ИНП РАН)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	18
<b>Глава I. Экономическая наука и проблема нереалистичности моделей: от дискурса кризиса к изменению практик производства знания.....</b>	<b>30</b>
1. Онтология экономической науки между «дискурсом прогресса» и «дискурсом кризиса» .....	30
2. Изменение практик производства экономического знания после финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг.....	45
3. Основные онтологические и методологические сдвиги в посткризисном развитии дисциплины: модель как инструмент.....	58
4. Основные онтологические и методологические сдвиги в посткризисном развитии дисциплины: модель как нарратив .....	69
<b>Глава II. Математизация экономического знания: от следования естественнонаучного стандарта к доминированию формальных онтологий .....</b>	<b>86</b>
1. Естественнонаучный стандарт знания и дисциплинарный статус экономической науки .....	86
2. Онтологические и эпистемологические аспекты установления естественнонаучного стандарта в экономическом знании.....	96
3. Маржиналистская революция и заимствование инструментария и опорных понятий математизированной физики .....	107
4. Структуралистская революция и ее значение для отказа от субстантивных онтологий .....	115
<b>Глава III. Онтология экономической науки: между формализмом, «империализмом» и дискурсивными практиками.....</b>	<b>130</b>
1. Разработка онтологической проблематики в методологии экономической науки.....	130



2. Экономическая наука как территория формальных онтологий .....	153
3. Экономическая наука и междисциплинарные стратегии: онтология не имеет значения .....	167
4. Как функционирует онтология в экономическом знании: модель и нарратив .....	177
5. Способы говорить об «экономическом». Экономические модели как социальные, семиотические и дискурсивные феномены .....	191
<b>Глава IV. Нейроэкономика и стратегии восполнения формальных онтологий экономической науки .....</b>	<b>217</b>
1. Нейроэкономика, экономический империализм и эпистемологические интервенции .....	217
2. Нейроэкономика и новый онтологический фундамент: перезагрузка Homo oeconomicus .....	232
3. Нейроэкономика и эмпирический базис экономики: проект создания новой естественнонаучной онтологии .....	247
Выводы .....	258
<b>Глава V. Знание и власть. О двух эпистемических культурах экономического знания .....</b>	<b>260</b>
1. Измерять и править. Экономическое знание и квантификация как управленческая и социальная технология .....	260
2. Конструирование «экономики» как объекта управления и глобализация экономического знания .....	276
3. Фигура эксперта и воспроизводство знания за пределами научных институций .....	289
4. Экономическое знание как трансэпистемическая область. Экономическая наука и экономическая профессия .....	304
5. Квантификация и проблема объективности экономического знания .....	314
Заключение .....	334
Литература .....	340

## ВВЕДЕНИЕ

Сейчас мы имеем ситуацию, когда социальные и психологические теории человеческого мышления и действия заняли место мыслей и действий самого индивида. Консультируются не с живыми людьми, а с абстрактными моделями; решает не целевое население, а производители моделей. Интеллектуалы всего мира считают само собой разумеющимся, что их модели будут более умными, сделают лучшие предложения, будут лучше разбираться в реальности людей, чем сами эти люди.

*Фейерабенд, 1999*

Куль метризации, преобладающий в современных частных и государственных бюрократиях, означает, что консультант вынужден давать количественную оценку любого риска. Однако суть сложных и открытых финансовых рынков заключается в том, что будущие результаты скорее неопределенны, чем рискованны. Неопределенность относится к обстоятельствам, когда количественный расчет вероятности невозможен. Но мало кто из ведущих экономистов задумывается об этой разнице, отчасти потому, что неколичественную неопределенность трудно вписать в модель.

*Ходжсон, 2009*

Когда наступил кризис, серьезные ограничения существующих экономических и финансовых моделей сразу же стали очевидны. Во многих сегментах рынка произошел сбой арбитража, рынки замерли, а участников рынка охватила паника. Макромодели не смогли предсказать кризис и казались неспособными убедительно объяснить, что происходит в экономике. Будучи политиком во время кризиса, я счел имеющиеся модели малополезными. На самом деле, я бы пошел дальше: перед лицом кризиса мы почувствовали себя покинутым традиционными инструментами. В отсутствие четких указаний со стороны существующих аналитических систем, разработчикам политики приходилось особенно полагаться на наш опыт. Суждения и опыт неизбежно играли ключевую роль.

*Трише, 2010*

Тема нереалистичности моделей экономической теории, ее чрезмерной абстрактности, упрощенности и оторванности от экономической действительности является ключевым вопросом методологии экономики не одно десятилетие. Основная вина за такое положение дел возлагается на математическую изошренность и чрезвычайную формализованность экономической теории, которая на рубеже XIX и XX в., сменив название с политической экономии на *economics* (исходно *economic science*), пошла в своем раз-

витии по пути превращения в «чистую», дедуктивную науку естественнонаучного типа.

В литературе эта проблема рассматривается с разных сторон с учетом исторических, эпистемологических, дисциплинарных и институциональных аспектов, исходя из разных позиций и подходов (методологических, мейнстримных, позитивитских, социологических, гетеродоксальных). Однако, я полагаю, что правильно было бы ставить эту проблему как вопрос об объективности экономического знания, прежде всего онтологической объективности. Поскольку в конечном счете обсуждение вопроса о нереалистичности, абстрактности и упрощенности экономической теории (моделей) упирается в две основополагающие проблемы: онтологическую (что описывает, объясняет экономическая теория, где существует ее объект и т.п.) и институциональную (каков статус экономической науки, и какова ее практическая польза для общества, почему экономисты излишне уверены или даже самоуверенны в своих утверждениях). Методологическая рефлексия по этим двум основополагающим проблемам неоднородная. С одной стороны, широко признаются отказ дисциплины от больших теорий, а затем и вовсе отказ от любых теоретических построений, а также высокая фрагментированность знания и частое противоречие моделей друг другу или же эмпирических построений теоретическим конструкциям. Это является прямым следствием проблем с онтологией.

С другой стороны, во многом позитивистски и неопозитивистски ориентированная методология экономической науки, как и часть современных методологических подходов (включая плюрализм и риторический подход), пытаются уйти от проблемы онтологии, переводя ключевой вопрос о реалистичности моделей в эпистемологическую и/или чисто прагматическую плоскость, и в частности сводя ее к обсуждению того, что делает модели полезными, убедительными, какие они в действительности выполняют познавательные функции, объясняют ли ложные модели и как они объясняют. Такой подход имплицитно предполагает, что проблемы с онтологией нет, она

каким-то образом уже решена в мейнстриме (иначе говоря, доминирующей или стандартной) экономической теории. Но остается вопрос, где и как. В действительности ли это лишь вопрос терпеливого диалога представителей различных подходов, как это декларируется в рамках плюрализма? Между тем, на этом фоне тема онтологии становится центральной для т.н. гетеродоксальных подходов, в особенности в методологии науки, а с другой стороны, переходит в обсуждение идеологии, стоящей за стандартной экономической теорией, или даже в еще более непримиримое обозначение экономической науки как своеобразной разновидности теологии.

Дискуссия по этому кругу проблем резко обострилась на фоне мирового финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг., который экономическая наука не смогла ни предвидеть, ни предсказать. На этом фоне политики, а зачастую и сами экономисты назвали одной из главных причин провала не только оторванность экономистов от экономической действительности, но и их неоправданную уверенность в своих идеях и моделях. Однако при этом мало кто задался исследованием причин такой уверенности и того, что ее поддерживает. Между тем, это ставит вопрос о том, как реально существует и развивается экономическое знание в социокультурном, и особенно институциональном, контексте, однородно ли экономическое знание с историко-эпистемологической точки зрения, что определяет сложившиеся режимы производства и стандарты экономического знания, его эпистемическую культуру и стоящий за этим «научный этос» (или, возможно, какой-то иной этос). Иначе говоря, как соотносятся экономическое знание как научная дисциплина и научная практика и как профессия, в рамках которой знание производится вне академической сферы и вне задач научного исследования? Взаимодействие с какими институтами общества и социальными сферами оказывают решающую роль в развитии дисциплины, и к чему ведет такое взаимодействие?

Шире ответы на эти вопросы подразумевают исследование того, как производится и воспроизводится экономи-

ческое знание. Какова в этом роль академической сферы, а какова роль других социальных сфер — таких как структуры власти (прежде всего, государство), бизнес (где востребованы и экономисты, и экономическое знание) и масс-медиа, которые берут на себя роль ретранслятора знания и формируют наши повседневные представления об экономике и экономической политике, а также во многом определяют сам наш способ мыслить и представлять «экономическое».

Несмотря на то что кризис 2008–2009 гг. обострил полемику вокруг экономической науки, и шире экономического знания и его пользы для общества до предела и породил немало усилий по реформированию экономического образования, а также движение за плюрализм в дисциплине (который усилил имевшуюся тенденцию на гетерогенизацию мейнстрима), спустя более чем 10 лет можно видеть, что ситуация мало изменилась. Фактически, она осталась прежней. Вместе с тем, в саморефлексии экономистов произошел примечательный сдвиг — они перешли к утверждению своей дисциплины не как науке об экономике, а как искусства, или даже ремесла, моделирования, нацеленного на создание универсального инструментария и технологий для решения любых социальных проблем. Аналогичную позицию занял целый ряд методологов, подчеркивая, что цель моделей не только иллюстрировать, но и производить знания и что будущее экономической науки в развитии еще более сложной математики. В итоге можно сделать (полемически заостренный) вывод о том, что большинство экономистов (за редким исключением, например, А. Рубинштейна) не желают и, что важнее, по факту могут не задаваться вопросом, полезны ли их модели и теории обществу, а просто продолжать производство знания и соответствующего ему типа экономического мышления. Но тогда возникает вопрос, кому в действительности оно адресовано, кто получает от него пользу. Ответ на этот вопрос необходимо искать не в самом экономическом знании, а в анализе того, как оно функционирует в действительности как социальный институт и как набор эпистемических практик.

Реакция сообщества экономистов на масштабную критику на фоне кризиса 2008–2009 гг. ставит еще интересные вопросы, почему так произошло, в чем устойчивость экономической науки как дисциплины, почему она не может отказаться от математики до такой степени, что готова отказаться от статуса науки и стать ремеслом (универсальным «ящиком с инструментами»). Наконец, почему она может и дальше по факту игнорировать проблему онтологии? Как тогда все-таки быть с проблемой реалистичности моделей, ведь если мы применяем какой-то формальный инструментарий для объяснения или решения некоторых социальных или экономических проблем, мы должны осуществить привязку модели к ним, причем не только в интерпретации, но и в ключевых параметрах модели, описывающих то, что она моделирует. Это значит, что, принимая идею Д. Родрика (Rodrik 2015. P. 81) о том, что модели являются библиотекой кейсов для самых разных частных случаев, мы должны имплицитно согласиться и с тем, что в них уже содержится какая-то универсальная общая онтологическая схема, позволяющая настаивать на возможности их применения в практическом плане.

Иначе говоря, за моделями стоят какие-то устойчивые дискурсы или метанарративы. Это, в свою очередь, отсылает нас и к другому вопросу, что в действительности делают созданные экономистами модели столь универсальными (а заодно понять, почему экономисты не могут или не хотят отказаться от притязаний на универсальность). Что позволяет частные по своей сути (ввиду локальности и фрагментарности) модели применять не только для совершенно различных экономик и хозяйственных систем, но и в отношении множества других социальных проблем, не являющихся экономическими? По-другому говоря, на чем в эпистемологическом и методологическом плане держится пресловутый «экономический империализм»? Если системное представление о реальных экономических процессах больше не является предметом экономической науки, то возникает вопрос, где тогда формируются такие знания и какова в этом роль других социальных

сфер, и в частности такой фигуры, как эксперт. Как формируемые за пределами научного поля знания интегрируются в экономическую науку и определяют интересы ученых в академической среде?

Данное исследование является попыткой систематически и с методологической точки зрения поставить все эти многочисленные вопросы, а также подступить к ответам на них. Однако, перед тем как перейти к изложению, необходимо остановиться на методологии, концептуальных и теоретических подходах, определяющих рамки и направление нашего исследования.

Большинство философско-методологических исследований экономической науки основано на позитивистской и постпозитивистской парадигме, стандарт таких исследований задали сами экономисты, например М. Фридман, а также методологи, такие как М. Блауг. Данная парадигма опирается на нормативный образ науки и предписываемые им стандарты научного познания, интерналистские представления о траектории развития научного знания, а также сосредоточена на теоретическом слое научного знания, воплощающем нормативный идеал научности. В имеющейся литературе основные методологические дебаты, в том числе касающиеся реалистичности экономической теории и статуса моделей и стоящих за ними онтологий, сводятся к спору между позитивистской методологией и ее различными объяснительными теоретическими схемами (и стоящей за ними репрезентации экономической реальности) и прагматическим подходом, которые видят ключевой задачей науки прикладные знания — формирование эффективных инструментов управления экономикой.

Данная работа использует в качестве рамочного деятельностный подход и во многом основывается на конструктивистской методологической программе, предложенной в рамках *science and technologies studies*, в которой представлен иной образ науки, основанный на исследованиях того, как реально производятся научные знания, а не то, какими они должны быть. Наука рассматривается преимущественно как практика,

которая не только воздействует на реальность, но и непосредственно встроена в нее. Имея богатый опыт изучения естественных наук, исследователи в этой области в последние 15 лет обратились к экономической науке и таким сферам функционирования профессионального экономического знания, как, например, финансовые рынки. Проведенные в рамках данной методологии исследования убедительно показали, что научное знание разворачивается как локальные социально-материальные практики и что институционализованный процесс научного познания в такой же степени влияет на изучаемую реальность, в какой она сама определяет содержание и протекание познавательных процессов и самого знания.

Вместе с тем, в наши задачи не входит детальное изучение и реконструкция (историческая или социологическая) конкретных практик экономистов, как это делается в большинстве работ в рамках *science and technologies studies*, поскольку основной фокус данного исследования – методологический и эпистемологический. Иными словами, наша задача изменить сам привычный сложившийся фокус рассмотрения ключевых проблем развития экономической науки и включить тему реалистичности экономических моделей и стоящих за ними онтологий в широкий институциональный контекст функционирования экономического знания. Я опираюсь на исследования в области философии и методологии экономики и в целом по философии науки, а также на работы по социальной и исторической эпистемологии и разработанные в рамках этих исследований систему понятий и концептуальный каркас. В частности, на труды М. Фуко и его концептуализацию «эпистемы», «дискурса» и дискурсивных практик, подразумевающих единство сложившихся систем знания и практик, П. Бурдьё и его понятия «символической власти», «символического капитала» и «поля науки», Р. Мертона и его понятие «научный этос», К. Кнорр-Цетинной и ее концепцию «эпистемических культур», под которыми понимается знание как система взглядов и представлений, сложившихся в результате определенных научных практик разновидности научного



менталитета, подразумевающих определенные способы мыслить, оперировать объектом и осуществлять познавательную деятельность, а также определенные средства придавать легитимность знанию, верифицировать его (объективность, достоверность и т.п.) и представлять его в той или иной форме (тексты, модели, эксперименты и т.п.).

Кроме того, наша работа опирается на труды философа науки Б. Латура и его концептуализацию науки как динамической сети (*network* или в более поздних работах *worknet*) разнородных общественных групп и предметов природы и техники, которые образуют устойчивые и взаимодополняемые коалиции («машинерии») разнонаправленных сил, устанавливающих не только истинность, но и неоспоримость научного знания для других социальных групп. В результате истинность утверждается в ходе столкновений в сфере научной деятельности оформленных научных сетей различной степени могущества, которое и предопределяет устойчивость и степень монопольности научных школ. Наконец, еще одним важным теоретическим источником для нашего исследования являются развиваемые в рамках экономической социологии от К. Поляни и до М. Калонна идеи о том, что институциональный и историко-эпистемологический анализ должны стать предварительным условием всякой экономической теории и нашей рефлексии об экономике, потому что «экономическое знание» — неотъемлемая часть экономики в том виде, в каком она существует сегодня.

В таком контексте экономическая наука предстает частью экономического знания, которое скрепляет собой экономические практики, экономические институты и собственно экономическую науку. В свою очередь, экспансивное развитие экономического знания является, с одной стороны, частью процесса нарастающей капитализации все большего числа социальных сфер и, с другой стороны, широкого процесса «экономизации» (термин, введенный М. Каллоном на основе идей Э. Чемберлина), а также распространения экономического мышления на повседневное поведение и практики, которое по

сути описывают в своих работах Г. Беккер и Дж. Стиглер. В рамках подобных исследований сфера «экономического», включая экономическое мышление, экономическое знание и экономическую науку, видятся не жестко определенным и навсегда заданным, а, напротив, подвижным и изменчивым целым, способным менять реальность и человеческое поведение. Таким образом, трансформация социальных и институциональных практик и знания рассматриваются нами как единый процесс. Такая перспектива позволяет по-новому поставить вопрос о реалистичности экономической теории и причинах ее высокой резистентности к критике.

Взаимодействие экономической науки и государства рассматривается в нашем исследовании в контексте работ философа науки и историка М. Фуко и его понятия «управленческая ментальность» (*gouvernementalité*). Фокусируя внимание на связке «знание—власть», эта исследовательская программа позволяет проанализировать узловые взаимодействия между экономическим знанием и управленческими практиками государства. Причем не столько касательно того, каким образом следует управлять экономикой и обществом, а с точки зрения установления критериев правильности для управленческих практик, способов формирования объектов управления и в целом отбора тех типов знания, на которых могут базироваться и развиваться государственные практики управления и мышления об «экономическом». По этой причине особый интерес для нас представляет экспертное знание, ставшее результатом того, что экономическая наука взяла на себя экспертные функции и выступает одним из основных источников знания государства об обществе и одним из ключевых средств определения регулятивов для социальной и экономической политики.

В завершение скажем несколько слов о целях и задачах, которые я ставила перед собой в данном исследовании и попыталась в меру своих сил решить. Исходя из описанной выше методологической перспективы, предполагающей особое внимание к практикам и сложившимся режимам

производства экономического знания, а также институциональному и социокультурному контексту его функционирования, я постараюсь рассмотреть трансформацию экономической науки, уделив особое внимание онтологии и влияющим на онтологию институциональным аспектам. Я надеюсь, что в рамках нашей методологической перспективы нам удастся по-новому поставить проблему онтологии, сдвинув угол рассмотрения от вопроса о реалистичности / нереалистичности моделей и стоящих за ними предпосылок к вопросу о том, как функционирует экономическое знание в реальности и что оказывает наиболее существенное влияние на формирование и развитие его эпистемической культуры, а, следовательно, в конечном счете, и на онтологии.

В первых двух главах я ставлю своей целью провести анализ в институциональном, историческом и социокультурном контекстах ключевой методологической проблемы экономической науки – нереалистичность моделей и засилье формализма, которые, в конечном счете, тесно взаимосвязаны и упираются в вопрос об онтологии. Обычно исследование онтологии подразумевает выявление, анализ или критику тех или иных предпосылок стандартной экономической теории или конкретных моделей и/или реконструкцию стоящих за этим «картин мира» (онтологий). Наша цель иная: во-первых, выделить основные этапы математизации и формализации экономического знания в контексте эволюции онтологического слоя экономического знания, в рамках которой содержательные (субстантивистские) онтологии последовательно вытесняются и заменяются формальными онтологиями; во-вторых, показать, что формальные онтологии, тем не менее, требуют дополнения дискурсивными онтологиями, которые позволяют как-то интерпретировать модели на реальность или ставить вопрос об их практическом значении; в-третьих (этого я коснусь в третьей и в последней главе), выявить, где и как по преимуществу формируются дискурсивные онтологии, если они вытесняются из экономической науки, мыслящей себя как «ящик с инструментами». И как,

в свою очередь, функционируют в экономическом знании формальные онтологии, какие выполняют эпистемологические функции и, наконец, почему поддерживают развитие дисциплины по пути все большей формализации и математизации (и как следствие, оторванности от реальной экономики). Этот вопрос я затрону в третьей главе.

Наконец, в пятой главе я постараюсь поставить вопрос о причинах чрезмерной формализации и нереалистичности экономической теории с менее привычного ракурса, а именно в контексте ее взаимоотношений с государственным управлением. Обычно эта тема рассматривается в контексте адаптации и использования тех или иных идей экономистов в государственной политике. Я, в свою очередь, хотела бы сосредоточиться на той особой роли, которую базисные практики административного управления, связанные с использованием знания для создания и расширения объекта управления и решения целого ряда управленческих задач, сыграли в развитии и закреплении тренда на формализацию экономической теории. Речь идет о количественных практиках, учете и квантификации, которые по сути являются «технологиями управления», механизмами, с помощью которых государственные программы формулируются и приводятся в действие.

В последней главе я также попытаюсь обосновать один из ключевых тезисов этого исследования о формировании и воспроизводстве двух относительно автономных эпистемических культур производства экономического знания — научной и экспертной (административно-экспертной). Это, в свою очередь, привело к новой особой форме функционирования экономического знания как трансэпистемического поля, при этом экономическая наука является лишь небольшой его частью. В рамках этого поля не только производятся возможные значения и смысл «экономического» и собственно экономического знания, но и происходит его непрерывная интерпретация и реартикуляция.

Я рассчитываю, что решение этих задач позволит в самом общем виде концептуализировать процесс постепенного

замещения (научной) теории (внеаучным) дискурсом (дискурсивными онтологиями, сформированными за пределами академической сферы) как ключевым компонентом, определяющим современный этап развития экономического знания. Я покажу, что эта тенденция комплиментарна к тенденции «инструментального крена» в определении предмета и целей дисциплины. При этом обычно тема дискурсивных и риторических стратегий, стоящих за моделями, сводится к обсуждению коммуникации внутри сообщества или идеологии. Наша цель — сосредоточиться на эпистемологических причинах, главной из которых является воспроизводство экономического знания за пределами собственно академической сферы и развитие автономной формы — экспертного знания.

Наконец, я скромно полагаю, что представленная нами концептуализация развития экономического знания позволяет объяснить ее сильные и слабые стороны, задать новую рамку для оценки дискуссии о кризисном (или наоборот) состоянии экономической науки и предсказать будущую траекторию развития дисциплины. Эта книга по большей части основывается на моих статьях, препринтах и исследованиях, опубликованных в 2007–2022 гг. в различных изданиях.

Это исследование посвящается светлой памяти моего учителя, выдающегося ученого и человека с большой буквы, В.Н. Романова.

За все, что не получилось, отвечает только автор этой книги. Во многом, что удалось, есть немалая заслуга моих друзей, коллег и многолетних заинтересованных собеседников, которые щедро делились своими идеями и знаниями и оказывали мне разного рода помощь. Я, в частности, выражаю свою благодарность: д.э.н. И.Э. Фролову, к.ф.н. Т.А. Вархотову, к.ф.н. А.В. Чусову, к.э.н. Н.А. Ганичеву, д.э.н. П.А. Ореховскому, д.с.н. С.Г. Кирдиной-Чэндлер, а также д.э.н. В.С. Автономову и к.э.н. О.И. Ананьину, без участия и поддержки которых эта книга бы не состоялась.

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРОБЛЕМА НЕРЕАЛИСТИЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ: ОТ ДИСКУРСА КРИЗИСА К ИЗМЕНЕНИЮ ПРАКТИК ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ

### 1. Онтология экономической науки между «дискурсом прогресса» и «дискурсом кризиса»

Дискурс о кризисном состоянии экономической теории развивается не одно десятилетие. Необходимо различать два типа таких утверждений, которые зачастую взаимосвязаны, однако принципиальная разница между ними лежит в плоскости того, какой набор фактов обсуждается и к каким выводам ведут подобные дискуссии. Итак, первый тип утверждений о кризисе связан с историей экономического знания, в развитии дисциплины выделяются те или иные кризисные этапы или развилки, когда доминирующие на тот момент теории оказались не релевантными актуальным экономическим вызовам, что способствовало революциям, обновлению и созданию новых теорий и т.п. (Leijonhufvud 2006; De Vroey Pensieroso 2016). Классическим примером является кейнсианская революция, выведшая дисциплину из тяжелого состояния, вызванного Великой депрессией. Обсуждение кризиса в рамках таких концептуальных схем обычно разрешается в вопросах о том, какой тип развития характерен для экономической науки, какие предпочтительны механизмы обновления, как наука выходила из прошлых кризисов и т.п. (Худокормов 2008).

Второй тип утверждений – методологический по своему характеру. Он связан с указанием на один и тот же круг наиболее острых методологических и институциональных проблем экономической науки (ее ядра – экономической теории), которые актуализируются по разным причинам и зачастую, как и в первом случае, в связи с масштабными экономическими потрясениями и неспособностью экономистов ответить на такие вызовы (например, т.н. Великая рецессия, т.е. финансово-экономический кризис 2007–2009 гг.). В рамках подобного рода анализа акцент делается на пересмотре основ всей дисциплины, ее онтологии, сложившихся стандартов образования и мышления экономистов.

Наиболее ярким маркером для второго типа утверждений в рамках дискурса о кризисе стала вышедшая в 1980 г. книга М. Блауга «Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют» (Блауг, 2004), которая в последней главе содержала параграф с характерным названием «Кризис современной экономической науки». Ключевым утверждением приведенного там анализа, который во много определил дискурс кризиса экономической науки, стали тезисы о 1960-х годах как расцвете общественного авторитета экономической науки и 1970-х годах, как о периоде, когда впервые заговорили о «кризисе», этот этап развития дисциплины сопровождался высоким уровнем критики со стороны ведущих экономистов (Там же. С. 357). Ядро методологической критики Блауга в его размышлениях о кризисе составляет вопрос о том, насколько научна экономическая наука, в какой мере она нацелена на объяснение реальных фактов (Там же. С. 34–36). Несмотря на то что этот вопрос поставлен из определенной методологической перспективы, а именно постпозитивистской программы К. Поппера, тем не менее, он основывается на широко разделяемых (по меньшей мере, до 1990-х годов) большинством экономистов и методологов принципах научного реализма (реалистичность предпосылок), характерного для парадигмы естественных наук (Автономов 1996. С. 6; Блауг 2004. С. 66–67; Тамбовцев 2003. С. 25–26). Более того,

именно такая постановка вопроса, без упоминаний о кризисе обнаруживается и раньше в размышлениях самих экономистов над тем, по какому пути пошло развитие дисциплины с конца 1960-х годов. В частности, наиболее показательными являются суждения В. Леонтьева в статье 1971 г. о том, что экономисты занимаются «скорее воображаемой, гипотетической, нежели наблюдаемой реальностью», так как в дисциплине доминирует инструментализм и теории «как если бы» (Леонтьев 1972). Ему вторят два других нобелевских лауреата: Р. Коуз (Coase 1997), жалующийся на повисание экономической теории в воздухе и минимальное отношение к тому, что происходит в реальности, и М. Фридман (Friedman 1999. С. 137), отмечающий превращение дисциплины в отрасль математики, вместо того чтобы «заниматься изучением реальных экономических проблем».

Проблема нереалистичности предпосылок (иначе, определяемая как их повышенная абстрактность или чрезмерная упрощенность) возникает как результат стремления к точности, а именно как следствие использования математического и формального аппарата, который выступает и в качестве основного средства репрезентации экономических процессов и формирования теории (моделей), и как самодостаточный инструмент анализа. Порождаемая этим дилемма *truth versus precision* характерна и для теоретического, и для эмпирического крыла экономической науки (в этом аспекте между ними нет принципиальной разницы), более того, уровень формализации с развитием дисциплины не только нарастает, но и активно распространяется на новые области экономического анализа (к примеру, новая макроэкономика Р. Лукаса) (Автономов 1996. С. 6–7).

Как минимум, с начала 1980-х годов тема нереалистичных предпосылок, чрезмерно упрощающих экономическую реальность, становится ключевым тезисом в рамках различных гетеродоксальных течений и в гетеродоксальной методологии (Davidson 1983; Lawson 1997). Особенность этой критики в том, что тема кризиса здесь конституирующий элемент



дискурса, описывающего историю развития дисциплины как постепенную *деградацию и упадок*. Специфическая научная культура, сложившаяся в рамках неоклассической экономики, интерпретируется как нежелательное развитие, как начинание, основанное на нереальных (и потому ложных) предпосылках. Производимое этой эпистемической культурой знание только кажется точным, а в действительности это лишь «игра в стеклянные бусы», «раковый нарост в самом центре микроэкономики» (Blaug 2002. С. 36), «главное препятствие для развития экономики» (Kaldor 1972. С. 1237).

Гетеродоксальная критика способствовала развитию целого жанра критической научно-популярной литературы, в которой используется достаточно радикальная аргументация (Ormerod 1994; Keen 2004; Brodbeck 1998). Становление гетеродоксального дискурса об упадке — по сути попытка формирования конкурирующего представления о том, что такое «наука», «научность» в экономической дисциплине. Возможно, это одна из ключевых причин внутродисциплинарной маргинализации гетеродоксальных направлений, которые вытесняются на периферию также исключительно по критерию «научности». Парадигмальным образцом последней объявляется формализованная теория и владение техниками математической формализации (Colander et al. 2010), характерен уже сам призыв к гетеродоксам «быть в первую очередь *экономистами* и только во вторую — гетеродоксами» (Colander et al. 2007. С. 303. Курсив мой. — О.К.), который ясно определяет, что является стандартом научности (Мальцев 2018). Как отмечает Ф. Ли, отказ встраиваться в мейнстрим в таком аспекте позволяет их оппонентом говорить о гетеродоксах как об «интеллектуально нездоровых дилетантах» (Lee 2004. С. 750).

Такие со временем рутинизировавшиеся структуры дискурса о кризисе экономической науки вызвали реальное социальное потрясение — финансово-экономический кризис 2007–2009 гг. Лишь немногие экономисты видели его приближение. Однако, как отмечает П. Кругман, «неспособность

предсказать его — наименьшая из проблем экономической науки, куда важнее то, что вся отрасль оказалась не в состоянии увидеть саму возможность катастрофических отказов рыночной экономики» (Krugman 2009). С этими словами в 2009 г. нобелевский лауреат решил вынести сор из избы, напечатав свои обличения в одной из ведущих американских газет New York Times, причем сделал это в максимально провокативной форме — обвинения в адрес привилегий экономистов и стандартной (господствующей) экономической теории раньше не звучали столь резко и обличительно. Статья вызвала сильный резонанс в американском академическом сообществе и множество откликов самого разного свойства.

Беспрецедентность этой критики заключается не только в ее масштабах, но в том, что, во-первых, она вышла за пределы экономической дисциплины и стала одной из центральных тем в масс-медиа, а также в том, что критические голоса вновь раздалась из ядра экономической профессии. Целый ряд представителей профессии обвинили не только экономическую науку, но и самих экономистов, указав на неоправданную уверенность в своих идеях и моделях (Rodrik 2011, ср. Eichengreen 2008; Acemoglu 2009). Схоже высказался известный британский экономист Дж. Кей, который отметил, что «репутация экономической науки и экономистов, и так не слишком высокая, еще больше пострадала в результате кризиса 2008 г.» и что «королева Великобритании была не единственной интересовавшейся, почему никто его не предсказал» (Кей 2012. С. 4).

На фоне подобной критики с новой силой возобновилась атака на множество ключевых допущений стандартной экономической теории (которую также называют «теорией рыночного фундаментализма»), включая такие понятия, как «эффективный рынок» и «рациональные ожидания», на которых эти модели основывают свои утверждения, причем как изнутри мейнстрима (Стиглиц 2011; Krugman 2009), так и со стороны гетеродоксов (Lawson 2009; 2012; Syl, 2010, 2012a). В своем выступлении на слушаниях в Конгрессе США в июле

2010 г. нобелевский лауреат Р. Солоу не преминул подчеркнуть, что «современная макроэкономика не только оказалась непригодной в разрешении проблем текущего экономического и финансового кризиса, но была обречена на неудачу». По его мнению, построение динамическо-стохастической модели общего равновесия (DSGE) на предположении, что экономика населена репрезентативным агентом, состоящим из одной-единственной комбинации «рабочий—собственник—потребитель—все остальное», который «тщательно планирует наперед и живет вечно», «не проходит тест на прочность и по существу неприемлемо» (Solow, 2010).

Некоторые критики пошли дальше — на уровень методологии и указали на роль «эпистемологических и методологических шор», основанных на ключевых принципах логического позитивизма, которые надежно «предохраняют мейнстрим от обнаружения кризиса» (Cameron, Siegmann 2012). Закономерно вновь был поставлен вопрос о том, что финансовые кризисы последних 20 лет должны проблематизировать эпистемологические основы дисциплины (Jo, Chester and King 2012). Иные экономисты (в основном историки) вынесли жесткий вердикт, обратив внимание на полную несостоятельность экономического образования (Hodgson 2009; DeLong 2011). Так Р. Скидельски отмечает, что большинству студентов «никогда не давали ментальные инструменты», чтобы видеть и понимать всю картину, более того, воспринимая любую «экономiku как машину», «вы безусловно будете смотреть на экономические проблемы по большей части как на математические» (Skidelsky 2016).

На системе образования следует остановиться отдельно. И до финансово-экономического коллапса 2008—2009 гг., и после него она активно обсуждалась в контексте дискурса о кризисе в экономической науке и его причинах, причем главными виновниками назывались все те же проблемы, что ранее в литературе и выступлениях, диагностирующих кризис, — засилье формализма и потеря контакта дисциплины с реальностью. Так, еще в 1987 г. было опубликовано

исследование на основе опроса докторантов 10 ведущих американских университетов (Klamer, Colander 1990. С. 18), из которого стало ясно, что 57 и 65% студентов соответственно считают «владение математикой» и «умение работать с моделями» главными элементами успеха в экономической профессии. Вместе с тем, чтение экономической литературы назвали необязательным знанием 43% опрошенных, а понимание реальных экономических процессов — и вовсе 68% студентов. Вслед за этим в 1988 г. был опубликован известный доклад Комиссии о докторских образовательных программах по экономике, инициированный Американской экономической ассоциацией. Целью исследования было прояснение вопроса о том, что происходит в системе образования, каковы направления исследований и приложения ресурсов и каких результатов ожидать (Kueger et al. 1991). В докладе, как и в ряде последующих работ на эту тему, отмечалось, что студенты в значительно большей степени предпочитают изучать бизнес или государственную политику, а не экономику, что ярче всего проявилось в динамике количества магистерских и докторских степеней по экономике (Colander 2001), а работодатели недовольны их подготовкой, в которой отмечается большое владение техникой, но крайне слабое понимание экономических реалий и данных, незаинтересованность или неспособность к эмпирическим исследованиям (Hansen 1991).

В завершение делается вывод о том, что экономическое образование чрезвычайно оторвано от реальных экономических проблем и производит специалистов, хорошо владеющих техниками, но невежественных в том, что касается собственно экономики (Kueger 1991. Р. 1039, 1044–1045). Схожие выводы были сделаны в целом ряде других исследований (Blinder, 1990. Р. 445; McCloskey 1991. Р. 10–14; Frey, Eichenberger 1993. Р. 190). По сути преподавание экономики в университетах исходит из понимания дисциплины как раздела прикладной математики, что способствует тому, что докторские степени по экономике легче получить физикам или математикам, которых и предпочитают набирать для своих

докторских программ ведущие университеты, несмотря на то что они совершенно не ориентируются в простейших экономических вопросах и для них экономика представляется неким миром формул, теорем и доказательств (Тумилович 2003. С. 105). Десятилетия развития по такой траектории привели к устойчивому воспроизводству сложившейся системы преподавания, не предполагающей формирования у студентов экономического мышления — на кафедрах остались и остаются исключительно преподаватели, в совершенстве владеющие и полностью ориентированные лишь на формальную технику (Colander 2001). Так, в 2009 г., уже в разгар Великой рецессии Д. Коландер отмечает, что американское высшее экономическое образование нисколько с тех пор не изменилось (Colander 2009). Сходные оценки о регрессе преподавания и превращении макроэкономики в псевдонауку высказали экономический советник Сити Бэнк В. Баутер и экономист Всемирного банка П. Ромер (Автономов, 2018. С. 62). Несмотря на такие оценки, и после кризиса существенных изменений в обучении экономистов также не произошло (Gärtner, Griesbach, Jung 2013).

Вернемся к финансово-экономическому кризису 2008—2009 гг. и его рецепции экономистами. Несмотря на жесткую отповедь со стороны видных политиков и представителей самой дисциплины, многих грандов экономической теории подобная критика не слишком тронула. Хотя они и заняли оборонительную позицию, тем не менее, продолжили настаивать, что с теорией все в порядке, кризис никак не поколебал ее, и даже, напротив, подтвердил ее правоту в некоторых аспектах. Так, Р. Лукас в своем известном ответе горолеве заявил, что «кризис не был предсказан, поскольку экономическая теория предсказывает, что подобные события нельзя предсказать» и что «экономисты никогда не создадут моделей, которые смогут предсказывать неожиданные падения ценности финансовых активов» (Lucas 2009). Схожего мнения придерживается чикагский экономист Дж. Кохрейн в своем известном ответном письме П. Кругману (Cochrane 2011),

а также специалист по теории игр Д. Левин, заявивший, что «фундаментальный принцип теории в том, что там не может быть надежного способа предсказать кризисы» (Levine 2012). Французский экономист-математик Ж. Сент-Поль пошел дальше — по его мнению, экономисты не только не должны предсказывать кризисы, кризис попросту не релевантен экономической теории (Saint-Paul 2009). Нобелевский лауреат Т. Сарджент высказывает схожую мысль, но более вызывающе — критика, подобная озвученной Ее Величеством, «свидетельствует либо о вопиющем невежестве, либо о намеренном пренебрежении предметом изучения современной макроэкономики» (Sargent 2010). Ведущий британский экономист и советник правительства Дж. Кей по этому поводу иронично заметил, может, «отрубить ему голову» (Key 2012. С. 4)? Однако стоит ли рубить, не вырастет ли новая голова?

Вот ответ еще одного лауреата уобелевской премии Г. Беккера в интервью *New Yorker*, подтверждающий, что теория будет развиваться привычным путем. «Я думаю, что мы лучшим макромоделю: некоторые из них были слишком упрощенными. В них были отражены существенные части экономики, но, я думаю, всем ясно, что фактически они не подготовили нас к борьбе с кризисом, особенно с финансовыми кризисами». Интервьюер возражает: «Но эти модели были созданы не для борьбы с кризисами. Они и их создатели делали допущение, что кризисов не бывает, разве нет?» — «Да, некоторые из них. Некоторые действительно исключали финансовый сектор, считая деньги маловажным фактором. Я думаю, что вся эта тема просто оказалась ошибкой» (Becker 2010).

В целом сложно не согласиться с оценкой ведущего специалиста по экономическому анализу права Р. Познера, который, размышляя над вопросом, что извлекла для себя экономическая наука из того, что произошло, заключает, что «есть вероятность, что экономисты ничему не научились». При этом он фактически апеллирует к институциональным и дисциплинарным причинам: «У профессоров есть пожизненные контракты. Они готовят многочисленных аспиран-

тов, которым нужны PhD. У них есть техники, которыми они давно и хорошо владеют. Заставить их перестроить свои привычные методы — великое дело» (Posner 2010). Похожим образом ситуацию видит и один из основателей поведенческой экономики, работающий в Чикагском университете, Р. Талер. На вопросы, поможет ли финансовый кризис продвижению поведенческой экономики, так что она «станет доминирующей экономической теорией» и «приведет ли кризис к интеллектуальной революции в дисциплине», он отвечает: «Прогресс в науке происходит лишь от одних похорон к другим похоронам. Никто не будет менять своего мнения... Быстрых перемен не следует ожидать, но новое поколение экономистов, возможно, будет более открыто к альтернативным моделям человеческого поведения (нежели рациональное) и будет меньше доверять идее о том, что рынки — совершенны (Thaler 2010).

Между тем, такая дисциплинарная ригидность опирается на чрезвычайную институциональную устойчивость, внешним проявлением которой является годами развиваемый мейнстримом экономической науки «дискурс прогресса». Ключевыми элементами его поддержания и воспроизводства являются математический формализм и тесно связанное с ним самовосприятие дисциплины как находящейся наверху иерархии социальных наук (Lazear 2000<sup>1</sup>). Ранний пример подобных высказываний можно найти в работах П. Самуэльсона конца 1940-х годов о том, что экономика является «царицей общественных наук» (Samuelson 2005. С. 5). Иной парадигматический пример представлен Й. Шумпетером в его известном историческом труде середины 1950-х годов, в которой теория общего равновесия Л. Вальраса называется «Magna Charta точной экономики»

---

1. Аналогичную позицию разделяет российский и французский экономист С.М. Гуриев, прямо заявляя, что экономический империализм «приносит в общественные науки методологию верификации и фальсификации теории. Поэтому он — необходимое условие развития других общественных наук» и что «только при помощи количественных аргументов наука умеет решать, какие теории верны, а какие нет» (Гуриев 2008. С. 140–141).

(Там же. 2009. С. 1177) и «единственной работой, когда-либо созданной экономистом, сравнимой с достижениями теоретической физики» (Там же. С. 1010). Аналогичные мысли высказывает и один из создателей образцовой формальной модели Ж. Дебре, обосновывающий подобными высказываниями претензии дисциплины на лидерство: развитие математической экономики сделало возможным «оперирование точно постулированными и безупречно доказанными выводами...» (Debreu 1986. С. 1266). Более того, именно *математическая форма по сути воплощает собой сам прогресс в развитии дисциплины*: «В своей математической форме экономическая теория открыта для эффективной проверки на наличие логических ошибок... Большая логическая основательность более поздних анализов способствовала быстрому и современному построению теории. Это позволило исследователям опираться на работу своих предшественников и ускорить кумулятивный процесс» (Debreu 1991. С. 3). Иерархическую позицию, возникающую как следствие таких амбиций, хорошо описывает один из лидеров Чикагской школы Дж. Стиглер, отмечающий, что «без математики мы опустились бы до уровня социологов и им подобных...» (цит. по: (Parker, 1993)). Дискурс прогресса необходимо коррелирует с пренебрежением к истории экономической мысли и ее маргинализации (она может существовать только в форме утвержденного канона, демонстрирующего прогрессивное кумулятивное развитие). Как остроумно заметил А. Лейонхувуд, — если настоящее бесппроблемно, то прошлое неинтересно. История мысли, репрезентирующая прогресс, — это рассказ, из которого все полезное прошлое вычеркнуто» (Leijonhufvud 2006. С. 7).

Не менее важным институциональным фактором является сложившаяся система высшего экономического образования (Colande 2006, 2007). Учебная программа и характер учебного процесса (Vrue 1996; Parkin 2000; Gärtne 2001), содержание учебников (Hill 2000; Kalmi 2006; Baer 2012; Zuidhof 2013), особенности профессионализации экономи-



стов (Fourcade 2009), а также специфика и возможности публикационной активности поощряют и поддерживают производство моделей и владение формальным аппаратом (Блауг 2002. С. 55–56; Bräuning et al. 2011). Это привело к формированию не одного поколения экономистов, которые мыслят исключительно математически и не представляют иной репрезентации знания, нежели в математической форме. Дополнительным фактором, усиливающим эти тенденции, является превращение обучения экономике в индустрию и перепроизводство экономистов, что закономерно ведет к возрастанию значения формальных критериев, процедур и стандартов. Это, в свою очередь, по спирали неминуемо отражается на учебном процессе и его содержании, а также на публикационной политике ведущих экономических журналов, которые в современных условиях превратились в инструмент сертификации качества научной продукции, обязательно подразумевающий изолированное моделирование (Капелюшников 2018. С. 10).

Приведем в качестве характерного примера П. Кругмана. Если в своей знаменитой обличительной статье *New York Times*, уже будучи нобелевским лауреатом (Krugman 2009), он заявляет, что экономика сбилась с пути, потому что экономисты приняли за истину красоту, облаченную во впечатляющую математику, то в своих более ранних работах Кругман высказывает противоположные мысли, всячески защищая формализм (Krugman 1998). Справедливости ради надо отметить, что в ряде работ он эксплицирует свою методологическую позицию и сознает ограничения своего анализа, пытаясь тем самым снять обвинения в свой адрес в неадекватности и чрезмерной условности представленных моделей (Krugman 1979). Однако это не мешает ему сделать выводы о том, что полученные результаты будут значимы, и даже универсальны. При этом основная задача, которой Кругман руководствуется и которую решает при построении модели, как и большинство других экономистов-международников, — это изучение равновесия и априорное стремление получить равновесный

результат. В другой своей работе Кругман прямо указывает на то, что экономическую науку он видит только как набор моделей, которые позволяют преподавать те или иные результаты в прозрачной форме, а формальное моделирование считает основным инструментом любого экономиста (Krugman 1994). Более того, он откровенно отмечает, что упрощенность и нереалистичность предпосылок и построения самой модели всегда определяются той техникой моделирования и теми умениями, которыми владеет экономист.

Наконец следует особо подчеркнуть, что дискурс прогресса и наивысшей позиции в иерархии социальных наук благодаря высокому уровню формализации дисциплины имеет уже не только эпистемологический и институциональный смысл, но и в не меньшей степени *социокультурное значение*. Как показано в ряде работ (Lebaron 2014; Bloch, Mitterle et al. 2017; Ефимов 2014), в рамках системы экономического образования и производства экономического знания математика, методы естественных наук и высокая формализованность теории становятся важным элементом формирования специфической институционализированной системы стратегических ориентиров и иерархических отношений, которая определяет большинство когнитивных и социальных практик экономистов. Исследователи характеризуют ее как «дискурсивные и социальные практики элитизма» (Maesse 2017) или как «позиция превосходства», которая формируется и в рамках научного поля (в том числе, как мы уже отмечали выше, по отношению к другим социальным наукам), и далеко за пределами научной деятельности (Фукард и др. 2015). Гарвардский профессор М. Фуркад отмечает, что вся система экономического знания и функционирования экономической профессии ныне жестко пронизана иерархическими отношениями, что воплощается в системе разного рода индексов и рейтингов для университетов, журналов, исследователей, и даже иногда для выпускников докторских программ. В известной работе Ф. Лебарона (Lebaron 2006) о превращении лауреатов Центрального банка Швеции

(Sveriges Riksbank) в области экономических наук памяти А. Нобеля в ключевых публичных интеллектуалов, своеобразную интеллектуальную элиту современности подчеркивается, что сам процесс таких награждений призван акцентировать выдающееся положение экономики в иерархии наук как «самой научной социальной дисциплины». Однако еще более важным тут является сохранение и поддержание дистанции (по принципу превосходства) в отношении других социальных дисциплин и одновременно соположение экономики другим легитимным естественным наукам, по которым вручается Нобелевская премия. Это напрямую сопрягает определенный тип «научности» с наивысшим социальным престижем, — фактически, премия Sveriges Riksbank призвана «возвысить экономистов до научного паритета с неоньютоновской физикой» (Puttaswamaiah 1995. P. 18).

Последние исследования в области образования и профессионализации экономистов и формирования их мышления, спустя более чем десять лет после кризиса 2007–2009 гг. показывают, что математизация дисциплины и выстраивание ее в жестком соответствии с естественно-научным стандартом лишь усилились. Продолжающиеся, и даже нарастающие, заимствование методов работы из естественных наук не только окончательно превратили экономику в квазиестественную науку в чисто эпистемологическом плане, помимо этого, произошла и содержательная трансформация, которая вызвана переходом к экспериментальным методам и сопровождается значительным изменением специфических для данной области способов работы и карьерных стратегий. Это проявилось в таких институциональных аспектах как значительное усиление акцента на значимости рабочих групп в исследовательском процессе, на времени, которое исследователи проводят в стажировках и на конференциях в США, в привлечении стороннего финансирования и характере журнальных статей (Lenger 2018). Наконец после того как стало очевидно, что Великая рецессия не превратилась в Великую депрессию, дискуссия вокруг экономической науки и ее

достижений изменилась — именно ей стали приписывать заслугу того, что все пошло не по самому плохому сценарию (Капелюшников 2018. С. 8–9). Иными словами, «дискурс прогресса» укрепился, и даже, в некотором смысле, усилился, тезисом о триумфе экономического знания, благодаря которому коллапс был предотвращен.

На рис. 1 суммированы рассмотренные выше основные дисциплинарные и институциональные аргументы в рамках дискурсов кризиса экономической науки и альтернативного ему дискурса прогресса<sup>2</sup>.

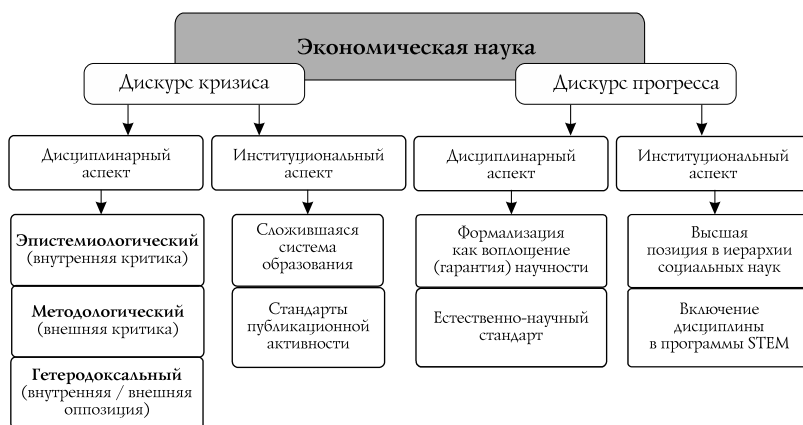


Рис. 1.

Несмотря на то что после кризиса 2007–2009 гг. и вызванной им бурной критики функционирование и содержание дисциплины в целом не изменилось (и не могло измениться) и по-прежнему, можно говорить о засилье формализма и нереалистичности моделей, однако все же некоторые примечательные сдвиги в развитии и позиционировании эко-

- Образовательные программы STEM (Science, Technology, Engineering, and Math — наука, технология, инженерные дисциплины, математика) разработаны в США и поддерживаются значительными федеральными грантами, этот образовательный стандарт активно распространяется по всему миру. Гуманитарные и социальные науки классифицируются и сгруппированы вместе с искусством под аббревиатурой HASS. К 2020 г. практически все американские университеты включили экономику в STEM.

номической науки произошли. Их можно условно разделить на эпистемологические и методологические, затрагивающие характер и содержание производимого знания, и на институциональные и дисциплинарные<sup>3</sup>, связанные с изменениями в характере обучения, новыми трендами развития и связанными с этим стандартами «научности». Что касается методологических изменений, то их можно разделить на те, что связаны с рецепцией кризиса и оценками самими экономистами и те, что исходят от методологов и философов экономики. Для нас наибольший интерес представляет реакция самих экономистов. Как было отмечено выше, часть из них весьма холодно встретила критику в отношении дисциплины, однако другая часть к ней адаптировалась, произведя ряд сдвигов в определении предмета и целей экономической науки, статуса производимого ею знания — моделей и т.п. Далее мы рассмотрим это в трех последующих параграфах. Сразу оговоримся, что в наши задачи не входит исчерпывающий анализ всех возможных тенденций и изменений, наша задача зафиксировать лишь те *наиболее существенные сдвиги, которые затрагивают проблему онтологии*, т. е. упираются в два ключевых тезиса дискурса о кризисе — засилье формализма и нереальность моделей. Эти проблемы мы подробно рассмотрим в следующем параграфе и во второй главе.

## **2. Изменение практик производства экономического знания после финансово- экономического кризиса 2007—2009 гг.**

Прежде чем обратиться к произведенным экономистами сдвигам в определении и позиционировании экономической науки, необходимо рассмотреть целый ряд важных

---

3. Под «дисциплиной» в общем смысле мы будем понимать определённый порядок, отвечающий сложившимся нормам и правилам, регулирующим ту или иную деятельность (который отливается в стандарты, в соответствии с которыми определяется и сертифицируется та или иная профессиональная деятельность и связанный с ней свод знаний). В этом контексте любая сложившаяся научная дисциплина — это институализация определенных (а том числе эпистемологических, дискурсивных, коммуникационных, риторических) норм, предписаний и ограничений, (по выражению И. Канта, «нормирующее, негативное законодательство»).

эпистемологических, дисциплинарных и институциональных изменений, которые произошли в экономической науке на фоне и после Великой рецессии (некоторые тенденции начались ранее, однако значительно усилились в посткризисную эпоху и *стали доминирующими в дискурсе*, описывающем состояние экономической науки).

Прежде всего, необходимо обозначить тренд, названный в литературе «эмпирическим поворотом» (сдвигом). Впервые он документирован в статье *Journal of Economic Literature*, вышедшей в 2013 г. (Hamermesh 2013), а затем подтвержден на значительно более обширном материале с применением методов машинного анализа в известной коллективной работе 2017 г., опубликованной в *American Economic Review* (Angrist et al. 2017), а также в ряде других исследований (Biddle and Hamermesh 2017).

«Эмпирическим поворотом» обозначают тот факт, что эмпирические исследования стали чем-то значительно большим, чем ограниченное эконометрическое тестирование моделей. Теперь речь идет о возможности собирать доказательства и получать более обоснованные эконометрические выводы на базе моделей, основанных на все более и более крупных массивах данных (Einav and Levin 2014), а также проводить различные экспериментальные и квазиэкспериментальные исследования (Boettke Leeson, Smith 2008; Hausman 2018). И хотя ряд исследователей растягивает во временном плане этот тренд на последние десятилетия, для нас важен тот факт, что сама идея «эмпирического поворота» появилась в дискурсе о развитии экономической науки после кризиса 2007–2009 гг. — в результате в профессиональном сообществе сформировался своеобразный консенсус в отношении того, что дисциплина эволюционирует именно таким образом.

Кроме того, следует особо подчеркнуть тот факт, что сторонники гипотезы «эмпирического поворота» рассматривают это явление как отход от чисто абстрактной, дедуктивно-математической модели построения знания и обра-

щение (постепенное приближение) экономической науки к *реальным* данным, чтобы дополнить и проверить теоретические модели. Поэтому вполне закономерно, что ряд методологов и гетеродоксальных экономистов выразили сомнения в эмпиричности «эмпирического поворота» (Syll 2016; Maki 2018)<sup>4</sup>. В исследовании Р. Бэкхауса и Б. Шерье (Backhouse and Cherrier 2017) показывается, что подобная трансформация дисциплины в действительности связана не столько с ростом эмпирической работы, сколько с новым пониманием отношений между теоретической и прикладной работой и границами между ними. В частности, и теория, и эмпирические исследования стали более прикладными, в смысле, более ориентированными на решение конкретных задач (кейсов) и социально-экономическую политику. При этом прикладные работы стали значительно более престижными и лучше финансируемыми. Как результат появились новые стратегии моделирования, наборы данных и технологии работы с ними (Саамаño-Alegre, Саамаño-Alegre 2019).

Эти тенденции, в свою очередь, имеют институциональную проекцию, которую можно обозначить как нарастание прагматизации в экономическом образовании. Крупные и продвинутые экономические факультеты постепенно уступают место более престижным бизнес-школам, что сопровождается перетоком кадров и студентов (Stock, Sigfried 2014). Если на факультетах основное место по-прежнему занимают теоретические курсы (правда, их основная задача видится как техническое натаскивание (Maesse 2017. С. 64–66)), то обучение в бизнес-школах выстраивается вокруг разбора кейсов. При этом количество бизнес-школ стремительно растет и одновременно значительно увеличивается количество получаемых степеней по бизнесу и менеджменту (Ананьин 2018. С. 245–246).

---

4. Кроме того, ряд историков экономической науки рассмотрели это явление в контексте неоднородности экономического знания и существования в нем двух различных канонов (более абстрактного, ориентированного на естественнонаучный идеал, и более практически ориентированного, основанного на опыте) (Автономов 2013; Райнерт 2011).

Как бы ни обозначать изменение в дисциплинарном развитии экономической науки, как «эмпирический поворот» или как сдвиг в более прикладную экономику в рамках переопределения теории, очевидно, что «теория», в классическом понимании этого термина, как показывают М. Морган и М. Резерфорд в своем томе «Истории политической экономики», доминировала над эмпирической работой в период становления неоклассической экономики и вытеснения других теоретических подходов к экономическому анализу, которые как раз базировались на использовании самых разнообразных данных, имеющих практическую ценность при разработке экономической политики (Morgan, Rutherford 1998). Однако сформировавшееся в то время понимание теории как математического моделирования сохранилось (точнее, *формальные признаки теории остались теми же*). Таким образом, говоря о переопределении теории, прежде всего следует говорить об изменении (или утрате значимости) ее прежнего содержания (анализ максимизирующих полезность домохозяйств и максимизирующих прибыль компаний, обычно действующих на конкурентных рынках) и ее универсального характера (Саатаño-Alegre 2019).

В этом плане весьма показателен пример поведенческой экономики, где под каждый эксперимент, под каждую поведенческую аномалию принято создавать свою особую формальную модель (т. е., по сути строить отдельную теорию) (Капелюшников 2018. С. 19).

Аналогичное фундаментальное размывание границ между теорией и эмпирикой (данными) произошло в рамках экспериментальной экономики. Если традиционно эксперименты рассматриваются как средство проверки теории (например, склонны ли испытуемые делать выбор в соответствии с предположениями о рациональности), то экспериментальная экономика нацелилась на получение данных, которые удовлетворяют условиям теории в контролируемых условиях. Это позволяет их воспроизводить (как того требует экспериментальная практика естественных наук) (Саатаño-



Alegre, Saamaño-Alegre 2019). При этом в рамках подобного переосмысления данные не столько приспособлялись под потребности теории, сколько поднимались до ее уровня и становились соположенными ей (Svorenčik 2015. P. 15). Существенная эпистемологическая проблема, которая здесь возникает, это то, что для каждого отдельного изолированного (или особо выделенного) эмпирического факта возможно построить несколько самых разных формальных моделей (теорий), которые будут описывать его различным образом.

В целом большинство исследователей согласны с тем, что наблюдается значительный спад *чисто теоретических* работ (Backhouse, Chertier 2017. С. 4), который подтверждается публикационной политикой, когда работы без эмпирического анализа не принимаются (Rodrik, 2015b. С. 201). Такие процессы многими характеризуются как «оскудение теоретического новаторства» (Капелюшников 2018. С. 20–22), развитие науки без теорий или по крайней мере, как конец эпохи больших экономических теорий, который сопровождается продолжающейся нарастать фрагментарностью экономического знания, а также движением по пути массового производства частных моделей и лишь усиливается на фоне разрастания сферы прикладных эмпирических исследований с начала 1990-х годов (Ананьин 2005. С. 163–164).

Колоссальная фрагментарность экономического знания затрагивает как науку в целом, так и мейнстрим и сопровождается возведением методологических, эпистемологических и онтологических барьеров, которые начинают оформляться институционально в свои ассоциации, журналы и т.п. (De Vroey, Pensieroso, 2016. P. 6). Наиболее важным онтологическим и эпистемологическим проявлением тенденции такого рода является т.н. феномен «эконометриковерия», под которым подразумевается абсолютное превалирование результатов эконометрического оценивания над общей теорией и часто наблюдаемый *конфликт* между положениями теории и эконометрическими оценками. Когда экономисты сталкиваются с такими проблемами, то отдают безусловное

предпочтение второму, *полагая общетеоретические принципы условностью*, не имеющей отношения к реальности. Фактически же это сказывается на статусе теории в рамках экономического знания — она не только *не имеет значения* как отправная точка для проведения исследований, выбора проблем, она также *не участвует в интерпретации* полученных оценок (вне зависимости от того, подтверждают ли они теорию или противоречат ей) (Капелюшников 2018. С. 13–16).

Обратимся к еще одной важной методологической тенденции, вытекающей из забвения (пренебрежения) теорией и «эмпирического поворота» — резкое повышение научного статуса и престижности (что подтверждается публикационной политикой) эмпирических и эксперименталистских исследований, фактически нацеленных на изучение каузальных связей вне связи с какой-либо теорией. Такие атеоретические по своей направленности исследования не ставят целью ни подтвердить, ни опровергнуть какую-либо теорию, ни выступать в роли эмпирического базиса для какой-то теории или концепции, ни интерпретировать полученный результат, исходя из какой-либо теоретической схемы (De Vroey, Pensieroso 2016). Равнодушие эмпирических и эксперименталистских исследований к наличию/отсутствию какого-либо теоретического построения/подхода — это не только закономерный результат зашедшего в тупик развития экономической науки по линии превращения ее в «чистую» дисциплину гипотетико-дедуктивного типа с очень высоким уровнем абстракции (Hutchison 1998; Rosenberg 1992) и реализация противоположной траектории — эмпирического пути развития, в особенности на фоне существенного расширения вычислительных мощностей, изобретения целого ряда новых эконометрических техник и многочисленных методологических улучшений в сфере моделирования каузальных гипотез и обработки больших массивов данных (Ross, Kincaid 2009). Для нас наиболее интересным здесь представляются два факта: во-первых, что такие эксперимен-

талистские исследования по своему дизайну максимально приближены к стандартам работы в естественных науках, т. е. должны надежно подтверждать наличие каузальных связей и измерять силу их воздействия, и, во-вторых, что они задают собой новый *эталон научной строгости* (Duvendack et al. 2017). По сути, целью является еще большее развитие техники, аналогично эконометрическим исследованиям, — чем изощрение техника анализа, тем, по мнению экономистов (и экономических журналов, поддерживающих и поощряющих эту тенденцию), лучше результат.

Значит ли это, что к полученным такими способами результатам больше доверия? Возможно, однако скорее всего это указывает на *сверхзначимость развития самого инструментария*. Весьма показательным в этом плане явлением можно назвать саму выработку новых критериев и жестких стандартов качества эмпирических исследований, обозначенных как «революция достоверности» (*credibility revolution*). Указанная революция (в ретроспективе) началась в 2000-х годов, однако само это наименование «*credibility revolution*» появилось после кризиса 2007–2009 гг. в известной работе Дж. Ангриста и Й.-Ш. Писке (Angrist, Pischke 2010) с целью обозначить новые эпистемологические и методологические практики, направленные на значительное повышение надежности эмпирических тестов в экономике в рамках т.н. «эмпирического поворота», поскольку расцвет эмпирических исследований сопровождался резким ростом числа очень слабых и неубедительных работ (Либман 2018).

«Революция достоверности» подразумевает, что исследователь должен использовать только те методы, в которых влияние ненаблюдаемых переменных либо крайне незначительно, либо их можно устранить. Парадигмальным образцом при этом выступает естественнонаучный рандомизированный эксперимент (*randomized controlled trial*), который обеспечит случайное распределение значений интересующей переменной (предполагаемой причины) в выборке (Dunning 2012). Поскольку проведение полноценных полевых экспери-

ментов естественнонаучного типа в экономике чрезвычайно затруднено, то вторым по значимости с точки зрения новых стандартов научности являются естественные эксперименты, где строго очевидно, что факторы, влиявшие на отбор (речь идет о внешних факторах, не имеющих никаких связей с исследуемым явлением), не могут оказать никакого воздействия на зависимую переменную (Banerjee 2007; Leatherdale 2019). Однако найти эмпирические кейсы, в которых распределение значений переменной (предполагаемой причины) оказалось бы практически случайным, также весьма сложно, поэтому исследователи обязаны избежать ловушки «случайных корреляций» и исключить влияние ненаблюдаемых переменных иными, статистическими способами – например, применив метод инструментальных переменных, иногда в паре с экспериментами (Sovey, Green 2011). В итоге на данный момент эмпирические методы «революции достоверности» превратились в золотой *стандарт дисциплины и стали ее конституирующим элементом*, подобно тому, как раньше эту роль выполняла теория рационального выбора (Либман 2021)<sup>5</sup>.

Это особенно интересно в связи с тем, что в последние десятилетия аппарат теории рационального выбора утвердился как общий, а ее формализм вообще не имеет прямого отношения к экономическим явлениям, так как «агент» может максимизировать в условиях «ограничений» свою «функцию полезности» в отношении чего угодно: военной победы, социального престижа, электорального выигрыша. Соответственно, теория легко экспортируется в любую область, где есть агенты, делающие ограниченный выбор. Это означает, помимо экономических вопросов, большинство остальных социальных наук, политическую философию, а также многие разделы биологии (Radnitzky, Bernholz 1986). Экономическая наука хорошо известна своим эпистемо-

---

5. Институционально это подтверждено получением одними из лидеров в области рандомизированных экспериментов Э. Дюфло и А. Банерджи премии Sveriges Riksbank по экономическим наукам памяти А. Нобеля.

логическим империализмом, в 1970–1980-е годы это была попытка экспортировать понимание экономикой того, что требуется хорошей науке, в другие социальные науки (Lazear 2000; Davis 2016). Но если раньше экспансия в соседние дисциплины происходила за счет *теоретического аппарата* (моделей, концепций, теоретических конструктов рационального выбора), то теперь эту роль фактически *выполняет метод* (инструменты анализа) и тесно связанный с ним новый стандарт научности социальных наук.

Поэтому неудивительно, что вслед за экономической наукой «credibility revolution» и принятые в рамках нее новые стандарты научности распространились на другие общественные дисциплины (Samii 2016; Baldassarri, Abascal 2017). В то же время сами экономисты, сосредоточившись исключительно на методе, обратились к эмпирическим кейсам не только вне связи с какой-либо теорией, но и вообще вне связи с экономикой, главное, чтобы они отвечали требованию о практически случайном распределении значений переменной (предполагаемой причины). В качестве примера можно привести известное исследование с дизайном естественного эксперимента о влиянии поста в месяц Рамадан на здоровье беременных женщин и рожденных ими детей (Almond, Mazumder 2011), которое было опубликовано в ведущем американском экономическом журнале и получило широкое признание и самые высокие оценки. Абсолютная незначимость для экономики и известная тривиальность выводов (хотя и надежно каузально подтвержденных, но известных любому врачу с большой практикой) наглядно свидетельствует, что техника анализа приобрела сверхзначение. О чем этот анализ и кем он проводится (экономистом, демографом или ученым-медиком) не имеет значения.

Вместе с тем, «революция достоверности» не является полностью консенсусной. Критике подверглись и надежность вышеупомянутых новых эмпирических методов, и в особенности влияние новых стандартов научности на деятельность экономистов. В контексте онтологической проблемы эконо-

мической науки особый интерес представляет второе направление высказанных сомнений. Прежде всего перед нами классический случай того, что метод диктует выбор материала и этот выбор оказывается чрезвычайно ограниченным. По факту стандарты «революции достоверности» не позволяют получить надежные причинные связи действительно в отношении существенных вопросов, поскольку экономисты упираются либо в невозможность провести настоящий эксперимент типа *randomized controlled trial*, либо в отсутствие хороших инструментальных переменных. В этой ситуации они концентрируются на поиске «естественных экспериментов», аналогично исследованию влияния поста в месяц Рамадан на здоровье беременных женщин, задним числом подбирая или формальным образом привязывая найденный эксперимент к какому-то исследовательскому вопросу или экономической теме (в случае исследования о Рамадане это *health capital*). Д. Родрик справедливо отмечает, что большинство естественных экспериментов — это весьма локальные и специфические ситуации: «Типичная оценка была проведена в конкретной местности на конкретной группе и в конкретных экспериментальных условиях. Ее обобщаемость на другие условия никогда не гарантируется» (Rodrik 2008. С. 4).

Таким образом, «революция достоверности» ведет к еще большему фрагментированию экономического знания, которое превращается в «лоскутное одеяло» различных, порой не связанных между собой, результатов, при этом «место многочисленных корреляций, выявленных с помощью *data mining*, занимают многочисленные эксперименты, выводы которых вполне могут противоречить друг другу (Либман 2021), т.е. они не только не позволяют сформулировать общую картину изучаемого явления, но и потенциально препятствуют развитию теории.

Подведем некоторые итоги. Риторически, и «эмпирический поворот», и «революция достоверности» предстают как свидетельство сдвига экономической науки к более реалистичному, практически ориентированному типу знания,

прочь от дедуктивного построения, где «уверенность в следствиях экономики проистекает из уверенности в ее аксиомах, а не из проверки их следствий» (Hausman 1992. P. 1). Экономика презентуется как сугубо эмпирическая дисциплина, где основное внимание уделяется не теоретическим построениям, а тестированию теоретических гипотез или модельных выводов различными количественными и эконометрическими методами. Однако на практике скорее всего речь идет о своеобразном поглощении (частичном растворении) экономической науки в статистике, а точнее, в идущей ей на смену новой дисциплине «data science». Действительно, одной из ключевых причин пролиферации эмпирических исследований, заставившей говорить об «эмпирическом повороте», является взрывной рост данных, их доступность, расширение вычислительных мощностей и обилие программ для работы с данными (Ross and Kincaid 2009; Einav and Levin 2014). Между тем, статистика, выступающая онтологическим и эмпирическим основанием экономической науки, также является базовой данностью и основным типом знания, необходимым для функционирования государственного аппарата и для любого типа административного управления (бизнес, корпоративного, наднациональных институтов). В статистике (в отличие от экономики) и еще в большей степени в «data science» ключевую роль играют методы, которые позволяют собирать данные, изучать их, а также выявлять самую разную содержащуюся в них информацию — при этом привязка к каким бы то ни было теоретическим построениям и гипотезам совершенно не требуется. В этой ситуации тестирование теории и сама теория становятся второстепенным делом, на первый план выходят описание данных, а также качество количественных исследований, проблема достоверности и надежности результатов, получаемых при работе с данными (и в особенности с большими массивами). Это ведет к переходу «от моделей к методам» в инструментарии эмпирического экономиста (Panhans and Singleton 2017). Таким образом, «революция достоверности» с ее жесткими требовани-

ями к дизайну исследований и исключению ненаблюдаемых переменных — это ответ на подобные объективные запросы, где во главу угла ставится не использование конкретных техник, а организация изучаемого вопроса и стандартизация исследовательских процедур таким образом, чтобы можно было сделать надежные выводы о каузальной связи.

Однако является ли такой сдвиг экономической науки перспективным для нее самой? Один из классиков эконометрического анализа К. Симс весьма скептически оценивает «революцию достоверности», называя естественные эксперименты и квазиэксперименты всего лишь риторическими приемами, позволяющими претензией на настоящий естественнонаучный эксперимент замаскировать реальные проблемы эконометрики и необходимость их обсуждения и решения (Sims 2010). Можно задаться и другим вопросом, ведет ли отказ от теории к повышению достоверности результатов, можно ли подтвердить *существование* каузальной связи лишь методическими усилиями, ведь само указание на существование отсылает нас к *тому, где* эта связь существует. В конечном счете, теоретические и концептуальные конструкты позволяют нам не только выдвигать гипотезы и предположения о причинных отношениях между теми или иными переменными, но и, что гораздо важнее, объяснять характер этой связи, описывать механизм, стоящий за конкретными социальными явлениями (что делает возможной работу с ними).

Таким образом, анализ некоторых ключевых дисциплинарных и эпистемологических сдвигов в развитии экономической науки (и их отражение в дискурсе, описывающем ее состояние) позволяет говорить не столько об эмпирическом повороте, сколько об усилении «инструментального крена», технологического самосовершенствования дисциплины и ее научных стандартов. Так, для проведения естественных экспериментов не обязательно знать что-то об экономике, но нужно и важно владеть техническим инструментарием. Проблема нереалистичности моделей при этом



никак не решается, ибо фокус смещается в сторону вопроса, насколько хорошим инструментом является модель и можно ли улучшить этот инструмент. Это полностью исключает онтологический аспект рассмотрения проблемы, что усиливается безразличием к теории (включая тенденцию к созданию атеоретического знания). Так, на примере «революции достоверности» видно, что гипертрофированное внимание к установлению каузальных связей в строгом соответствии с новыми стандартами научности, заимствованными из экспериментального естествознания, полностью заслоняет собой вопрос о том, а *почему* наблюдается тот или иной эффект, *что* представляют собой механизмы, порождающие тот или иной эффект и т.п. (Либман 2018. С. 46–47).

Без ответа на этот вопрос *интерпретировать* результаты того или иного исследования может оказаться весьма сложно, а может выясниться, что имеет место агрегированное воздействие нескольких причин, которые *противоположны* друг другу (Rosenzweig, Wolpin 2000). Еще одна важная онтологическая проблема — обоснование ключевых допущений — эта тема, в конечном счете, отсылает нас к вопросу о реалистичности предпосылок и интерпретации формально-теоретического построения модели эксперимента. Речь идет об обосновании ключевых допущений, на которых строятся естественные эксперименты и которые связаны с подтверждением случайности распределения воздействия (критерий/фактор, по которому происходит распределение никак не коррелирует ни с одним из иных факторов, могущих оказать воздействие на зависимую переменную). Очень часто такие обоснования лежат за пределами знаний или компетенций экономистов, и при подобных построениях они опираются на мнения иных специалистов (Либман 2018. С. 45). Таким образом, именно от этих внешних мнений зависит, является ли случайным распределение воздействия, а значит, и действительно ли *существует* причинно-следственная связь (а не корреляция).

Все сказанное позволяет поставить ключевой вопрос о том, нужна ли исследователю (работающему в экономиче-

ской науке понимаемой как эмпирическая дисциплина и ориентирующемуся на новые стандарты научности) консистентная картина мира, где предметная реальность не предстает «лоскутным одеялом»? (Капелюшников 2018). Возможно, в рамках его частных исследований, действительно, нет, ему достаточно лишь того консенсуса, который существует в его узкой области или в соседней — и если данное сообщество исследователей признает что-либо доказанным, обоснованным фактом. Вместе с тем, любая деятельность, связанное с этим целеполагание, результаты и институализированные практики не могут не предполагать *общую* картину мира. И если в рамках научных практик ее не формируют теоретические и концептуальные построения, значит, она *формируется в каком-то другом месте и другим способом*. Причем в этом «другом месте» в силу особенностей его функционирования принципиально снимается проблема противоречащих друг другу фрагментов балканизированной предметной реальности дисциплины или конкретных эконометрических оценок. «Точка сборки» и «контекст интерпретации» безусловно включены в деятельность экономистов, только *на другом уровне, в рамках включенности в иные, нежели научные, практики*. Этот вопрос мы рассмотрим далее.

### **3. Основные онтологические и методологические сдвиги в посткризисном развитии дисциплины: модель как инструмент**

Теперь обратимся к сдвигам в определении экономической науки, ее целей и статуса в системе знания, которые произошли на фоне финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. и стали важным элементом дискурса прогресса экономической науки. Здесь нас интересуют ключевые онтологические и методологические сдвиги, ставшие результатом рецепции состояния и путей развития дисциплины со стороны видных представителей профессии. Мы выделяем четыре такие наиболее важные с нашей точки зрения тенденции: утверждение представления о дисциплине как об

универсальном ящике с инструментами, риторика, связанная с отказом от претензий на научность, интерес к нарративным структурам и определение моделей как басен, а также идея о горизонтальном прогрессе дисциплины.

Начнем с последнего. Усиление дискурса о кризисе дисциплины породило вопросы о том, куда движется современная экономическая наука, как оценивать прогресс в ее развитии. В рамках классической научной парадигмы и нормативной методологии науки «прогресс» понимается как совершенствование нашего теоретического знания о предмете исследования, т. е. в случае экономической теории, основу которой составляет математическое моделирование, речь идет о построении *лучших* моделей. Однако уже здесь возникает вопрос, что значит «лучших». Более точных, более универсальных, более полезных, обладающих большей объяснительной силой? Или, может, общепринятых, часто цитируемых, успешно публикующихся, содержащих «вдохновляющие истории»? Любой возможный ответ с необходимостью отсылает нас к фундаментальному вопросу о *целях* экономического моделирования.

В этом контексте особого внимания заслуживает попытка известного экономиста, гарвардского, а ранее принстонского профессора Д. Родрика обосновать идею т.н. «горизонтального прогресса» в развитии экономической науки. В своей книге «Правило экономических рассуждений: сила и слабость мрачной науки»<sup>6</sup>, которая стала ответом на беспрецедентную критику дисциплины на фоне Великой рецессии, он утверждает, что «знание аккумулируется в экономике не вертикально, когда лучшие модели сменяют худшие, а горизонтально, когда новые модели объясняют различные социальные проблемы, которые ранее не получали внимания» (Rodrick 2015a. P. 67). Итак, суть прогресса не в замене старых моделей новыми, а в *расширении возможных подходов/ методов* к объяснению социальных феноменов. Исходя из этого, задача развития эконо-

---

6. В русском переводе «Экономика решает: сила и слабость мрачной науки».

номического моделирования видится в том, чтобы, обнаружив или идентифицировав проблему, подобрать или создать для нее подходящую модель. Фактически, это ответ Родрика на вопрос о *целях* экономического моделирования и его видение сути прогресса — чем больше возможный выбор, тем лучше.

Идея Родрика о «горизонтальном прогрессе» вызвала методологическую дискуссию, в частности, о том, можно ли считать экспансивное «горизонтальное развитие» прогрессом или особым видом научного прогресса, и как в контексте задач предсказания и определения экономической политики выбирать из имеющегося набора моделей, как идентифицировать правильную/ подходящую к случаю модель (Aydinonat 2018; Kuorikoski, Lehtinen 2018). Некоторые участники этой дискуссии поставили вопрос о том, что «горизонтальный прогресс» возможен лишь при условии системы ограничений, которая будет направлять подобное экспансивное развитие и о создании соответствующей процедуры отбора модели, соответствующей конкретной цели или задаче (Grüne-Yanoff, Marchionni 2018). Подобные вопросы, безусловно, весьма важные, тем не менее, переводят предложенную Родриком идею развития экономического моделирования в сугубо нормативную эпистемологическую плоскость, а значит, обсуждение идентификации правильных моделей и создания процедур их отбора под ту или иную задачу может длиться бесконечно. Вместо того чтобы обсуждать, правильно ли такое представление, или пытаться сделать его нормативно значимым, гораздо интереснее посмотреть на идею «горизонтального прогресса» в онтологическом, ценностном и институциональном контекстах. Прежде всего нас интересует, что репрезентирует заявленная Родриком позиция, которая уже обрела некоторую самостоятельность, какие объективные тенденции в развитии экономической науки она отражает и к каким последствиям ведет.

Как нам представляется, во-первых, идея «горизонтального прогресса» в развитии экономического знания хорошо вписывается в происходящий в последние годы пересмотр

практик производства экономического знания и системы экономического образования и в целом отражает те изменения, которые описаны в предыдущем параграфе. Во-вторых, идея «горизонтального прогресса» по сути является попыткой описания (и тем самым фактического признания) *сложившейся системы производства экономического знания и легитимации этой практики* в рамках научного и общественного дискурса о целях и задачах дисциплины и ее пользе для общества. Действительно, идея «горизонтального прогресса» в экономической науке означает, что экономическое моделирование развивается отнюдь не привычным (в рамках нормативных представлений) способом смены устаревшего научного знания новым и лучшим, а путем расширения «модельного ассортимента», которое понимается как построение все новых моделей с целью создания своеобразной «библиотеки моделей» на все возможные случаи. Однако суть утверждения Родрика не только в том, что именно таким образом развивается экономическое моделирование, а именно в том, что такой тип развития *конституирует определенный прогресс*.

Здесь ключевым является то, *как* Родрик понимает экономическую науку, иными словами, понимание прогресса предполагает определенное видение целей и задач соответствующей дисциплины. Процитируем автора: «Термин “экономическая наука” (economics) стал использоваться в двух разных смыслах. Одно определение делает акцент на содержательном аспекте исследований; в такой интерпретации экономическая наука — это одна из наук об обществе, цель которой — понять, как устроена экономика. Второе определение делает акцент на методах: экономическая наука — это один из способов изучения общества с применением определенных инструментов. В такой интерпретации дисциплина ассоциируется с аппаратом математического моделирования и статистическим анализом, а не с определенными гипотезами или теориями относительно экономики. Отсюда следует, что экономические методы можно применить помимо экономики ко многим другим сферам — начиная от принятия

решений в семье и заканчивая вопросами о политических институтах. Я использую термин “экономическая наука” во втором смысле» (Rodrick 2015a. P. 7). Из определения, данного Родриком, очевидно, что экономическая наука здесь редуцируется к моделированию. Однако в определении моделирования наблюдается сдвиг в духе эмпирического поворота — модель это не репрезентация или элемент (фрагмент) теории (теоретического корпуса определенной науки), а «метод» (инструмент) в прикладном, технологическом смысле, универсальный и применимый ко множеству различных сфер<sup>7</sup>.

Такое определение, в целом, закономерно отражает то состояние, к которому экономическая наука пришла на рубеже XX–XXI вв., когда моделирование является основным содержанием обучения и ключевым элементом деятельности работающих в сфере экономики специалистов, а сама дисциплина предстает как ящик исследовательских инструментов по производству «как если бы» (as if) теорий и знания о *любом* («возможном») социальном мире. В итоге, экономическая теория уже не связана (как это парадоксально ни звучит) с изучением экономической реальности (Fourcade 2009). Далее мы будем называть подобное определение экономической науки «инструменталистско-техническим», оно становится доминирующим в рамках дисциплины (Балацкий 2007) и во многом совпадает с консенсусом, утвердившимся в методологии экономической науки в посткризисный период, в рамках которого «экономика» — это наука о моделировании, поскольку модели стали неотъемлемой частью современных экономических процессов, при этом основная цель моделей — не только иллюстрировать, но и производить знания (Hoover 2012; Kincaid 2012, Hardt 2016).

Инструментально-технический крен в развитии экономического знания и превращение технической деятельности экономистов в самостоятельную и затем самодостаточ-

---

7. Ср: Обычно под моделями понимаются теоретические и, как правило, математически структурированные образования, которые приближаются к реальной системе, не будучи идентичными ей.

ную сферу, безусловно, имеет многочисленные исторические и дисциплинарные причины, исследование которых является отдельной интересной темой, выходящий за пределы данной работы. Отметим лишь, что, по-видимому, такой разворот в сторону построения экономической науки на основе инструментальной теории был заложен еще на этапе ее дисциплинарного становления, что выражено в знаменитой речи А. Маршалла. Дефиниция «не совокупность конкретных истин, а мотор, предназначенный для того, чтобы открывать такие истины» (Marshall 2008. P. 18, 25) потенциально подразумевает развитие по пути разработки методов экономического анализа, при этом такой способ развития создает необходимые условия для последующего экспансивного движения вширь, что было весьма важно в контексте профессионализации занятий экономикой на рубеже XIX–XX вв. и переходу университетов к массовой подготовке экономистов.

Помимо прочего инструменталистско-техническое определение дисциплины и тесно связанная с ним идея «горизонтального прогресса» вписывается в одну из ключевых методолого-эпистемологических традиций экономической науки — инструментализм. Речь идет о программе М. Фридмана, изложенной им в известном эссе «Методология позитивной экономики». Как известно, для М. Фридмана польза моделей определяется их эффективностью, а не предпосылками. Он рассматривает теоретическую деятельность «позитивного» экономиста как самостоятельное движение в «параллельном» экономической реальности концептуальном мире, который *в некоторой своей части* с внешней реальностью не связан. Таким образом, он все же частично сохраняет установку на «научный реализм» — «теория не может быть проверена простым сопоставлением ее “предпосылок” с “реальностью”... Да и не существует никакого осмысленного способа сделать это. Полный “реализм”, очевидно, недостижим, а вопрос о том, является ли теория достаточно реалистичной, может быть разрешен только исходя из того, дает ли она достаточно хорошие для данной цели предсказания или лучшие предсказания

по сравнению с альтернативными теориями» (Фридман 1994. С. 49). Вместе с тем, теоретическая конструкция предъявляет свою релевантность не за счет реалистичности посылок и экспериментальной проверяемости, а исключительно за счет эффективности предсказаний и умения способствовать решению некоторой практической конкретной проблемы. Как пишет по этому поводу М. Фридман, «идеальные типы не предназначены для описаний, они созданы для выделения характеристик, которые являются решающими для решения проблемы» (Там же. С. 45).

Переформулируем сказанное с помощью аналогии, представим, что у нас есть карта, с помощью которой мы хотим найти сокровища. С позиций инструментализма не важно, соответствует ли карте местность, где мы ищем сокровища, важно лишь, чтобы с ее помощью мы могли их найти. В такой формулировке порочность рассуждения становится очевидной: сложно представить себе эффективный поиск сокровищ с помощью карты, не соответствующей местности, и вполне очевидно, что результат при этом будет носить *случайный* характер. Можно возразить, что никто не требует от карты полного отражения действительности и реальность всегда богаче знания.

Однако этот аргумент не меняет сути дела: поскольку регулятивные правила построения карты привязаны не к реальности, а к создателю карты и его целям, вопрос о границах применимости построенной модели (карты) и о степени закономерности (необходимости) полученных результатов остается неразрешимым. Не имея ясного представления о степени предметности (адекватности) модели, мы не можем оценить ни степень надежности (воспроизводимости) достигнутого результата (ту самую «эффективность»), ни границу области применения модели и ее производных. Все, на что мы можем рассчитывать, — это локально эффективное знание неизвестной степени общности с выводами неизвестной степени устойчивости (Кошовец, Вархотов 2014). Таким образом, следуя логике предпочтения заключений посылкам,



мы получаем чрезвычайно хрупкую, пусть и локально эффективную, картину мира, которая постоянно находится под неустрашимой угрозой обрушения. Кроме того, в своей радикальной версии инструменталистский подход предполагает *локальность любых теоретических результатов*, что идет вразрез с интуицией единства реальности и универсальности научного знания.

В рамках тезиса о «горизонтальном прогрессе» и «библиотеке моделей» экономическое моделирование предстает в рамках той же логики, что и у Фридмана, но акценты расставляются иначе. Для инструменталистско-технической позиции в определении экономической науки ценность моделей определяется уже исключительно их инструментальными возможностями. Родрик эксплицитно подчеркивает, что каждая модель — это сугубо локальное эффективное знание, применимое в одном случае и не применимое в другом, но на этот случай у нас много других моделей, какая-то подойдет. Таким образом, случайность результата при поиске сокровищ компенсируется множеством карт, которые, как подразумевается, повысят шансы их найти. Родрик подчеркивает, что разные контексты требуют разных моделей, и именно поэтому новые модели расширяют наши познания, а не заменяют собой старые. Однако это не снимает проблемы выбора нужной карты (т. е. модели), которая, как выясняется, зависит от мудрости и искусности того, кто работает с ними (и тут возникают вопросы, кто выбирает, как выбирает и где именно происходит подобный выбор).

Выше мы отмечали, что новые тренды в экономическом образовании, особенно в бизнес-школах, помимо прочего связаны с переориентацией на изучение кейсов. Таким образом, позиция Родрика хорошо согласуется с изменившимися образовательными практиками. Но помимо прочего она вписывается и в появившееся в начале 2000-х годов движение за фронетические социальные науки (Flyvberg 2001). Под этим подразумевается притязание на практически значимое знание о социальной жизни, речь идет о производстве такого

типа знания, которое встроено в конкретные практики, о локальных или даже неявных умениях и навыках, которые приобретаются с практикой, а не с усвоением в ходе обучения теоретического (абстрактного) корпуса знаний (см. также: (Ананьин 2018)). Для нас здесь интересно, что это движение *размывает границу* между научным и ненаучным знаниями и очевидно связано с перепроизводством профессий, подразумевающих интеллектуальный труд. Значительная часть таких профессий воспроизводится не в сфере науки и образования, а в так называемых креативных индустриях, консалтинговой и маркетинговой сфере и в масс-медиа. С другой стороны, тема мудрости, искусности, конкретных практик и ситуаций (кейсов) — это то, что в философской литературе обозначается как «альтернативная форма практической рациональности», противопоставляемая «технической рациональности» и научным знаниям (Dunne 2005; см. также: (Ананьин 2018)).

Мировой финансово-экономический кризис 2007–2009 гг. с его массивной критикой в адрес экономической профессии поставил под сомнение претензии экономистов на знание, и как следствие статус экономики как науки. В результате в рамках посткризисной рефлексии последовал целый ряд заявлений ведущих экономистов о том, что они скорее ремесленники, чем ученые, эта риторика стала своеобразной попыткой избежать обвинений в сциентизме или даже отказаться от претензий на научное знание (Ross 2018). Мы полагаем, что реальной задачей такой риторики стала попытка *защитить* сложившиеся практики производства экономического знания, *дистанцируя* их от «претензий» на научный статус. Мы уже отчасти коснулись подобной позиции у Родрика. Однако наиболее репрезентативными в данном контексте видятся идеи, высказанные другим известным экономистом, специалистом по эконометрике и профессором Калифорнийского университета Э. Лимером.

Риторическая стратегия Лимера базируется на утверждении, что лучшее экономическое знание не стремится быть наукой, — если правильно определять дисциплину как

ремесло (craft), то тогда возможно (руководствуясь здравым смыслом) отличать «лучшее, осторожное и пронизательное» экономическое знание от чрезмерно амбициозного и вводящего в заблуждение (Leamer 2012). Попытки откренестись от сциентистских претензий подразумевают для экономики целый ряд важных последствий: прежде всего отказ от физики (математизированного естествознания) как парадигмального образца. Такое размежевание, естественно, не может быть связано с отказом от прикладного математического аппарата и потому осуществляется по линии целей и задач дисциплины. Их переопределение в практическую плоскость — улучшение экономической политики — закономерно приводит к отрицанию репрезентативистской установки: экономические модели не нацелены на точное описание мира, а являются «упрощенной и искаженной моделью реального мира». Чтобы подчеркнуть различие, Лимер прибегает к инженерной метафоре, которая, как отмечалась выше, заложена в определении целей и задач экономической науки еще у Маршалла. В отличие от инженерного дела физика стремится открыть истинный характер реальности, независимо от того, полезно ли это.

Чтобы понять контекст риторики, связанной с уклонением от претензий на научность, следует кратко остановиться на его утверждении в рамках дисциплины. Становление дискурса научности в экономическом знании связывается с периодом после Второй мировой войны и широкой институционализацией количественных исследований. Ключевым текстом, сформировавшим эпистемологические и методологические нормы дисциплины, по мнению большинства историков экономики, была книга (Самуэльсон 1947) «Основы экономического анализа» (Ross 2014; Backhouse 2017). В предисловии к этой книге главной фигурой, с которой сравнивает себя Самуэльсон в историческом контексте, является И. Ньютон (Samuelson 1983). Ключевое достоинство предлагаемого им методологического подхода это формирование *теоретического* корпуса дисциплины на основе такой эпистемической

добродетели, как «точность», которую обеспечивает математика. Однако важно, что математика здесь выступает не столько в качестве основного эпистемологического достоинства нового экономического знания, а так же как и ранее у Маршалла, в качестве новой нормы, регулирующей конкретную научную практику и процесс производства знания. Как следствие, если еще в 1950-х годах большинство статей в ведущих экономических журналах были преимущественно «вербальными», то с середины 1960-х годов таких статей практически не осталось. В результате притязания экономистов и связанных с этим институтов по производству знания были легитимированы как должным образом *научные* (Ross 2018). Не меньшую роль в этом сыграла нормативная философия науки К. Поппера и его идея фальсификации, которая разделялась П. Самуэльсоном, а затем еще больше утвердилась в методологии экономической науки благодаря М. Блаугу.

Именно с этими жесткими нормативными представлениями у большинства экономистов связаны представления о «научности» дисциплины и об отношениях теории и эмпирических структур знания. Эмпирический компонент знания в парадигмальных науках типа классической физики обеспечивает связку теории (модели) с реальностью. Таким образом, изменение практик производства экономического знания с выраженным креном в практическое применение и последовательное признание нереалистичности, упрощенности, искажений в моделях с необходимостью ведут к отказу от претензий на научность. А вместе с отказом от «научности» (и связанной с ней нормативности) и к разрыву с теоретическим знанием, в том числе за счет размывания границ между теорией и эмпирикой, прикладным и теоретическим знанием, наукой и искусством (ремеслом). Таким образом, антисциентистская риторика, жертвуя статусом экономики как *науки*, по сути нацелена на защиту *профессии* экономиста и связанных с ней практических навыков, технологий и инструментов. С другой стороны, «революция достоверности» с ее надежным подтверждением каузальных, а не

корреляционных связей, проанализированная в предыдущем параграфе, возвращает (или призвана восстановить) «научность» дисциплины, еще более привязывая ее к стандартам *настоящих* наук — физики и математизированного естествознания. Однако делается это в иной, нежели Самуэльсон, парадигме, а именно за счет институционализации новых технологий, инструментов и связанных с ними стандартов (норм) производства экономического знания. Вместе с тем, «математический метод» как основное средство обеспечения «научности» остается прежним.

#### **4. Основные онтологические и методологические сдвиги в посткризисном развитии дисциплины: модель как нарратив**

Отказ от теории, размывание границы между теоретическим и эмпирическим знаниями и выраженный сдвиг в сторону прагматизации знания с размыванием границ научного и ненаучного знаний (что иногда принимает вид отрицания претензий на «научность» в ее классическом нормативном понимании) объединяет еще одна тема — сравнение моделей с баснями, которая помимо прочего тесно связана с проблемой нереалистичности моделей.

Как отмечает в своей (разбиравшейся нами выше) книге Родрик, аналогия с басней не ускользнула от внимания лучших представителей экономической науки, и они готовы признать, что создаваемые ими абстрактные модели подобны басням (Rodrik 2015a. P. 9). Впервые нарративный компонент экономической модели был отмечен еще в конце 1970-х годов А. Гиббардом и Х. Варианом — «модель всегда рассказывает какую-то историю» (Gibbard, Varian 1978. P. 666). Однако широкое распространение подобные рассуждения получили в 2000-х годов и заметно усилились в посткризисный период.

Мы полагаем, что следует условно различать две стратегии сравнения моделей с баснями. Во-первых, основанную на антиреалистической методологической позиции, но сохраняющей презумпцию «научности» моделей. И во-вторых,

риторическую стратегию, которая особо подчеркивает нарративный компонент модели и связанную с этим практическую пользу, но по факту отрицает ее научность (в классическом нормативном смысле). Однако в обоих случаях сравнение с басней предполагает отказ от реалистичности моделей или ее локализацию *за пределами* научного знания. В свою очередь, внутри этих двух стратегий весь массив подобных суждений можно разделить на выражаемые методологами и отчасти экономистами (философско-методологические рассуждения) — они придерживаются, как правило, первой стратегии, и высказываемые самими экономистами, исходя из рефлексии над собственной практикой производства и передачи знания (они чаще высказываются в рамках второй стратегии).

Рассмотрим эти стратегии подробнее и начнем с высказываний, основанных на антиреалистической методологической позиции.

Еще до кризиса 2007–2009 гг. многие экономисты признавали, что их модели это эвристически полезные, но искусственные конструкции, не имеющие прямого отношения к реальности или не похожие на что-либо в реальном мире. Иногда подобные утверждения дополнялись заявлениями о том, что реальность ведет себя так, как будто их теории верны. Наиболее репрезентативные образцы такой риторики это концепции «аналоговых экономик» Р. Лукаса (Lucas 1981; 1988) и «правдоподобных контрфактических миров» Р. Сагдена (Сагден 2012). В обоих случаях авторы сохраняют установку на научность моделей, поэтому напрямую не называют их баснями, но перемещают модели в сферу *возможного, воображаемого*, искусственного. Цитируем Р. Лукаса: «Мы выдумщики, которые большую часть времени оперируют в воображаемых мирах. Мы не считаем, что царство фантазии и идей является альтернативой или убежищем от практической реальности. Напротив, это единственный способ, который мы нашли, чтобы всерьез думать о реальности. В некотором смысле, в этом методе нет ничего более, чем

поддержание убеждения... что воображение и идеи имеют значение... им нет практической альтернативы» (Lucas 1988). Согласно Р. Сагдену, «модели описывают правдоподобные контрфактические миры. Их убедительность дает нам определенные гарантии, позволяющие распространить полученные в процессе анализа модели индуктивные умозаключения на реальный мир»<sup>8</sup> (Сагден, 2012. С. 517)<sup>9</sup>.

Одной из методологических версий подобных стратегий оправдания нереалистичности моделей, сохраняющих идею того, что модели – это воображаемые или контрфактические миры, является придание им статуса мысленного эксперимента, который, с некоторыми оговорками, рассматривается как аналог материального эксперимента в естественных науках (Mäki 1992; Mäki 2005; Morgan 2002; Morgan 2005), эту линию также разрабатывают Лукас и Сагден (Lucas 1981; Sugden 2009; Сагден 2012). Таким образом, несмотря на признание ложности предпосылок и указания на «воображаемый мир», установка на научность модели сохраняется, а риторическая отсылка к естественнонаучному эксперименту как нормативному стандарту призвана ее усилить<sup>10</sup>. Следует отметить, что «мысленными экспериментами» именуется весьма разнородные теоретические операции – моделирование, условно-гипотетические или контрфактические суждения, игровые модели и многое другое, общим для которых является лишь то, что во всех случаях речь идет о рассуждении (интеллектуальном действии), построенном по строгим правилам и решающем некоторую познавательную задачу. Таким

- 
8. Следует отметить, что Р. Сагден все же придерживается мнения, что разрыв между моделью и реальным миром должен быть устранен.
  9. В методологическом контексте такая позиция представлена Д. Хаусманом (Hausman 2011), который понимает модель как использование математических инструментов, чтобы задать вопрос «что, если?», – своеобразный диагностический инструмент, с помощью которого мы можем идентифицировать, каким именно образом реальность отличается от модели.
  10. Убедительную критику, почему экономические модели некорректно сравнивать с естественнонаучным (материальным) экспериментом см.: почему некорректно сравнение модели и мысленного эксперимента и почему такое сравнение оставляет по-прежнему открытым вопрос о том, как именно формальные модели могут применяться к реальному миру, см.: (Thoma 2015).

образом, значение термина «мысленный эксперимент» оказывается чрезвычайно расплывчатым<sup>11</sup>. Большинство специалистов в области эпистемологии отказываются от определения мысленного эксперимента, подменяя его типологией<sup>12</sup>, либо пытаются обобщить многообразие фактических употреблений словосочетания «мысленный эксперимент»<sup>13</sup>. Однако поскольку словосочетание содержит слово «эксперимент», соответствующая практика неявно *опирается на авторитет практики естественнонаучного эксперимента* и интуитивно рассматривается как аналог ключевого для естествознания метода в сфере наук об обществе, что хорошо видно на примере рассуждений Р. Лукаса и методолога экономической науки У. Мяки.

Сравнения моделей с мысленными экспериментами первоначально развивались самими экономистами, в частности Р. Лукасом. По его мнению, экономисты-теоретики создают правдоподобные аналоговые модели для «системы-мишени», под которой обычно понимается реальная экономика. Подобное моделирование полезно и необходимо, но поскольку полноценные эксперименты на обществе, как правило, непомерно дорогие, этически не оправданы или сложно управляемы, экономисты-теоретики должны заменить экспериментирование чем-то еще. Модель позволяет нам поставить

- 
11. В настоящее время не существует общепринятого определения мысленного эксперимента. Согласно Стэнфордской философской энциклопедии, мысленные эксперименты – «инструменты воображения, предназначенные для постижения природы вещей», т.е. они определяются исключительно по целям (познание) и субстанции (происходят в ментальной сфере); никаких конкретных структурных характеристик им не сопоставляется. Такое положение дел обнаруживается и в большей части специальной литературы, посвященной мысленным экспериментам (см.: Philosophy of Economics – Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu>).
  12. Вот характерный пример: «Мысленные эксперименты осуществляются в лаборатории разума. За пределами этой метафорической конструкции (bit of metaphor) сложно сказать, что они такое» (Brown 1991. P. 1).
  13. Примером может служить определение мысленных экспериментов, предложенное С. Ру: «Если мы попытаемся определить, что такое мысленные эксперименты, мы, скорее всего, остановимся на следующих трех характеристиках: они контрфактические, они задействуют конкретный сценарий, и они имеют четко определенную познавательную интенцию» (Roux 2001. P. 194).



контрфактический вопрос о том, «что случится, если некая переменная будет изменена определенным образом», т. е. поставить мысленный эксперимент. Так, Р. Лукас утверждает, что экономистам следует представить, что они подвергают свои модели своего рода «рабочему эксперименту» и проверке «на разнообразие реакций», ибо «одна из функций теоретической экономики — создать полностью заданные искусственные экономические системы, которые могут служить в качестве лабораторий... где можно тестировать различные варианты экономической политики» (Lucas 1981. P. 696). Так, к примеру, создав «депрессию-симулякр», мы можем надеяться, что то, что, как мы предполагаем, может произойти в модели, может произойти и на самом деле. В теории бизнес-циклов подобные модели строятся с целью показать, что изменения в предложении денег «имеют способность индуцировать депрессии или бумы» не только в самих этих моделях, но и в реальной экономике. Р. Лукас резюмирует: «В общем, я верю, что человек, утверждающий, что понимает принципы полета, вполне способен сконструировать летательный аппарат; в свою очередь, понимание бизнес-циклов означает способность в той или иной мере создавать их» (Ibid. P. 6.). Таким образом, для понимания и объяснения отношений между различными объектами и процессами в реальной экономике ключевой стратегией должно стать построение моделей с целью сделать так, чтобы некоторые события случились в этих «аналоговых экономиках». В таком случае мы «сможем относиться к рекомендациям по экономической политике так, как если бы они были экспериментально проверены» (Ibid. P. 220).

В свою очередь, У. Мяки защищает аналогию мысленного и естественнонаучного эксперимента уже в явном виде. По его мнению, как в материальном эксперименте естественнонаучного типа, так и в мысленном эксперименте в экономической теории осуществляются сходные по функции и результатам операции, в конечном счете направленные на изоляцию и взятие под контроль объекта исследования: «Разница с физическим экспериментом состоит лишь в том,

что в последнем контроль и изоляция осуществляются путем физической или каузальной манипуляции, а в мысленном эксперименте — путем конструирования предпосылок» (Мяки 2008). При этом, по его мнению, мысленный эксперимент справляется с ключевой задачей — изоляцией предмета — даже лучше материального (Mäki 2005. P. 309; см. также: (Мяки 2008)). При этом У. Мяки согласен с Р. Лукасом, что «модели представляют собой лаборатории для экономистов-теоретиков» и, развивая эту мысль далее, отмечает, что «подобно естествоиспытателям, изучающим искусственные миры в экспериментальных ситуациях, созданных в лабораториях, экономисты-теоретики создают и изучают искусственные миры своих моделей (Мяки 2008). Подобно тому как физический эксперимент основан на изолировании фрагментов мира для изучения некоторых его свойств с помощью методов каузального контроля, моделирование вводит определенные предпосылки, с помощью которых исследователь может эффективно контролировать «среду»... Такие идеализирующие предпосылки ложны в принципе, однако необходимы для осуществления требуемой изоляции. Нереалистичные предпосылки — незаменимый инструмент теоретика-экспериментатора» (Mäki 2005. Pp. 308–309; см. также: (Мяки 2008))<sup>14</sup>.

Дальнейшим продолжением этой линии стала методологическая концепция т.н. «плюрализма моделей», по сути являющаяся логическим продолжением вышеозначенных идей «воображаемых миров» и «моделей-экспериментов» и тесно связанная с идеей «горизонтального прогресса» моделирова-

- 
14. Историк и методолог М. Морган занимает до некоторой степени схожую, однако гораздо более острожную и взвешенную позицию, относясь к материальным экспериментам в экономике, но не в физике. По ее мнению, «эксперименты и модели имеют много общего в том, как они используются в экономике. Они оба имеют особенности, которые позволяют им действовать как эпистемические медиаторы: инструменты исследования, которые помогают понять и мир, и теории (Morgan, 2005. P. 318). Однако эксперименты как средство исследования экономической реальности имеют большую эпистемическую силу, нежели модели. «Этот результат основывается на принципиальном различии: в то время как эксперименты являются версиями реального мира, пойманного в искусственных лабораторных условиях, модели — искусственные миры, построенные с целью репрезентации реального мира» (Ibid. P. 317).

ния Родрика. Это активно развиваемая и широко дискутируемая в экономической методологии тема обозначалась после финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. В рамках концепта «плюрализма моделей» также принимается тезис о *нереалистичности*, или даже *ложности*, посылок модели, ее репрезентативные функции при этом частично могут сохраняться — но относят нас к «*логически возможному миру*». В разных вариациях модели в таком контексте определяются то как «правдоподобные/ возможные / суррогатные миры» (Sugden 2009; Mäki 2009; Toon 2010), то как «логические протезы» (Donato-Rodríguez, Zamora-Bonilla 2009), то как «анalogии» (Gilboa et al. 2014). Несмотря на проблематичность или сомнительность предпосылок, экономисты извлекают из этого большую пользу, используя модели как «кейсы» или «лаборатории», с которыми сравнивается и в которых испытывается та или иная проблема.

Данные представления развиваются в контексте набирающего популярность в философии науки представления о моделях как о «фикциях» (fiction) (Fine 1993), которое подразумевает, что модель создается не для того чтобы «репрезентировать или описать мир, в котором мы живем», а скорее чтобы «вообразить или задать некий мир, который описывается в форме модели (в уравнениях, диаграммах, или даже создается машиной)» (Morgan 2014. P. 232). Вместе с тем, на передний план выходит польза моделей: несмотря на то что это искусственные конструкции, их проективная способность делает их эвристически полезными. Второй важный элемент концепта «плюрализма моделей», тесно связанный с их характером искусственных конструкций — это то, что они работают как примеры или аналогии.

В работе Гилбоа и соавторов отмечается, что следует различать два типа рассуждений, во-первых, основанные на правилах, соблюдение которых дает правильные, корректные результаты, и основанные на примерах. В рамках первых четко определяется процедура, устанавливающая границы, соблюдение которых обеспечивает правильный результат,

однако такие рассуждения стремятся к универсальности и общезначимости. В свою очередь, рассуждения, основанные на примерах, не имеют таких ограничений, поскольку ограничителем тут выступает сам факт локальности, частного характера любого примера (аналогии) (Gilboa et al. 2014). Иными словами, такие рассуждения это кейсы и модели, понимаемые как аналогии, это тоже *частные случаи*, кейсы, пригодные лишь для конкретной ситуации. Надежность выводов из модели в таком случае может обеспечиваться лишь *обоснованием схожести* модели (примера) и тем, к чему она прилагается (конкретная задача) (Gilboa et al. 2014).

Частный характер модели, как полагают сторонники «плюрализма моделей», позволяет избежать обвинений в ложности ее посылок, частная модель в отличие от теории (являющейся типичным примером рассуждения, основанного на правилах) по определению не претендует на общезначимость и универсальность, ее положения верны лишь для конкретного случая. Однако, как убедительно показывает И. Тома, если модель — это только лишь аналогия или мысленный эксперимент, чьи послылки описывают / применимы только к конкретному случаю, все равно она упирается в наши возможности воображения и представления. Например, когда автор модели просит нас представить, что мы являемся абсолютно рациональными агентами с общим знанием ситуации и рациональности других (или что вообще есть такие агенты) и как бы мы поступили. Между тем, мы в принципе не можем знать, каково это — быть таковым агентом, как и очевидно не имеем бесконечного числа ментальных состояний и, следовательно, нам затруднительно представить, как бы мог действовать такой агент (Thoma 2015. P. 9). Тогда какие факты соответствуют модели с абсолютно рациональными агентами?

Однако на этом проблемы не исчерпываются. Выше мы отметили, что для сторонников «плюрализма моделей», представляющих модели как «воображаемые миры», или мысленные эксперименты, надежность выводов модели обеспечивается ее схожестью (как примера, аналогии) с тем,

к чему она прилагается. Поэтому *отсутствие в моделях эксплицитного указания на «функцию схожести»* вводит в заблуждение и заставляет воспринимать их как принадлежащие к общим законоподобным утверждениям (Gilboa et al. 2014. P. F520, см. также: (Тамбовцев 2017)). Но даже если предположить, что модели имплицитно содержат указание на «функцию схожести», возникает вопрос, *что* в модели обеспечивает эту схожесть. Очевидно, что эту функцию может выполнять только *интерпретация*, только некий *нарратив*, и именно в этом, по всей видимости, и лежит глубинная причина сравнения, или даже прямого уподобления моделей историям (басням)<sup>15</sup>. Предполагается, что в модели всегда содержится нарратив, поэтому она и может выступать конкретным примером, аналогией.

На этой интуиции основано сравнение /отождествление моделей с историями (баснями) в обеих анализируемых нами стратегиях — и в методологической, и в риторической. Однако в последней, выдвигающей на передний план именно нарративный компонент, этот момент проявляется ярче и нагляднее. Обратимся к примерам. Данная риторическая стратегия имеет давнюю историю, при этом проводящие подобные сравнения исследователи преследуют разные цели: показать, что модели, несмотря на свой формальный характер, также являются повествованиями или предполагают нарративный компонент (должны дополняться историями или истории являются интегральной частью моделей) (Gibbard, Varian 1978; Hartmann 1999; Morgan 2001; Grune-Yanoff, Schweinzer 2008; Godfrey-Smith 2009; Alexandrova 2009); обосновать структурное, функциональное или семантическое сходство (Cartwright 2008; Frigg 2010); продемонстрировать, что модели риторически нагружены (McCloskey 1990); что модели не имеют отношения к реальному миру и их функция в культуре иная (Рубинштейн 2008).

---

15. К схожим выводам приходит В.А. Тамбовцев (Тамбовцев 2017).

Начнем с философа науки, известного своими трудами по исследованию физических наук, Н. Картрайт, которая занимает промежуточную позицию между двумя анализируемыми нами стратегиями и использует характеристику «басня» не только в отношении экономических, но и физических моделей (Cartwright 2008). При этом она, подчеркивая нарративный компонент экономических моделей, особо отмечает, что, будучи более похожими на притчи, они требуют немалых усилий для объяснения результатов и выводов относительно государственной политики, тогда как в баснях мораль всегда очевидна. Такая более осторожная позиция Картрайт связана с признанием ее локальности моделей — каждая модель верна лишь в определённом контексте и выводы из неё применимы лишь в определённых обстоятельствах. Между тем, для самих экономистов дело обстоит иначе, они не только более уверенно проводят параллель между моделью и басней как нарративной структурой, но и видят их сходство, прежде всего именно в очевидно содержащейся в модели морали (уроке). Наиболее яркое и предельное в своей откровенности и последовательности сравнение моделей с баснями проводит известный израильский экономист А. Рубинштейн. Его высказывания были сделаны еще до кризиса и исходно были озвучены им перед Эконометрическим обществом, когда он получил пост председателя.

Позиция Рубинштейна эксплицитно антиреалистическая и антисциентистская: «Я считаю, что как экономисту-теоретику мне почти нечего сказать о реальном мире, и что лишь очень немногие модели в экономической теории могут использоваться для серьёзных консультаций... Как экономисты-теоретики мы организуем наше мышление с помощью того, что мы называем моделями. Слово “модель” звучит более научно, чем “басня” или “сказка”, однако я не вижу особой разницы между ними”... Да, я действительно полагаю, что мы просто баснописцы, но разве это не чудесно?» (Рубинштейн 2008. С. 79–80, см. также: (Ефимов 2016)). Ожидаемо, что антиреалистическая и антисциентистская

позиция у Рубинштейна подразумевает и отказ от теории, «неужели для того, чтобы отыскивать эмпирические взаимосвязи или тенденции, нам действительно так уж нужна экономическая теория? Не лучше ли было бы двигаться в противоположном направлении, наблюдая реальный мир, пользуясь эмпирическими и экспериментальными данными...» (Там же. С. 71).

Между тем, в контексте таких утверждений Рубинштейн ставит вопрос о том, в чем тогда ценность моделей, если она не определяется их реалистичностью и если они ничем не отличаются от басен, и называет в качестве таковой способность *оказывать воздействие на реальность* через культуру соответствующей (экономической) деятельности: «Мы осуществляем мыслительные операции, которые лишь приблизительно связаны с реальностью, и из которых удалено большинство характеристик, относящихся к реальной жизни. Однако в хорошей модели, как и в хорошей басне, остается что-то *значительное*» (Там же. С. 79). Иначе говоря, содержащийся в басне нарратив, та самая мораль басни (ибо это и есть самое значительное в ней) выдвигаются на первый план в качестве ключевого элемента модели.

Антисциентистская позиция Рубинштейна более радикальна, чем выше рассмотренная позиция Лимера, так как намекает на индоктринирующий характер экономического знания, что сказывается, в частности, в обучении студентов (Там же. С. 79). Однако в выделении в моделях нарративного компонента как одного из ключевых и трактовке его функции в знании Лимер и Рубинштейн совпадают. Так, Лимер говорит об экономических моделях то как о «фикциях», то как об «историях», отмечая, что в качестве историй модели являются средствами понимания и по сути содержат некую мораль, ибо нарративы помогают людям запоминать экономические уроки. Поэтому необходимым условием хорошего экономического моделирования является то, что создаваемая модель рассказывает «*вдохновляющие истории*» (Leamer 2012). При этом Лимер подчеркивает, что генеративная функция моде-

лей проявляется в создании причинно-следственных историй о реальной экономике, настаивая помимо прочего на том, что в данных мы имеем лишь корреляции, тогда как причинность всегда в голове интерпретатора. Акт «интерпретации», по-видимому, состоит в том, чтобы выдвинуть на первый план те части причинной структуры, которые имеют значение. Выделение таких связей определяет потенциальные точки вмешательства в экономическую политику (Leamer 2008).

Итак, задача экономического моделирования предстает как выделение каузальных связей (которые существуют лишь в голове интерпретатора) с целью рассказывания «вдохновляющих историй», поскольку нарративные структуры позволяют усваивать мораль этих историй. Очень похожей позиции придерживается и Родрик, также считая модели баснями, которые содержат ясно просматривающуюся мораль («выводы для государственной политики»), «свободные рынки эффективны, оппортунистическое поведение в стратегическом взаимодействии может ухудшать положение всех его участников, стимулы имеют значение и так далее» (Rodrick 2015a. P. 19). При этом он не считает, что сравнение с баснями «принижает научный статус» моделей. По его мнению, часть привлекательности моделей как раз и состоит в том, что они «работают как басни», поскольку уже с момента обучения будущий экономист *усваивает соответствующее мышление* («остается с постоянным уважением к власти рынков»): «даже если конкретные детали моделей забыты, они остаются *шаблонами для понимания и интерпретации* мира» (Там же. P. 20).

Подведем некоторые итоги. Какие эпистемологические, онтологические и, наконец, инситуциональные следствия вытекают из нарративного сдвига, основанного на сравнении /отождествлении моделей с историями и баснями?

Во-первых, в эпистемологическом плане нарративный сдвиг порождает весьма двойственную ситуацию. В естественных науках, и особенно в физике, которая долгое время выступала и продолжает выступать (как это видно на примере «революции достоверности») парадигмальной



наукой для экономического знания, существует сильная традиция, которая прямо отрицает, что ученые-естественники должны рассказывать истории. В частности, философ науки А. Розенберг (Rosenberg 2011) проводит жесткое разграничение между наукой и популярной нехудожественной литературой именно на основании, что наука не сочиняет и не рассказывает историй, а моделирует функциональные отношения, обладающие высокой степенью универсальности и общезначимости (сохраняются во времени и на значительном числе конкретных случаев). Физика по этому критерию представляет из себя образцовую науку.

Кроме того, те, кто признает важность историй (нарративных структур) и считает их неотъемлемой частью моделей, игнорируют тот факт, что между моделью и историей существуют весьма важные онтологические различия, кроме того, они предполагают различные эпистемические практики. Так, результаты модели получаются в результате формальных и калькуляционных операций, их верность обеспечивается следованием четким и обязательным правилам исследовательских процедур. В случае с историями и сказками мы имеем дело с совершенно иным феноменом, чье функционирование целиком основано на воображении, причем работа воображения обязательно задействует визуализацию, мы должны представить то, что описывает история.

Во-вторых, как несложно заметить, сравнение / отождествление моделей с баснями в обоих рассмотренных нами вариантах, но особенно в методологическом, нацелено на обсуждение исключительно эпистемологического статуса моделей и игнорирует или отказывается от обсуждения онтологических проблем (и свойств) моделей, ибо, как верно подмечает Р. Коуз, «реализм предпосылок заставляет нас исследовать *тот мир, который существует*, а не воображаемый» (Coase 1994. P. 18). Фактически, представление о моделях как о «баснях» и «сказках» означает не только отказ от реалистической установки (модель репрезентирует некий фрагмент реальности), но и от претензии на *объективность*

в онтологическом смысле, как соответствие объекту (Daston, Galison 2010).

Вместе с тем, при этом происходит любопытное эпистемологическое смещение, выводящее на передний план генеративную функцию моделей: они не средство репрезентации, а инструмент порождения знания, кроме прочего обладающий способностью к проектированию *любой возможной* реальности (аналогично нарративу, особенно сказкам и басням). В таком контексте в перспективе открывается возможность перейти от обсуждения реалистичности экономической моделей (что подразумевает наличие у них репрезентативной функции) к перформативности экономического знания: модели не описывают / изучают, а порождают / влияют на экономическую реальность. Отметим, что само сравнение моделей с баснями в рамках риторической стратегии имплицитно вводит перформативный элемент, ибо смысл моделей в закреплении в социокультурном пространстве определенного «рассказа» и содержащихся в них представлений о реальности, а следовательно, и конструирование символической реальности в соответствии с этими представлениями (Maesse 2013). Вместе с тем, подобного рода эпистемологическая установка легитимирует отказ от содержательных онтологий в пользу инструментально-технического крена в развитии знания (т.е. инструментов – формальных методов и техник – универсально применимых для любой области знания) (см. также (Кошовец 2019а, b)).

В-третьих, несмотря на, казалось бы, антициентистскую и антиреалистическую позицию, риторическая стратегия, сравнивающая модели с историями, призвана защитить моделирование как основную практику экономистов и поддержать представление о моделях как о сверхценном инструменте не только в техническом плане, но и подчеркнуть их генеративную, конструктивную и в конечном счете перформативную роль, коль скоро они обеспечивают усвоение определенных обобщённых шаблонов, типических представлений. Вместе с тем, возникает вопрос, откуда в формальных моделях

берется содержание, ведь в конечном счете даже сравнение с баснями, выделяющее нарративный аспект, неявно намекает, что содержание есть, и даже устойчиво воспроизводится. Но откуда оно там появляется?

Стандартный ответ из теории не проходит, поскольку, как мы видели, и в рамках идеи «горизонтального прогресса» Родрика, и в рамках концепта плюрализма моделей, которые основываются на предпосылке о частном характере всех моделей и о том, что нет, и не может быть такой вещи, как «истинная модель», и, наконец, в рамках риторики о том, что экономическое знание является не наукой, а ремеслом, роль теории принципиально отрицается. Общим утверждением является, что модель *не является элементом теории*, что хорошо соответствует определению экономической науки, редуцируемой к моделированию как «ящика с инструментами», и, соответственно, модели исключительно как инструмента (в инженерно-техническом смысле). При этом модель, с одной стороны, четко *отделяется от теорий* (не нацелена на понимание, как устроен определенный фрагмент реальности, не содержит гипотез относительно него и т.п.), а, с другой стороны, *отождествляется с теориями*.

Для большинства современных экономистов теория это просто расширенный набор аксиом, безотносительно того способны ли они вообще моделировать какие-либо реальные экономические ситуации (как мы видели из анализа текущих практик производства экономического знания в параграфе 2). Родрик отмечает, что «у теории имеются амбиции», так как это «собрание идей и гипотез, выдвинутых с целью объяснения определенных фактов и явлений» (Rodrick 2015a. P. 113). Вместе с тем, по его мнению, имеющиеся в экономической науке теории либо настолько общи, что «имеют минимальное отношение к реальности», либо настолько специфичны, что описывают «очень маленький кусочек реальности», по сути же все теории в экономике — «частные коллекции моделей, наборы инструментов, а не универсальные объяснительные схемы для явлений, которые изучаются с их помощью» (Там же. P. 144).

В научном знании за интерпретацию фактов и результатов, получаемых в ходе исследования той или иной предметной реальности, отвечает теория, в рамках которой содержатся концепции, гипотезы, а также онтология, определенное видение и понимание некоей сферы, в данном случае «экономического» — они составляют аксиоматическое ядро конкретной науки. Здесь мы еще раз возвращаемся к вопросу, если, с одной стороны, теории не важны, и модели, по сути, и есть частные теоретические кейсы, а с другой стороны, модели — это сугубо инструменты, которые не содержат гипотез, то на основе чего интерпретируются модели, где находится контекст их обоснования. Простой ответ таков — если интерпретация и/ или нарративная структура модели (история, которая является интегральной частью формальной модели) не производится в рамках научных практик определенной дисциплины, значит, они находятся *за пределами научной сферы*, там, где экономические знания функционируют и воспроизводятся вне связи с научным производством.

Выше мы уже отмечали, что схожесть формальной модели и анализируемой с ее помощью ситуации, являющейся ключевой интуицией в рамках сравнения / отождествления моделей с историями и баснями, может обеспечить только интерпретация (т. е. нарративный компонент). Р. Сагден (Sugden 2009. P. 4) справедливо отмечает, что в экономических моделях часто отсутствуют конкретные указания относительно того, *где они применимы*, таким образом, индуктивный вывод из моделей зависит от *субъективных* суждений о предполагаемом сходстве модели с чем-то в реальности, при этом он не может быть сформулирован на математическом или логическом языке. Действительно, как бы экономическое знание ни сводилось к инженерно-техническому инструменту, чтобы обладать экономическим смыслом, модель должна иметь содержательные предпосылки, привязывающие ее именно к экономической реальности (не просто кривая, а кривая спроса), и интерпретацию, позволяющую придать результатам соответствующую практическую значимость.

Это подразумевает *языковые средства*, которые не являются нейтральными (объективными) и существуют в рамках культуры. При этом языковые средства всегда ценностно нагружены и детерминированы социальными и институциональными условиями, в рамках которых воспроизводятся. Именно в этом смысле модели также представляют собой социальные, лингвистические и риторические феномены, они могут и должны рассматриваться как «системы убеждений, в которые люди верят, и на основе которых они действуют» (Samuels 1991).

## Глава II

## МАТЕМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: ОТ СЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ СТАНДАРТУ К ДОМИНИРОВАНИЮ ФОРМАЛЬНЫХ ОНТОЛОГИЙ

### 1. Естественнонаучный стандарт знания и дисциплинарный статус экономической науки

Одним из ключевых элементов «дискурса кризиса» экономической науки является тезис о засилье формализма, причина которого в том, что в начале XX в. дисциплина взяла четкий курс на математизацию, с целью соответствовать естественнонаучным стандартам и в стремлении превратиться в подобие естественной науки, игнорируя свою сущность общественной дисциплины<sup>16</sup>. Между тем, в рамках «дискурса прогресса» экономической науки ее высокий уровень формализации и близкие к естественнонаучным стандарты производства знания, как мы отмечали в предыдущей главе, предмет гордости, это сообщает дисциплине особый научный статус и позволяет занимать выделенное место в дисциплинарной структуре общественных наук. Так, широко культивируемый в рамках «дискурса прогресса» тезис о том, что экономика — это «физика общества» является ключевым элементом широко распространённого мифа «о превосходстве экономистов» и подталкивает экономистов почти

---

16. О соотношении математики и экономики в понимании хозяйственной реальности с позиций философии см. (Гутов, Рогожникова 2018).

что к навязчивому сравнению своей дисциплины с физикой (Bergin 2021, см. также: (Арсланов 2021)). Эти заявления подкрепляются нарративами о естественной предрасположенности экономики к математике, так как одними из ее центральных категорий и, соответственно, объектов являются «цены» и «деньги» (счетные величины).

В свою очередь, история экономических учений выстроена во многом таким образом, чтобы показать, что математика была в той или иной мере в экономическом анализе всегда, а потому ее накопление, выход на первый план и, в конечном счете, превращение дисциплины в математическую — это естественный эволюционный процесс. Кроме того, неоклассический экономический дискурс в целом склонен укоренять социальные отношения в неких чисто природных детерминантах, иначе говоря, мыслить некоторые свои ключевые категории, такие как, например, «рынок» и «рациональность» как естественные, а не социокультурные феномены. (Mirovski 1991). Т. Бергин (Bergin 2021) справедливо фиксирует ключевое противоречие, которое здесь возникает — если точность экономических утверждений сопоставима с законами физики, то оправдательный дискурс несовершенства конкретных экономических моделей или отдельных элементов теории неубедителен и подрывает это утверждение (см. также: (Арсланов 2021)). Тогда чем все же является экономическая теория — наукой или доктриной (авторитетным дискурсом)?

Тема особых отношений экономической науки и математики была подхвачена историками, философией и эпистемологией науки, экономической социологией, в результате чего можно говорить о формировании отдельного дискурса математизации экономического знания, в рамках которого обсуждаются самые различные причины и последствия формалистского развития дисциплины: исторические, дисциплинарные и институциональные. Вместе с тем, представляется, что с методологической точки зрения эта тема недостаточно исследована, в частности, нуждается в дополнительном изуче-

нии и реконструкции с точки зрения *влияния такой траектории развития на онтологию* экономической науки.

Мы выделяем несколько реперных точек в процессе математизации дисциплины в контексте ее внутреннего, общенаучного и социокультурного развития с целью понять, как стало возможным превращение экономической науки в «ящик с инструментами», игнорирующий проблему нереалистичности моделей. Представленный в этой главе анализ не является исчерпывающим, не претендует на роль исторической реконструкции и в целом заслуживает отдельной монографии, наша цель подступится к этой теме в онтологической перспективе. Сначала мы рассмотрим формирование дисциплинарной парадигмы и эталона научности в экономической науке в контексте ее трансформация из *moral science* в *science*, а затем последовательно затронем ключевые вехи на пути математизации дисциплины и их влияния на онтологию.

Ключевую роль в утверждении дисциплинарной структуры знания как организационной формы науки сыграли процессы институализации научных занятий – а именно превращение научной деятельности в профессию.

Как показывают многочисленные исследования, превращение исследований природы и человека в профессию не было результатом спонтанного внутреннего развития самой науки, но происходило в результате становления новых организационных форм осуществления научной деятельности. И хотя первые академии возникли в XVI в., однако настоящего расцвета академическое движение достигает в век Просвещения, что обусловлено социальным признанием научных занятий и готовностью государства их финансировать. По всей Европе возникают централизованные общегосударственные учреждения – универсальные академии. Структура каждой из них определялась писаным уставом, в основе которого, как правило, лежал статут Парижской академии наук, которая послужила моделью для большинства академий, или же статут Лондонского королевского общества (Ферроне, Рош 2003. С. 266–274).



Стремление объединить под эгидой одного и того же учреждения естественные и гуманитарные исследования сыграло важную роль в формировании структуры академий и было специфическим проявлением Просвещения, для которого познание человека было даже еще более приоритетной целью, чем познание природы (Heilbron, Magnusson, Wittrock 1998). С конца XVII в. утвердилось внутреннее членение академий на «классы» или секции: это позволяло лучше координировать научные усилия и сотрудничество между учеными. Однако вопрос о том, какой способ организации академии следует признать наилучшим, оставался открытым на протяжении всего XVIII в., о чем свидетельствовали многочисленные попытки реформ, ставшие особенно активными около 1800 г. Приоритетными задачами академической деятельности становится определение круга исследований, обычно сгруппированных в «академические классы», и принципов организации исследований, суть которых заключалась в *поощрении применения математического метода* в естественных науках и собирания и наблюдения редкостей. Большинство исследовательских программ академий строилось в соответствии с *общепринятой в те времена концепцией естественных наук*. Так, к примеру, в Парижской академии наук было две секции точных математических наук и физики, при этом класс физики объединял в себе физику, математику, геометрию, химию, ботанику, астрономию и естественную историю (Smith 1997).

Следует отметить, что при создании в 1666 г. Парижской академии наук (с 1699 г. — Королевская академия наук) предлагалось два проекта ее устройства. Однако был выбран тот вариант, который предполагал избегать изучения проблем метафизики, морали, истории и политики. Так впервые было институционально противопоставлено математическое опытное естествознание и гуманитарные науки (Hahn 1971). Неудивительно, что экономика, зарождавшаяся как часть моральной философии, долго не находила себе места в структуре академий, тогда как другой ее вариант, политическая арифметика, мог вполне вписаться в академическую организацию наук (Кошовец 2010).

В структуре Национального института наук и искусств (будущей Французской академии наук), основанного в 1795 г. после роспуска всех предшествующих академий, было три класса. В первом – самом приоритетном и многочисленном классе «математики и наук о природе» было 10 секций (4 – в подклассе математических наук и 6 – в подклассе «физических» наук). В ряду химии, минералогии, анатомии, ботаники и медицины появилась секция «сельскохозяйственная экономика» (*rural economy and veterinary medicine*), проходившая вместе с ними по подклассу «физических» наук. Второй класс моральных и политических наук – первая попытка институализации общественных наук – через 8 лет после учреждения института был упразднен по решению Наполеона как бесполезный и опасный. В этом классе были, в частности, организованы секция этики (включавшей логику, метафизику и позднее – науку о душе) и секция наук об управлении (включавшая публичное право, право наций, политическую экономию и политическую арифметику). Интересно, что 36 членов этого класса подразделялись на три группы: «физиков» (апологетов экспериментального метода) и философов, которых называли «идеологами» (занятых проблемами установления общественной гармонии), метафизиков-монистов и либеральных политиков. Первая группа разрабатывала проект построения общественных наук *по модели математизированного естествознания* (Staum, 1996. Ch. 34)<sup>17</sup>.

Эта тенденция была заложена еще Н. де Кондорсе, когда он был главным научным советником при дворе, а многие другие натурфилософы участвовали в административных реформах и планах модернизации французского государства

- 
17. Целью института не было проведение исследований, его задача была в том, чтобы их регистрировать и устанавливать эталон их проведения. Необходимо подчеркнуть, что в социальном плане сама форма организации науки в виде дисциплинарного членения занятий наукой призвана реализовать две вещи. Первое – формирование образца проведения и стандарта оценки тех или иных конкретных научных занятий и второе – максимизация их полезности, практической пользы за счет разделения труда. Нормы носят общеобязательный характер и определяются исходя из максимальной пользы, которую может принести тот или иной научный труд.

(Rusnock 1999; Brian 1998). Кондорсе настаивал, что моральные (т. е. общественные) науки должны «следовать тому же методу, что и естественные науки; они должны обрести такой же точный и ясный язык и достичь такого же уровня достоверности». Между тем, данное требование исходило не из положения естественных наук в тогдашней научной иерархии, а из необходимости, по мнению Кондорсе, привести научные методы в анализ государственных вопросов и адаптировать их для этих целей. Исчисление вероятности обеспечивало средства для достижения этой цели, и поэтому он стал пионером в использовании математических методов для анализа процедур голосования и судебных решений. В одном из своих последних программных эссе о применении вычислений в моральных и политических науках в 1793 г. он призвал к созданию новой отрасли науки, «социальной математики». П.-С. Лаплас, близкий коллега и соперник Кондорсе в Академии наук, возобновил эту работу в своем классическом «Аналитическом трактате вероятностей» (1812). Некоторые члены школы Лапласа продолжили работу над проектом, но их методы работы вскоре потеряли свою актуальность. Прямым и более успешным наследником проекта социальной математики стал математик и родоначальник научной статистики Л.А. Кетле.

Ключевую роль в закреплении связки «наука — польза для государства — норма (эталон) — точность — математика» сыграло становление профессиональной системы образования во Франции эпохи Просвещения и наполеоновских войн. В главном учебном заведении того времени — Политехнической школе преподавалось то, что мы называем «фундаментальным знанием», так происходило, поскольку именно оно признавалось полезным, способным служить для развития военного дела, экономики, производства. Однако ключевой задачей школы было не просто преподавание фундаментального знания, а превращение научной теории в учебный материал, т.е. в дисциплинарное знание. Именно в этом контексте в стенах школы происходило превращение физики в точную математическую науку, теории которой

формулируются на математическом языке и с помощью математического инструментария (Визгин 1995)<sup>18</sup>. Введение научного образования и появление стандартных учебников и учебных программ способствует формированию основоположений каждой из наук и возникновению единомыслия по основным вопросам и подходам. Признание оснований того или иного конкретного научного знания начинает выступать мощной скрепой, способствующей объединению членов научного сообщества и демаркации его от других (Сокулер 2001. С. 122–144). Появление профессиональных стандартов способствовало формированию нормальной науки — т.е. созданию парадигмального знания в каждой из научных дисциплин (в особенности, в естественнонаучных и инженерно-технических дисциплинах). Парадигма — образцовый и уже признанный пример для организации новых исследований, в качестве нормы она также способствует самоидентификации членов того или иного научного сообщества (Кун 1975).

Обратимся в этом контексте к становлению парадигмы в экономической науке — здесь мы не будем рассматривать все его этапы, это тема отдельного исследования (и в данном случае не входит в наши задачи). Здесь мы ограничимся лишь изложением нескольких ключевых и самых важных в контексте данной работы аспектов создания эталона знания в экономике. Принципиальное значение для формирования дисциплинарного знания в экономике имела маржиналистская революция 1870-х, когда У.С. Джевонс, Л. Вальрас и К. Менгер издали книги, отклонявшиеся от классической традиции. Все трое были университетскими профессорами, а не частными учеными, как А. Смит, Д. Рикардо и Дж.С. Милль; их работы имели прежде всего образовательные и академические цели. Другая их важная задача — за счет использования математики не просто как подсобного инструмента, а как средства репрезентации знания способствовать формированию нового

---

18. Следует отметить, что большинство ключевых разделов физики было математизировано лишь в начале XIX в. усилиями преподавателей и выпускников Политехнической школы, участвовавшими в разработке профессиональных стандартов.

эталона экономического исследования, а следовательно, открывать возможности для создания профессиональных стандартов. Как показывает краткий анализ развития дисциплинарного эталона экономического знания, к моменту маржиналистской революции оно подошло в следующей форме: объект исследования продолжал определяться натуралистическо-субстанциальным подходом. Таким образом, основным элементом выделения дисциплины было онтологическое обоснование. Однако это мешало ее институционализации, ибо исторически успехи институционализации дисциплин, создания кафедр в университете и поддержка или интерес со стороны государства были связаны с математическим методом и математизацией той или иной дисциплины.

Главной вехой в формировании дисциплинарного экономического знания можно считать 1890 г. — год публикации в Англии труда математика по образованию А. Маршалла с характерным названием «Принципы экономики» (*Principles of Economics*), которое в контексте формирования эталона исследования и обучения в конкретной дисциплине можно перевести и как «правила», а в контексте идеалов естествознания и как «законы» экономики. По сути, эта книга являлась не только наиболее полным сводом существующей на тот момент теории, но и учебником — ее долгое написание сопровождалось преподавательской деятельностью на протяжении 13 лет, в том числе чтением лекций в Кембридже. Ядро книги содержит образцовое изложение маржиналистской микроэкономики, а знаменитые диаграммы А. Маршалла теперь можно найти в любом учебнике по введению в микроэкономику (Maloney 1985).

Дисциплинарное значение труда А. Маршалла лишь подчеркивается тем фактом, что именно в этой книге впервые происходит аргументированная замена термина «политическая экономия» на термин *economics*, хотя само это слово употреблялось и ранее. Мы обнаружим в этой работе и ключевые элементы эталона профессионального научного знания — *практическую направленность и ориентацию на пре-*

*вращение дисциплины в строгую науку*, т.е. науку, чьи теории формулируются на математическом языке. Следует отметить, что для А. Маршалла математика не заслоняла объект науки — экономическую реальность. И, тем не менее, математический аппарат был для него *средством репрезентации объекта*, что предполагает умение видеть изучаемые вещи в их количественном соотношении, как исчисляемые и измеряемые (по его словам, он научился этому в ходе своей поездки в США в 1875 г.). Этому также способствовало накопление к тому времени статистических данных и развитие методов их сбора и анализа. Равным образом, математика служила А. Маршаллу преимущественным языком описания предметной области, — он излагал свой метод так: «используй математику как стенографию (а не средство анализа), пользуйся ей до конца исследования, а потом переведи на английский» (Pigou 1953. P. 427).

1890 г. можно считать эпохальным и потому, что это год торжественного открытия Британской экономической ассоциации (БЭА), позже переименованной в Королевское экономическое общество, при Лондонском университетском колледже. Ее рупором стал *Economic Journal*, очень быстро превратившийся в ведущий британский публичный орган профессионального экономического мнения. В своем исследовании становления этой организации А.У. Коэтс отмечает, что инициаторы создания БЭА активно консультировались с А. Маршаллом и видели его главным редактором журнала, который будет выпускать общество (Coats 1993. Pp. 110–121, 169–183)<sup>19</sup>. Поскольку задачей БЭА было объединение всех

---

19. Следует также отметить, что уже существовавшие к 1890 г. учреждения не выполняли функций профессиональной институализации экономистов: так, Лондонский клуб политической экономии был частным элитарным клубом, сектор F (экономики и статистики) Британской ассоциации по продвижению наук — аморфным заведением, собиравшим заседания раз в год и преимущественно для широкой публики. Единственным учреждением, частично выполнявшим эти функции, было Лондонское (с 1887 г. Королевское) статистическое общество (КСО), чьими членами были многие известные экономисты того времени. Поэтому один из основателей БЭА Х.С. Фохсвелл при поддержке А. Маршалла первоначально разработывал проект создания на основе КСО Общества экономических наук и статистики. Американская экономическая ассоциация была создана раньше, в 1885 г., и во многом вдохновляла создателей ее английского аналога.

профессионально интересующихся экономическими проблемами под руководством ведущих экономистов того времени (а Маршалл был одним из них), апелляция к его персоне представляется неслучайной. Профессиональная научная организация может быть создана только при условии консолидации большинства ее членов вокруг определенной дисциплинарной парадигмы (подразумевающей определенное видение предмета и подход к исследованию), а А. Маршалл фактически воплощал ее. Закономерно в этом контексте и то, что именно этому выдающемуся экономисту удалось в 1903 г. установить в Кэмбридже трайпос (публичный экзамен на степень бакалавра с отличием) по экономике и, таким образом, создать факультет экономики и политики. Это институализация экономики в качестве самостоятельной дисциплины со своим стандартом преподавания и оценки учащихся открыла возможности для широкой подготовки специалистов и последующей академической экспансии есономіс как дисциплины в системе образования. Об этом косвенно свидетельствуют данные о динамике новых академических назначений в британских университетах в первой половине XX в. (1891–1969) (см. табл.).

Таблица

Академ. назначения	1891	1915	1925	1939	1950	1960	1969
Всего	20	85	180	286	446	679	1802

Источник: Coats 1993. Рр. 183–184.

Еще один важный аспект, который следует отметить — ядро БЭА составлял круг экономистов, в котором *социальные вопросы принципиально не обсуждались и работа была сосредоточена на научных абстракциях* и культивировании нового метода экономического анализа (Coats 1993. Р. 171), что по сути означало консолидацию большинства ученых вокруг эталона (парадигмы).

## 2. Онтологические и эпистемологические аспекты установления естественнонаучного стандарта в экономическом знании

Теперь обратимся от институциональных к онтологическим и эпистемологическим аспектам установления естественнонаучного стандарта в экономике как научной дисциплины. Следует отметить, что в своем становлении и развитии политическая экономия не раз предпринимала попытки (как декларативные, так и дисциплинарные) соответствовать стандартам естествознания, при этом непререкаемым образцом выступала физика И. Ньютона. Однако долгое время такое стремление определялось преимущественно *онтологическими установками дисциплины*: объект политической экономии имел материальную форму (земля, богатство, ресурсы государства, средства существования), т.е. был тесно связан с естественным порядком вещей, в рамках которого определялась идея *материального* благосостояния, которое мыслилось как в той или иной мере «получаемое от Природы» (Taylor 1929). Большинство политэкономов твердо верили, что они изучают *естественные* законы, отсюда представления об экономических явлениях как о сложном механизме, особое внимание к саморегуляции («невидимая рука рынка»), балансу сил («естественное состояние», «равновесие»). Ряд исследователей также отмечают, что А. Смит позаимствовал из механики принцип причинности, предполагающий детерминированность явлений, и инкорпорировал его в экономическое знание (Henderson, Samuels 2004). Кроме того, «естественный» также означало «эмпирически наблюдаемый», поэтому даже в XIX в. большинство политэкономов продолжали осознавать себя в той или иной степени «социальными физиками» и придерживались эмпиризма и эпистемологического реализма в вопросе о доступе к изучаемой ими действительности<sup>20</sup>.

---

20. Достаточно посмотреть, к примеру, на предисловие К. Маркса к «Капиталу» – см.: (Маркс 2001). Маркс К. Капитал. Т. 1. М.: АСТ, 2001.



Между тем, попытки перестроить дисциплину в соответствии с физикой Ньютона и естественнонаучными стандартами на основе *математического метода* были достаточно редкими, для этого нужно было полностью задать основные объекты исследования через измерения. Наиболее ярким проектом такого рода стал эмпирико-статистический проект «Политической арифметики» (1680-е годы) врача и естествоиспытателя У. Петти, для которого «наука — это *измерение*» (Петти 1940. С. 156). Позиция Петти формировалась под влиянием эмпирической программы Ф. Бэкона и ньютоновской физики, которая в то время выступала в качестве парадигмы формирования любой науки, однако эта позиция не нашла поддержки у его современников<sup>21</sup>. Во многом это объясняется тем, что данные, с которыми работал Петти, были скудными и отрывочными, как следствие, выводы на их основе — частично неубедительными.

В свою очередь, Дж.С. Милль, первым подробно описавший онтологические и эпистемологические аспекты политической экономии в своих работах 1836 г. «Об определении политической экономии и о методе исследования, соответствующем ей», а затем 1843 г. «Система логики», открыто декларирует, что метод, наиболее подходящий для политической экономии, это метод Ньютона (Hausman 1992). Этот метод ему видится так: необходимо начинать с правдоподобных аксиом и гипотез, проводить вычисления, а затем искать их подтверждение в реальном мире. Между тем, он признавал, что политическая экономия была неточной наукой, отчасти потому что она опиралась на нереалистичную картину человеческой природы (беспрепятственное стремление к богатству), а отчасти из-за относительного недостатка данных, необходимых для ее проверки (Schabas 2008).

Между тем, несмотря на то что до маржиналистской революции многие политэкономы говорили о математике,

---

21. Подробнее см.: (Schumpeter 2006). Schumpeter J.A. (2006). History of economic analysis. NY: Routledge.

использовали ее некоторым образом, заявляли о физике Ньютона как об образце для построения науки, математика не стала методом экономической науки. Этому, по-видимому, в существенной степени мешал ее дисциплинарный статус моральной науки. Зададимся вопросом, какой наукой, согласно сложившимся дисциплинарным сеткам, является экономика — гуманитарной, общественной, естественной? Что определяет эту классификацию — ее объект или используемый ею метод? Если объект, то какими средствами он фиксируется и представлен в знании, и как это может влиять на классификацию экономической дисциплины? Что изменится, если экономическая наука поменяет свою атрибуцию в сложившейся дисциплинарной структуре знания? Наконец, насколько возможное дисциплинарное отнесение экономики зависит от нашего здравого смысла, от нашей интуиции повседневности, в которой мы сталкиваемся с экономическими отношениями?

Долгое время экономика классифицировалась как гуманитарная (в англосаксонской традиции) дисциплина. Причины этого кроются в особенностях развития представлений о научном знании в XVII—XVIII вв., которые состояли в четком разведении двух предметных областей познания — математики, целиком подчиненной разуму, где возможно достоверное знание в античном смысле *episteme*, и познания реального мира, мира протяженных чувственно воспринимаемых тел, где возможно лишь вероятное, эмпирическое знание, которое обладает статусом «моральной достоверности». Иначе говоря, просто соответствует повседневной привычке и оказывается «общим местом» (*sensus communis*) — своеобразным устойчивым предрассудком, тем, что разделяется множеством людей. Математизированное естествознание XVII в. (механическая философия, в определениях Ньютона) существенно расширило область применения математики, объединив рациональную (математическую) и практическую (инженерное дело) механику с геометрией (чистой математикой) и создав удивительную смесь наблюдаемых вели-

чин и эмпирических математических отношений, которую к началу XVIII в. стали называть «Природой», ставшей предметом общей механики (Кошовец, Вархотов 2020. С. 23–24). Задача физики теперь состояла в том, чтобы «по явлениям движения «распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления», т.е., по-другому говоря, в том, чтобы *распознать в явлениях математику* (рациональную механику) и распознанные математические закономерности вписать в наблюдаемый мир (Ньютон 1989. С. 3<sup>22</sup>).

А что же с другими науками, на которые автоматизированное естествознание не распространило своего метода, и что такое «моральная достоверность»? Одним из центральных вопросов, занимавших умы ведущих деятелей Просвещения, был вопрос о том, как «критический разум» может наиболее успешно реализовать себя в совершенно неизученной области «науки о человеке». И *какие методы следовало бы применять?* Именно в эпоху Просвещения было впервые осознано, что механистическая и математическая модель Галилея и Ньютона, сводимая к триаде «*numero, pondere et mensura*» (исчисляй, взвешивай, измеряй), *имеет весьма ограниченное применение в науках о человеке*. И хотя в XVII в. эта модель служила главным критерием научной легитимности, в XVIII столетии она вызвала целый шквал критических суждений и уточнений.

Как отмечает В. Ферроне (Ферроне, Рош 2003), особенно глубокая дискуссия развернулась в кругах философов-просветителей. Д. Дидро неоднократно критиковал слабые места математической рациональности, прямо указывая, что область математики есть мир умозрительный, будучи примененной к нашей жизни, она теряет качество быть строжайшей

---

22. Отметим, что такого рода натурализация математики («распознавание» математических отношений непосредственно в наблюдаемой действительности) ко времени Ньютона получила широкое распространение и имела долгую историю, восходя к трансформации статуса математики в позднем Средневековье, когда развитие новых социальных практик и институтов, в частности бухгалтерии и банковского дела, привело к обнаружению математического содержания непосредственно в этих практиках и трактовке математики как эмпирической науки.

истиной. В энциклопедической статье «Определенность» он утверждал, что существует три типа достоверности: математическая (метафизическая), физическая и *моральная достоверность, которая и должна стать оценочным критерием в области наук о человеке*. В конечном счете, в этом споре ученики Дидро и Руссо проиграли наследникам Д'Аламбера и теоретика «социальной математики» Кондорсе. Лавуазье, выдающийся химик, казначей Академии с 1792 г. и главный пропагандист идеи общественной полезности науки, резко отвергал требование «свободного от контроля эксперимента» и выработки новых критериев научности, защищая тем самым математический эмпиризм Галилея и Ньютона как единственно проверенный, с большим трудом выработанный и признанный всем научным сообществом образец научности (Там же. С. 346–349)<sup>23</sup>.

Следует отметить, что новый идеал «моральной достоверности» утверждался во всех областях знания, которые имеют дело с *эмпирическими обобщениями* (van Leeuwen 1970; Shapiro 1984). Такие области знания в англоязычной традиции получили название *moral sciences*<sup>24</sup>. Исходно *moral sciences* означают не науки о морали, а сферы опытного, практического знания, в которых можно рассчитывать не на математическую, а лишь на моральную (т.е. практическую) достоверность. Тогда как за математикой и математизированным естествознанием закрепляются два четко различающихся термина – *mathematics* и *science*. Термин *moral sciences* вошел в обиход благодаря Д. Юму, а связанное с ним видение предмета и метода наук, позднее получивших назва-

---

23. Интересно отметить, что примерно тогда же, с начала 1750-х годов разгорелись споры по поводу дефиниций и сферы применения расчета вероятностей – алгоритма, который Дидро называл «физико-математической наукой жизни». Казалось, этот алгоритм был способен примирить формальную строгость естественных наук с требованием наук о человеке учитывать неповторимый характер событий. В этих спорах принимали участие Бернулли, д'Аламбер, Бюффон, Дидро и Кондорсе.

24. Это английское понятие было переведено на немецкий как «науки о духе», а с немецкого – как «гуманитарные науки» – т.е. дисциплины, изучающие человека в его духовной, нравственной и практической сферах.

ние «общественных» или же «наук о человеке», получило серьезное концептуальное развитие в работах авторов круга шотландской школы, по сути, ответственных за формирование основ политической экономии (особо следует выделить А. Смита).

Исследование морали, как ее понимал Юм (и шотландская школа в целом), представляет собой изучение «истины факта», т.е. эмпирическое знание, раскрывающее человеческую природу в форме общих и естественных для всех людей нравственных чувств (Юм 1996. Т. 1. С. 499). Соответственно, поскольку механизмы регуляции социального поведения человека (собственно «мораль») являются естественными и общими для всех людей, *moral sciences* являются эмпирическими науками, способными порождать знание достоверное, но не достигающее совершенной строгости и точности чистого умозрения: «Мы вправе ожидать успеха, только следуя экспериментальному методу и выводя общие принципы из сравнения частных случаев. Иной научный метод, при котором сначала устанавливается общий абстрактный принцип, а затем последний разветвляется на множество выводов и заключений, может быть сам по себе более совершенным, но он меньше соответствует несовершенству человеческой природы...» (Там же. Т. 2. С. 183).

В начале XVII в. еще не существовало представления об экономике как о самостоятельном объекте. В университетском курсе экономика как искусство правильного управления занимала место одного из разделов этики и поэтому проходила по классу *moral sciences*. Отделение от этики началось в XVIII в. и выразилось в поэтапной демаркации экономики от вопросов морали, так как до этого вопросы, связанные с экономической деятельностью, рассматривались в контексте этических представлений о социальном порядке (Кошовец 2010). Представляется важным обратить внимание на два очень ранних, но, по сути, очень важных шага, которые окончательно привели экономическую дисциплину к изгнанию морального образа мышления, а следовательно,

открыли ей путь к усвоению *математического метода*, т.е. к выстраиванию дисциплины по естественнонаучному стандарту не в соответствии с онтологическими предпосылками о «естественном», а в соответствии с ее эпистемологическими принципами, которые определяют саму «научность» и «точность» знания. Первым примером такого выбора является уже вышеупомянутый проект У. Петти. Его позиция, сформированная ньютоновской физикой, означала (по меньшей мере имплицитно) намерение исключить из области экономического знания любые социальные, моральные, культурные компоненты как не поддающиеся измерению. Вторым важным шагом был сделан философом-моралистом А. Смитом, который писал о добродетели, справедливости и моральных чувствах, но вместе с тем, по мнению Д. Фоули, предпринял первую попытку организовать предмет политической экономии как отдельную отрасль знаний, так переопределив ее онтологическое ядро, чтобы исключить из него моральные компоненты и сконцентрироваться на рациональных (т.е. потенциально счетных элементах).

Д. Фоули обозначил эту предметную реконфигурацию дисциплины «ошибкой Адама», она заключается в «идее, что можно отделить экономическую сферу жизни, в которой преследование собственных интересов направляется объективными законами к социально выгодному результату, от остальной социальной жизни, в которой преследование собственных интересов морально проблематично и должно быть взвешено с другими целями...» (Foley 2008. P. XIII). Таким образом, «ошибка Адама» — это представление о том, что экономика, по выражению Поланьи, может быть отделена от остальной социальной реальности, и что рыночная система, основанная на индивидуальном приобретательстве, может удовлетворить моральные потребности общества. Похоже, что эти эпистемические решения А. Смита были мотивированы неэпистемическими причинами, но, несмотря на возможные прагматические, богословские или идеологические соображения, стоящие за этими решениями, они стали эпистемическими

по своим последствиям, так или иначе, они сформировали новый образ мышления и теоретизирования для практикующих экономистов. Д. Фоули особо подчеркивает, что «это отделение экономической сферы с ее предполагаемыми специфическими принципами организации от гораздо более беспорядочных, менее определенных и морально более проблематичных вопросов политики, социальных конфликтов и ценностей является основой политической экономии и экономики как интеллектуальной дисциплины» (Ibid. P. XIII).

Усиленный использованием математики, такой дуалистический подход к социальной реальности в экономике проводит разделительную линию между «чистой» наукой и ее якобы морально нейтральными основами, с одной стороны, и реальной экономической жизнью и ее политическими, социальными и культурными целями — с другой. Действительно, широко признано, что язык математики позволяет экономистам делать конкретные, позитивные утверждения о противоречивых или спорных предметах, которые были бы невозможны без математики. Преподавание экономики, основанное на этих тщательно завуалированных предположениях и твердой вере в математическую строгость, последовательно укрепляет это мировоззрение (Ефимов 2014). Это помогает скрыть тот факт, что экономический образ мышления так же ценностно обусловлен, как и любой другой образ мышления об обществе, и на самом абстрактном уровне экономика — это не только или даже не столько дедуктивная чистая наука, сколько дискурсивные практики, основная часть которых к тому же ввиду высокой формализованности дисциплины формируется за пределами собственно научных практик, в других сферах, где производится и воспроизводится экономическое знание.

Отметим еще один важный момент. Итак, категория «моральной достоверности», игравшая очень важную роль в Новое время, была призвана служить *средством обоснования научности* того или иного фактуального свидетельства и научной приемлемости предлагаемой гипотезы (теории),

т. е. подтвердить научную обоснованность любого эмпирического обобщения или выдвигаемой гипотезы, основанной на эмпирических данных (Косарева 1989. С. 123–138). Творцы новой науки прекрасно осознавали, что *и то и другое исходило от субъекта*. Поэтому в идеале человек в роли ученого, удостоверяющий «моральную достоверность», должен быть наделен такими качествами, как благородный интеллект, систематическое размышление и самоконтроль, особенно над эмоциями, а также обладать полноценной моралью, т. е. безупречной честностью и преданностью общественному благу (van Leeuwen 1970). Таким образом, вопреки более поздним позитивистским заблуждениям моральное удостоверение научности теории означало *осознание неизбежного присутствия в знании субъективного начала*, поэтому-то оно и должно быть *максимально нравственным*. Обнаружение этого факта на рубеже XIX–XX веков в баденском неокантианстве привело не только к пониманию неизбежной ценностной нагруженности познавательного процесса в гуманитарных науках, но и к призыву М. Вебера (этическому по своему пафосу) сознательно практиковать отказ от оценочных суждений. И тут как раз стоит обратить внимание на некоторые «скрытые» проблемы формирования парадигмы и дисциплинарного знания в общественных и гуманитарных науках.

Отнюдь не случайно, что понятие «парадигма» Т. Кун разрабатывал на примере истории математического естествознания. Лишь математическая форма представления знания надежно решает проблему обоснования теории или гипотезы, которая объясняет тот или иной круг эмпирических наблюдений, фактов и т.п. Иными словами, она защищает ее от разрушительного действия критики и скепсиса. Как показывают исследования, математика, обладавшая на протяжении всей истории европейской культуры статусом достоверного знания, оказалась настоящим спасением для многих естествоиспытателей XVII в. в ситуации тотального распространения скептической аргументации в отношении возможностей разума, подозрительного отношения к гипо-



тезам (которые в то время означали «измышление») и абсолютизации опыта и чувственных данных как единственного источника знания (Косарева 1989. С. 115–153; Dear 1995) Таким образом, математика являлась средством и сообщить универсальность теории, и достичь единомыслия среди ученых по общим вопросам — и то, и другое — необходимый элемент формирования парадигмы и дисциплинарного знания.

Между тем, в силу совершенно иной, чем в естественных науках, организации познавательного опыта, специфики объекта познания, которым являются человек и его деятельность, в гуманитарном познании принципиально невозможно элиминировать самого субъекта познания (который, как и изучаемый им объект, человек). Более того, это невозможно сделать даже путем введения бессубъектного, формализованного языка описания, поскольку общественнонаучное и гуманитарное знание *содержит в качестве неотъемлемого элемента моральные, ценностные и идеологические суждения* (в явном или неявном виде). Как показали Г. Риккерт и М. Вебер, выделение объекта в науках о духе всегда *сопряжено с процедурой «отнесения к ценности»* (Риккерт 1997; 1998; Вебер 1990а, б).

Таким образом, в этих видах знания формированию проблемных, предметных и дисциплинарных связей предшествует ценностное понимание того или иного фрагмента действительности. И именно поэтому так сложно выработать парадигму в общественных и гуманитарных науках. Либо знание должно быть скреплено каноном — своеобразным пантеоном классиков для данной научной области (чему служит система преподавания дисциплины и учебники) или идеологически — и здесь единственный путь признать чью-то теорию или дискурс образцовыми, т.е. эталоном оценки других идей, концепций и прочих элементов знания. В эпоху постмодерна гуманитарные и общественные науки отказались от канона и пошли по пути плюрализма всех концепций, школ и традиций. Однако это не затронуло никоим образом экономическую науку, она осталась строго монопарадигмаль-

ной, и основную эпистемологическую роль в удержании этой монолитности играет математический метод и высокая степень формализованности знания.

Вслед за Вебером присутствие социокультурного и ценностного элемента в знании анализируется в методологии экономической науки в терминах «ценностной нагруженности» (Putnam, Walsh 2011; Gonzales 2013). Этот подход предполагает дилемму: ценностная нагруженность либо неизбежна, либо представляет опасность для научности экономического знания. Если она неизбежна, то тогда такое положение вещей должно быть принято посредством адекватного эпистемолого-методологического анализа и раскрыто в экономических исследованиях (Reiss 2014). Если же данная ситуация неприемлема, то нормативная философия науки предписывает, что такое положение должно быть устранено опять же посредством эпистемолого-методологического анализа и предотвращено в экономических исследованиях (Robbins 1932). Оба эти подхода акцентируют лишь аксиологический аспект и игнорируют семиотическое измерение. Между тем, любая научная модель — это тоже «культурно установленный внешний репрезентативный инструмент» (Knuuttila 2017. P. 1). У. Мяки (Mäki 1999) обсуждает этот аспект экономических моделей, но не определяет, относится ли ценностные элементы только к моделируемому объекту или же ко всей экономической модели как таковой. Экономисты склонны признавать первое, обсуждая культуру как набор ценностей и убеждений, влияющих на поведение экономических агентов (Guiso et al. 2006; Fernandez 2011), и игнорировать второе.

Между тем, помещая модели в социокультурный контекст, мы можем увидеть, что они не только формально-структурные компоненты научного знания, но и артефакты, проистекающие из общих символических, в том числе дискурсивных ресурсов, которые исторически конструируются, социально поддерживаются и индивидуально применяются» (Geertz 1973. Pp. 363–364). Таким образом, модели всегда демонстрируют свойства, не предусмотренные создателями

моделей, и они не относятся непосредственно к моделируемой системе, а скорее к дискурсивным и социокультурным практикам, определяющим тот или иной тип научного знания. Это позволяет поставить вопрос о том, каковы последствия принятия экономической науки подпитываемой формализмом антиреалистической позиции для общества, в котором и в отношении которого применяется экономическое знание (Murad 2011. P. 260).

### **3. Маржиналистская революция и заимствование инструментария и опорных понятий математизированной физики**

В этой и последующих параграфах мы рассмотрим основные «реперные точки», «поворотные пункты» на пути математизации и формализации экономического знания. Еще раз подчеркнем, в наши задачи не входит историческая реконструкция этих этапов развития экономической науки. Мы пытаемся зафиксировать те важные элементы этих исторических событий, которые оказали решающее воздействие на онтологию экономической науки и способствовали, во-первых, превращению дисциплины в территорию формальных онтологий, а во-вторых, определили технико-инструментальный, инженерный крен в ее развитии, который, в конечном счете, был признан самими экономистами в рамках их отказа от определения экономической науки как дисциплины изучающей экономики в пользу понимания ее как «ящика с инструментами». Внимание именно к онтологическим аспектам позволит нам понять, как и почему в рамках дисциплины формировалась эпистемологическая нечувствительность к проблеме нереалистичности моделей. Начнем с маржиналистской революции.

Как известно, принципиальное значение для формирования экономической науки как дисциплины именно естественнонаучного типа с ориентацией на точность, репрезентируемую математикой, и универсальные законы имела маржиналистская революция 70-х годов XIX в. Именно нео-

классическая теория, созданная в результате маржиналистской революции, знаменует собой фундаментальный разрыв с предшествующей политической экономией. Большинство участников этой революции и в своих работах, и в переписке неоднократно подчеркивали этот факт (Mirowski 1984; 1989). Однако обсуждаемый разрыв основан отнюдь не на новой трактовке формирования стоимости как результата выбора, базирующегося на оценке максимальной полезности товара, а именно на привнесении в экономику математики путем репрезентации экономических законов в математической форме. Сами создатели неоклассической теории видели себя математиками-теоретиками и считали своей основной задачей отстаивание математического метода. С его помощью маржиналисты оторвали экономическую науку от экономической практики, сосредоточив все свое внимание на выявлении и анализе абстрактных законов любой экономической деятельности, потому что наукой стало считаться именно *теоретическое знание* дедуктивного типа (Вархотов 2020).

В этом плане весьма показателен тот факт, что маржиналисты, в частности Л. Вальрас, по сути, считали А. Смита ущербным теоретиком ввиду приоритетности для него практических задач перед «чисто научными истинами»: «сказать, что задача политической экономии — обеспечить народу обильный, а государству достаточный доход, — равнозначно тому, что сказать, будто задача геометрии — строить прочные дома, а задача астрономии — обеспечивать безопасное судовождение на морях. Это значит, одним словом, определять науку через ее приложения» (Вальрас 2000. С. 4–5). В этой критике отчетливо фиксируется стремление пересмотреть статус экономической науки и перевести ее из сферы «моральной достоверности», т.е. сугубо практического знания (чему полностью соответствует реконструкция Л. Вальрасом позиции А. Смита) в область «чистых наук» — знания, отвечающего высоким стандартам математизированного естествознания.

Как показывает в своей работе Т. Портер (Porter 1995. Рр. 65–71), зародившаяся в конце XIX в. новая научная дисциплина — математическая экономика (economics) была весьма далека от практических стремлений. В частности, это особенно видно на примере проекта Л. Вальраса, который выстраивал новую экономическую теорию в пику преобладавшим тогда тенденциям на применение знания для практической пользы государства. Такая практическая традиция развивалась среди французских инженеров, которые активно привлекались государством для реализации крупных инфраструктурных проектов, — эта работа, в частности строительство железных дорог, подразумевала не только инженерное проектирование, но и экономические расчёты, связанные с функционированием данных объектов. Несмотря на то что А. Курно и Л. Вальрас опирались на математическую культуру Политехнической школы, ставившей во главу угла проблему «применения математики» и научную идеологию, делавшую классическую механику парадигмальной наукой, они тем не менее отстаивали проект «чистой науки» (т.е. теоретической, дедуктивной науки). Это объясняется тем, что, несмотря на тот же вектор математической формализации, математика в рамках становления экономической теории как научной дисциплины решала совсем *иные* задачи. Обращение к математике инженеров при решении экономических проблем, которые сводились ими к экономическим расчётам, это прежде всего задача *квантификации, количественной оценки*. Эта деятельность носила подчеркнуто *эмпирический* характер. Более того, в рамках тогдашней эпистемической культуры статистика мыслилась (математиками и инженерами) как сугубо эмпирическая наука, аналог экспериментальных практик в физике для общественных наук (Кошовец 2021).

Между тем, главное, что не устраивало политэкономов, творцов новой экономической теории, в форме «чистой политэкономии» и economics, это то, что расчёты и количественные оценки инженеров не объясняли *законов* экономики, универсальных механизмов экономических взаимодействий.

Более того, даже если эти расчёты становились в значительной степени общезначимыми и вели к универсальным формулам, это происходило *в рамках решения административно-управленческих*, а не теоретико-экономических вопросов (Etner 1987. Рр. 238–239). По этой причине, несмотря на непосредственные и обширные заимствования математики из физики, классическая механика в моделях экономистов принципиально *не была инженерной*. Правильнее назвать ее абстрактно-рациональной, в том смысле, что она принципиально *игнорировала задачу практических рекомендаций и полезности* для административного планирования (Ménard 1978. Рр. 63–64, 93–110).

Иными словами, это был проект *чистой* науки, в рамках которого всячески подчеркивалась ее *автономия* от практики. Так, Л. Вальрас, и это видно из его переписки, несмотря на интерес к государственной экономической политике, настаивал, что между его экономической математикой и практическими вопросами управления лежит глубокая пропасть, его цели полностью отличаются от простого количественного определения (Porter 1995. Рр. 69, 71). Это стремление к чистой науке (которая ассоциировалась с аристократическими занятиями в противовес практической направленности ремесла) во многом было обусловлено проблемами институционализации и повышения социального статуса политэкономов. Именно поэтому, как мы отмечали выше, Л. Вальрас считал А. Смита ущербным теоретиком. В этой критике А. Смита отчетливо фиксируется стремление полностью пересмотреть *статус* и положение экономической науки в системе научного знания. Отсюда и амбиции Вальраса «заложить основу новой науки» и развивать «глубокие знания» (Jaffé 1965. Письма 1374, 1377, 1409).

Парадигмальным образцом для маржиналистов и неоклассиков служила термодинамика: на ее основе производилась *натурализация экономики, как в онтологическом плане* (реинтерпретация экономических терминов на основе физических представлений, а также формулирование законов эко-

номики в терминах физики), так и в плане эпистемологическом (усвоение соответствующих стандартов производства знания). Большинство исследователей считают У. Джевонса и Вальраса главными фигурами, максимально сблизившими экономику и физику, при этом Ф. Миrowsки подчеркивает, что экономическая теория не просто ориентировалась на механическую физику своего времени, а фактически присвоила ее себе. В своих работах он убедительно показывает, что разработанная У. Джевонсом и Л. Вальрасом теория представляла собой интерпретацию ключевых математических конструктов термодинамики середины XIX в. в терминах экономики: тот же формальный метод (только понятие энергии заменяется на понятие полезности) и те же самые принципы сохранения, максимизации результата и минимизации потерь (Mirowski 1984). У. Джевонс сравнивал «полезность» с «силой тяжести» (Jevons 1981. P. 80), а Л. Вальрас настаивал на сходстве понятий «силы» и «редкости» (считая их векторами) и понятий «энергии» и «полезности» (рассматривая их как скалярные величины) (Walras 1960. P. 3).

Здесь важно отметить, что к 1860-м годам понятие энергии уже широко использовалось в учебниках по физике, а создатели маржиналистской революции получали образование в сфере естественных наук. Между тем, познания маржиналистов в области математики и естественных наук (в частности, Л. Вальраса), по мнению исследователей, носили весьма общий и в целом поверхностный характер (Dumez 1985). К. Менгер вообще не был знаком с современной ему физикой и математическим анализом, по поводу чего пренебрежительно отзывался Л. Вальрас (Walras 1965. P. 519). С точки зрения Л. Вальраса, построения К. Менгера были лишены «научности», ибо не соответствовали главному критерию теоретического знания, поскольку он не применял математики и не следовал эпистемологическим нормам физики (Ibid. Pp. 519–520). Однако это не мешало К. Менгеру в рамках знаменитого спора о методах (Methodenstreit) подвергать уничижительной критике историческую школу Г. Шмоллера

на основе тезиса о непонимании ею природы точной науки, тогда как он следует методам точных исследований Ньютона, Лавуазье и Гельмгольца (Менгер 2005).

Этот интересный факт заставляет поставить вопрос о том, что в таком случае позволяло маржиналистам столь уверенно производить заимствования из физики при формировании новой дисциплины. Мы полагаем, что это было обусловлено высоким социальным статусом физики в тот исторический период. В последней четверти XVIII в. пресса ввела моду на изучение естественных наук, подробно освещая жизнь академического сообщества и диспуты ведущих ученых (Ферроне, Рош 2003. С. 344). В результате открытия в физике стали предметом постоянного общественного внимания, вызывая почти религиозное доверие, а ученые эпохи «классической науки» превратились в универсальных экспертов и пользовались беспрецедентным социальным авторитетом<sup>25</sup>. Основной причиной такого колоссального как научного, так и общественного авторитета физики стало завершение формирования к середине XIX в. связки «теоретическая физика – технологии – экономическая полезность» и восприятие физики как основного мотора набирающей ход технологической революции (Беме, Ван ден Дале, Крон 1989).

Воздействие тогдашнего статуса физики на экономическую мысль наиболее ярко представлено у Л. Вальраса, который относил «чистую политэкономии» к физико-математическим наукам, признавая, что описание «рынков, наилучшим образом организованных с точки зрения конкуренции...

---

25. Два примера хорошо иллюстрируют описываемое положение: увековеченная М. Шелли в знаменитом романе «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) восходящая к опытам Л. Гальвани идея электрической природы жизни («животного электричества») и появление той же самой идеи в ключевой работе Ж.-Б. Ламарка («Философия зоологии»). Последний никогда специально не занимался вопросами происхождения жизни, но уверенно утверждал в 1809 г., что «тепло и электричество, которые так широко распространены в некоторых местностях, и в определенное время года и особенно на поверхности земли» обеспечивают постоянное зарождение жизни (Ламарк 1955. С. 532–534). Таким образом, менее чем 10 лет было достаточно, чтобы к началу XIX столетия открытие в области физики превратилось в парадигмальный элемент научной картины мира (Ламарк), а двух десятилетий было достаточно для инкорпорирования этих открытий в картину мира любого образованного обывателя (Шелли).



подобно тому, как в механике допускается существование машины без трения», а они «...строят а priori конструкции своих теорем и их доказательств», адресуясь к опыту «не для того, чтобы подтвердить, а чтобы применить свои выводы» (Вальрас 2000. С. 1, 30). Однако его теория общего экономического равновесия (ТОЭР), предложившая аналитически проработанное комплексное представление об экономике в математической форме, стала ядром новой экономической науки не столько из-за ориентации на физику, сколько благодаря своей установке на математическую формализацию и последовательную борьбу с субъективизмом, на котором, во многом, зиждется исторически предшествующий эпистемический идеал общественных наук — «моральная достоверность» (Кошовец, Вархотов 2020).

Л. Вальрас, который не признавал роль К. Менгера в маржиналистской революции как раз из-за субъективизма и в этом плане не считал его равным себе по статусу (Mirowski 1984), идеально вписался в восторжествовавший во второй половине XIX в. эпистемический идеал «механической объективности», стремившийся избавить знание от субъективных компонентов и делегировать познавательные функции механическим процедурам — приборам и алгоритмам (Дастон, Галисон 2018. С. 182–364). Эти качества обеспечили ТОЭР преимущество перед другими маржиналистскими построениями — австрийским и англо-американским проектами. В то же время, вместе со стандартами естествознания Л. Вальрас усвоил ключевую интуицию математического эмпиризма, идущую от И. Ньютона, и поэтому верил, что задача ученого — получение истинного знания о реальности (именно такое знание может быть признано теоретическим), а построенная им математическая репрезентация *реальна*, так как выявляет самую *сущность* экономических процессов, законы экономических отношений. Принятие общего равновесия как ключевого закона рынка означало, что равновесие описывает *естественное*, а значит, единственно правильное, *нормативно предпочтительное* состояние экономики.

Таким образом, в онтологическом плане у Л. Вальраса сохранялся старый (политэкономический) *натуралистиче-ско-субстанциальный* принцип выделения и формирования объекта и предметной области дисциплины. Однако он совершил решающий шаг в плане попытки сформулировать этот объект на языке математики. Соответственно, на основе эпистемических добродетелей «механической объективности», стремящейся избавить знание от любых форм субъективизма, и стремления к поиску законов ТОЭР обрела парадигмальную роль, став определять «правильный» способ восприятия, анализа и репрезентации экономических явлений. С тех пор и на протяжении почти всего XX в. ядром неоклассической теории остаются математические конструкции, в основе своей заимствованные из физики XIX в. (Mirowski 1989).

Эти идеи получили окончательное дисциплинарное оформление благодаря А. Маршаллу, математику по образованию, создателю *economics* как учебной дисциплины и автору первого авторитетного учебника «Принципы экономики» (*Principles of Economics*), название которого в контексте идеалов естествознания следует понимать именно как «законы экономики». Он четко прописывает задачу экономической науки в традициях естественнонаучных стандартов: эмпиризм (наблюдение и сбор фактов), измерение, стремление к точности, выявление причинно-следственных связей, формулировка результата множества наблюдений в виде законов. Описывая развитие научного аппарата «некоторых передовых естественных наук» по пути совершенствования измерений и стремления к точности, А. Маршалл отмечает: «экономическая наука стремится занять место именно в этой группе наук, так как, несмотря на то, что ее измерения редко бывают точными и никогда не являются окончательными, она постоянно прилагает усилия к достижению их большей точности. При этом он понимает все сложности выведения в экономике законов, аналогичных законам физики. Но естественные науки и физика являются для него безусловным методологическим ориентиром, в том числе и потому, что «наука

продвигается вперед, увеличивая количество и точность своих законов» (Маршалл 1993. Гл. 3, §2). В своей инаугурационной лекции в Кембридже в 1885 г. он прямо декларирует, что «экономическая теория – это не совокупность конкретных истин, а мотор, предназначенный для того, чтобы открывать такие истины», ее роль подобна роли машинного оборудования в фабричном производстве (Marshall 2008. Рр. 18, 25).

Таким образом, главным итогом маржиналистской революции для онтологии экономической науки стало заимствование инструментария и опорных понятий математизированной физики, а также институционализация математизированного экономического образования. На этом этапе произошла переинтерпретация некоторых экономических процессов в терминах физики, т.е. адаптация экономики к естественнонаучной онтологии, однако еще сохранялась естественнонаучная установка на реалистичную репрезентацию (Л. Вальрас).

#### **4. Структуралистская революция и ее значение для отказа от субстантивных онтологий**

Структурализм как одна из доминирующих научных парадигм, сложившихся в начале XX в., оказал огромное влияние как на весь корпус наук, так и на экономическую теорию. В рамках данной работы наибольший интерес для нас представляет само появление внимания к структурным компонентам в ходе научного познания и связанное с этим изменение исследовательских стратегий и способов построения предметной области. Обычно структуралистский подход связывают с развитием абстрактно-теоретического уровня в гуманитарных науках, ключевым следствием которого стала трансформация их объекта. Однако не меньшее значение структурный подход имеет для преобразования научного статуса математики, ее претензий на роль не только основного средства репрезентации Мира, но и языка науки. Как отмечают Л. Дагстон и П. Галисон, на рубеже XX в. «в логике и математике слово “структура” приобретает новые значения и интеллектуальный лоск» и становится

лозунгом новаторского движения в математике, включавшего теорию множеств, современную алгебру групп колец и идеалов (Галисон, Дастон 2018. С. 369), см. также (Corry Leo 1996). Далее мы рассмотрим эти изменения и их принципиальные последствия.

История подъема структурализма хорошо известна. Поэтому здесь мы воздержимся от пересказа основных траекторий развития этого научного подхода и его ключевых персонажей. Вместо этого мы хотели бы выделить принципиальные онтологические допущения и основанные на них эпистемологические стратегии, как связанные с построением предметной области, так и со средствами исследования. Прежде всего мы полагаем, что структурный подход и обращение к концепту «структуры» является следствием изгнания метафизики из науки, которое в начале XX в. приняло характер выхолащивания онтологии и последующей деонтологизации научного знания (Gigerenzer 1990). Под деонтологизацией мы понимаем *трансформацию содержательной онтологии в формальную*. Принципиальным следствием отказа от метафизического (а затем и любого другого субстантивного) содержания является *превращение теории в инструмент* и, следовательно, появление инструменталистской интерпретации результатов познания.

К 1930-м годам развитие научного знания по пути выхолащивания онтологии затронуло уже не только физику, но и саму математику, а затем перекинулось на целый ряд гуманитарных наук. Здесь необходимо отметить два существенных аспекта. С начала XX в. *деонтологизация обусловлена не только борьбой с метафизикой в науке, но и с избавлением от психологизма* с целью построения объективного знания (Friedman 1999). В рамках применения математических методов в науках это означало *возможность формализации* со строго детерминированным исходом. Однако для того, чтобы формализация была возможна, *необходимо принципиальное преобразование предмета*. Рассмотрим эти два важных аспекта подробнее.

Философские дискуссии в математике XIX в. были связаны в основном с развитием геометрии, а именно с истолкованием неевклидовых геометрий. Значение неевклидовых геометрий заключается в том, что их построение, а также доказательство непротиворечивости реально противоречило всем сложившимся к тому времени представлениям о природе математического знания. Это привело к постановке вопроса о том, какая же из возможных математик находится в соответствии с Миром, в котором мы живем. В рамках решения этой проблемы в начале XX в. было предложено несколько программ обоснования математики. Для нас интерес представляют две из них: *формализм и логицизм*. В рамках формализма на первый план выдвигаются *знаки (значение которых принципиально не важно) и отношения* между ними, понимаемые как *комбинаторная игра*, в которой играют фигурами, имеющими значение только в контексте самой игры.

В противовес интуиционизму<sup>26</sup> лидер формализма Д. Гильберт утверждал, что исходным базисом математических построений являются знаки. Математические знаки существуют как непосредственно созерцаемое, они легко обозримы и отличимы друг от друга. Вместе с тем, *они не сводимы к чему-либо иному*, следовательно, выступают в качестве изначальных единиц математического мышления. Поэтому основанием математики является сама математика, именно *ее внутренняя непротиворечивость* (Сухотин 2004). Стремясь показать именно математически, а не интуитивно, что математика обладает необходимой полнотой, Д. Гильберт решительно *отвергает любые связи между математическими объектами и реальностью* с целью ограничиться внутренней логикой самих математических структур (Weyl 2009).

---

26. Интуиционизм — программа обоснования математики, где ключевым принципом является утверждение о том, что математика обладает *не только чисто формальным, но и содержательным значением*, а также акцентирующее субъективный момент — первично математическое мышление, а язык и логика суть несовершенные способы его выражения (Асмус 1963).

В формальной аксиоматической системе, как ее определил Д. Гильберт, доказательство является просто последовательностью рядов символов. Символы в таких дедуктивных системах являются, в некотором специальном смысле, *абсолютно незначимыми*. Такая система правил образования и трансформационных правил *называется формальным «синтаксисом»*. «Семантика» является техническим способом «придать значение» неинтерпретированным символам «синтаксиса». Модельно-теоретическая семантика состоит из модельной структуры и правил отображения символов дедуктивной системы на элементы этой модельной структуры. Строго говоря, *эти модели также являются незначимыми. Они просто являются структурами*, включающими сущности и множества (Перминов 1986). Структуры этих моделей могут иметь только теоретико-множественный характер. Как отмечает Дж. фон Нейман, характеризуя вклад Гильберта: «математика стала внутренней процедурой, которая действует в соответствии с фиксированными правилами... и состоит в последовательном конструировании определенных комбинаций простейших символов, которые считаются «правильными» или «доказанными» (Леонард 2006. С. 277; см. также: (Mirowski 1992)). Ему вторит сторонник интуитивизма Г. Вейль, который отмечает, что у Гильберта теоремы «превращаются в лишенные всякого смысла фигуры, составленные из комбинаций нескольких символов, и математика оказывается уже не знанием, а управляемой некоторыми условными правилами игрой в формулы, вполне подобной игре в шахматы. Эта игра может превратиться в знание, если мы докажем, что в шахматной партии при правильной расстановке фигур на доске не могут оказаться десять ферзей одного цвета» (Асмус 1963. С. 265; см. также: (Weyl 2009)).

Теперь обратимся к логицизму как одной из программ обоснования математики. Здесь ключевым для нас является *идея о математике как языке* («логическом языке» науки). С одной стороны, это принципиально позволяет *расширить применение математики*, распространив ее на другие науки

(т.е. за пределы естествознания). Вместе с тем, это *сводит математику к чисто инструментальной функции* (рассматривает ее как математический аппарат), т.е. *позволяет относительно произвольный выбор математических средств* для конструирования моделей. Действительно, в ходе развития логицизма неуклонно укреплялась и оформлялась мысль, что математика не связана с частными родами предметов, которые могут быть даны нашей интуиции. Из науки о числах и величинах математика *все более превращалась в общий метод доказательства и открытия*. Логицисты утверждали, что, «введя без доказательств небольшой круг определений, математика в дальнейшем развитии своих дедукций не нуждается больше ни в каких интуитивных усмотрениях» (Асмус 1963. С. 245). Здесь так же, как и в формализме, мы видим ясную установку на выхолащивание онтологии, ибо, как отмечает Л. Кутюра, по форме математика – «ансамбль выводов, сообразных с принципами логики», а по содержанию она «ансамбль определений, содержащих только термины логики» (цит. по: (Асмус 1963. С. 245)). Особенно явственно это прослеживается в работе «Основания математики» Б. Рассела и А. Уайтхеда, которые доказывали, что все разделы математики могут быть сведены до структурных утверждений.

Эту идею у логицистов подхватил и всецело развил Р. Карнап. Уже само название его ключевого сочинения является для нас весьма примечательным – «Логическая структура мира». Именно в рамках этого труда наиболее четко прослеживается ключевая тенденция, развиваемая в большинстве наук в начале XX в. – *принципиальное преобразование предметной области* путем перехода от описания свойств объектов *к описанию их через отношения*. Именно описание отношений составляет основу единства научного знания, при этом ключевыми отношениями являются структурные. При этом структура понимается как вся совокупность формальных свойств объекта (Карнап 1993). Иными словами, структура – это форма объекта. Развивая эту идею, Карнап выдвигает тезис о том, что науч-

ные утверждения имеют отношение только к структурным свойствам и говорят нам только о формах без указания, формами каких элементов и отношений они выступают (Сатпар 1967). При этом Карнап эксплицитно выражает ключевое преимущество структурного подхода на примере физики, которая «почти целиком десубъективизирована, поскольку почти все физические понятия трансформировались в чисто структурные» (Сатпар 1967. Р. 32). Под такой трансформацией он фактически понимает деонтологизацию физики в ходе отказа от наглядности в определениях объектов, что, по его мнению, позволяет преодолеть множественность индивидуальных восприятий реальности. Анализ логической структуры может стать *предпосылкой единого для всех наук взгляда на мир* (собственного научного метода) (Галисон, Дастон 2018. С. 418–428).

Выше мы отмечали, что отождествление математики с «языком» и превращение ее сугубо в метод доказательства и открытия сводит математику к чисто инструментальной функции, предоставляющей произвольный выбор средств для конструирования моделей. Сын К. Менгера, математик К. Менгер-младший жестко проводит эту линию в трактовке задач математики, понимая ее как выведение теорем, выбранных из заданного набора различными способами, и при этом видя в этом верное средство очищения науки от субъективных и ценностных суждений и от метафизики (Леонард 2006). Его трактат по этике, следуя идеям Карнапа, предлагает рассматривать общество и входящие в него группы как *систему логических отношений*. Такое преобразование предмета социологии и этики позволяет свести проблемы этики *к поиску общих принципов морали, а не к их оценке*, которые при этом понимаются как комбинаторный анализ последствий нормативных выборов (Menger 1974. Р. 95). Фактически это означает, что в рамках формальной онтологии, на основе которой строится такая предметная область, вводится отдельный регион бытия «должное», состоящий из законов и общих принципов, которые



в силу своей нормативности должны выполняться. Ключевой вопрос — где? Реальность не достроена до должного, следовательно, это происходит в логически «возможном мире».

Обратимся теперь к гуманитарным наукам, хотя экономическая наука к этому моменту уже четко встала на тропу тотальной формализации, она еще не перестала быть общественной наукой, а проблема интерпретации моделей сохраняется даже сейчас, когда экономическая теория включена в корпус естественных наук в рамках исследовательских программ в университетах США, о чем мы говорили в первой главе. Структуралистский подход здесь изначально развивался в рамках лингвистики и литературоведения и затем перекинулся на антропологию, историю и другие дисциплины. Для нас здесь имеют значение ключевые эпистемологические сдвиги, происходившие в рамках общего тренда в развитии европейской культуры начала XX в., который выражался в борьбе с метафизикой и субъективизмом. В данном случае эти намерения оформлялись в задачу борьбы самих гуманитарных наук за полноценный научный статус, т.е. соответствие образцам естествознания.

В рамках лингвистики тенденция на выхолащивание онтологии была уже задана ключевым различием Ф. де Соссюра: синхрония — диахрония. Элементы языка *отделяются от реальности*, которую они описывают, а сам язык начинает пониматься как статичная система взаимозависимых элементов, *значимость которых зависит не от их качеств, а от отношений* (подобия и различия). Язык в синхронном срезе — это множество всех диспозиций на шахматной доске. Вслед за ним Р. Jakobson проводит идею о большей значимости правил, по которым можно играть (работать со) словами, нежели способность языка к репрезентации. Далее он развивает схожие идеи в рамках новой дисциплины — фонологии, предметная область которой конструируется на основе представления языка как *закрытой системы допустимых комбинаций* фонем. Исходя из этого, язык можно исследовать как структуру со своей соб-

ственной логикой, как комбинаторику отношений (Якобсон 1985)<sup>27</sup>. Фонология Якобсона оказала сильное воздействие на К. Леви-Строса и привела его к созданию новой предметной области в рамках антропологии – анализу систем родства и структуры мифа (Леви-Стросс 2010). Во всех случаях структурный анализ подразумевает у него *выявление универсальных логических схем, выступающих как правила порождения* всех возможных комбинаций в рамках той или иной системы (родство, миф).

Помогавший Леви-Стросу с формализацией структуры брачных отношений математик А. Вейль прямо заявил, что *«ему не нужно даже знать, что они из себя представляют»*, все, что ему необходимо, это возможность свести их к конечному числу категорий, а также наличие четко определенных отношений между различными категориями (Levi-Strauss 1954. P. 586. Курсив мой. – О.К.). В результате он смог продемонстрировать, какие из них *логически возможны* (не существуют, а именно логически возможны), а какие нет (Weil 1949). Это полностью отвечало подходу самого Леви-Строса к предмету, и в еще большей степени его огромному желанию сближения социальных наук с парадигмальным естествознанием (через математическое моделирование).

При этом важно подчеркнуть, что Леви-Строс вполне осознавал, почему не удалась предыдущая попытка выстраивания социальных наук по лекалам математизированной физики: «в прошлом огромные трудности возникли из-за качественной природы наших исследований. Чтобы с таким материалом работать количественно, пришлось бы прибегнуть или к разного рода искусственным манипуляциям,

---

27. Интересно отметить, что в рамках развития нового литературоведения в России 1910–1920 гг. структурный подход был принято называть формальным (В. Шкловский) или морфологическим (В. Пропп), противопоставляя его психологическому (выражение духовного мира автора), при котором «предметом исследования служит не само художественное произведение, а то, «отражением» чего оно является, по мнению исследователя» (Эйхенбаум 1922. С. 8). Отсюда особое внимание к техническим приемам работы с материалом и впоследствии тезис французских структуралистов о «смерти автора», который заменяется безличными структурами, порождающими тексты (Барт 1994).

или к чрезмерным упрощениям» (Levi-Strauss 1954. P. 586). Кардинальные изменения произошли благодаря развитию статистики как ключевой для всех наук дисциплине, задачей которой является преобразование изучаемого объекта в число (количественное отношение), в строгом соответствии с заветом Галилея: «измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему» (Галилей 1987. С. 44). Подобное преобразование любого объекта есть необходимое условие последующей математизации изучающей его науки. Из социо-гуманитарных наук наилучшим образом это удалось лишь экономике, ключевые понятия которой «стоимость», «цена» и т.п. имеют числовое выражение. Принципиальный сдвиг в использовании математики в науке уже не столько с целью репрезентации объективного Мира (его законов), сколько для исследования (моделирования) абстрактных (символических) структур, агрегатов и совокупностей множеств методами комбинаторного математического анализа потенциально открывает широкие возможности для математизации других социальных и гуманитарных наук. Единственное условие — это преобразование их объекта исследования в структурное отношение, стабильное множество, что обязательно подразумевает избавление от привязки к реальному объекту, а также структурный анализ как основная цель исследования. В рамках структуралистского преобразования математическая структура становится инструментом, позволяющим выявить структуру социальную и дающим к ней доступ. Вместе с тем, впоследствии, если необходимо привязать полученную модель (формализацию) к реальности, к некоторым социальным сущностям, то это делается уже после анализа, в интерпретации.

Теперь кратко рассмотрим философские основания деонтологизации и десубъективации (депсихологизации) научного знания, отмеченные нами как ключевые элементы познавательной стратегии структурного подхода. Магистральное понимание структуры отождествляет ее с формой. В свою очередь, одна из ключевых традиций европейской философии

со времен Аристотеля *отождествляет форму и сущность*, также понимая форму как необходимое условие познания сущего. В Новое время в рамках этой традиции Ф. Бэкон ввел *понимание формы как закона* природы. Следует особо подчеркнуть, что «закон природы» – это онтологическое понятие, потому что *он часть самой Природы* и задача познания – его отыскание (раскрытие сущности явлений), что дает возможности для преобразования Природы. В рамках процесса деонтологизации знания, т. е. отказа от субстанциалистских онтологий, структура не только становится повсеместным объектом науки, но и фактически *заменяет собой закон природы*.

Структура полностью соответствует ключевым характеристикам закона Природы (социума), фиксируя собой универсальное, общее, необходимое, однако в отличие от него она не является частью самой Природы. Из структуры выхолощено все субстантивное, поэтому она имеет целый ряд «преимуществ»: если закон в виде причинно-следственной связи обязательно обнаруживается (показывает свое существование) в эксперименте, то *структурные отношения доказываются только логическими и формальными средствами*. Кроме того, в рамках структурного подхода объект – *принципиально серийный*. Структура держится на серийных, а не на причинно-следственных связях, она не требует конечного вскрытия, так как структурная связь выявляет лишь корреляционные отношения, которые *невозможно фальсифицировать, так как они не отвечают за отдельный случай*, противоречащий некоторому утверждению, например, все «курильщики болеют раком». Более того, *закрепление тех или иных корреляций носит сугубо прагматический характер* и, по сути, определяется вненаучными причинами.

Деонтологизация формы (т.е. разрыв тождества формы и сущности) происходила в ходе развития волюнтаривной метафизики в позднем Средневековье и продолжилась в номинализме, ряд идей которого являются ключевыми для понимания генезиса новоевропейской науки (Жошовец 2006). Основной тезис об онтологической первичности инди-

видуального существования изменил познавательные интенции на прямо противоположные, обратив взор философов от универсалий (сущностей) в Уме Бога к сотворенному им Миру (всему существующему). Однако при этом знание лишилось той необходимости и несомненной достоверности, которые оно имело в античной и схоластической традиции. Здесь берет начало эпистемология Нового времени, главной чертой которой является вероятностный характер знания. Иными словами, отныне мы имеем дело с субъективно-психологическим обоснованием познания, с введением субъекта в структуру познавательного опыта.

Как мы уже отмечали, во втором параграфе этой главы, сознание неустранимости субъекта познания и проблема его активности в рамках познавательной деятельности становится одной из магистральных тем в размышлениях творцов новой науки в XVII в. (Косарева 1989). Разработкой этой интуиции в «классическом виде» (и уже в XVIII в.) стала «критическая установка» И. Канта, который вслед за Декартом в качестве фундаментальной посылки принимает положение о сознании (*res cogitans*) как абсолютной системе координат. В результате именно субъект наделяется исключительной ответственностью за все произведенное знание. Если истинность знания удостоверяется только через его отношение к субъекту, то закономерным является построение такого субъекта познания, который выведен за пределы своей телесно-чувственной природы и индивидуального опыта и *редуцирован к мышлению (его общим принципам и категориям, понимаемым как форма мысли)* (Кошовец, Фролов 2013). Мышление при этом принципиально носит всеобщий характер, и в результате мы получаем трансцендентального Субъекта. Однако структуралисты в своей борьбе с субъектом и курсом на десубъективацию знания пошли гораздо дальше. Специфическим выражением такой траектории развития стала *выраженная антисубъектная тенденция — радикальная попытка вывести субъекта за пределы познавательного опыта*, как на уровне организации предметной области, так и посредством

определенных познавательных стратегий. Проблема активности субъекта в процессе познания решается заменой субъекта структурой. Однако, парадокс в том, что, в конечном счете, структура приобретает трансцендентальные характеристики (характерные для картезианско-кантовской традиции), становясь универсальными формами (законами) Мышления/Языка/Бессознательного.

Обратимся теперь к экономической теории и тому масштабному сдвигу, который произошел в ней под воздействием структуралистского движения в рамках эволюции научных практик. Как известно, в основе новоевропейской науки лежали два принципа: эмпиризм, понимаемый как опосредованное техникой экспериментальное наблюдение, и математизация, понимаемая как инструмент построения рациональных моделей, позволяющих сводить реальность к компактным правилам и производить вычисления. Соединение двух этих принципов на заре Нового времени, плохо совмещавшихся и нередко требовавших уловок для стыковки, успешно осуществили техники измерения и статистические методы, совместно превратившие мир в вычислимый объект (Porter 1996). Экономика как современная наука родилась на волне развития статистики и успехов опытно-экспериментального естествознания и, как и весь обществоведческий комплекс, в полной мере впитала «эпистемические добродетели» естественных наук – веру в объективность, факты, стремление избавиться от субъективизма, доверие к математике как чистой форме достоверности, освобожденной от примесей индивидуальности. Все эти «добродетели» были наиболее явным образом воплощены в математизированной физике, ставшей парадигмальной наукой, поэтому общественные науки стремились адаптировать собственный предмет к его исследовательским стандартам.

Как мы отмечали выше, теоретическое ядро мейнстрима формировалось уже с ориентацией на общие принципы построения знания в математизированном естествознании, которые к началу XX в. утвердились как общенаучные.

Л. Вальрас относил «чистую политэкономия» к физико-математическим наукам, его теория общего экономического равновесия стала ядром экономической науки именно благодаря своей формализованности и принципиальному дистанцированию от субъективизма (в отличие от других школ маржинализма). Вслед за этим в соответствии с ключевым структуралистским трендом в науке начала — середины XX в. происходит переконфигурация предметной области экономической теории. Предметом становятся оптимальное решение как набор всех возможных комбинаций, что напоминает нам проект этики сына К. Менгера, понимаемой им как комбинаторный анализ последствий нормативных выборов, о чем мы писали выше. Подчеркнем, что оптимальные стратегии в играх при этом сами по себе малозначимы (важен процесс выбора или принятия решений). «Игры» это, по сути, особые математические объекты, потому что *способны продолжаться бесконечно долго* (такие игры рассматриваются в теории множеств). Все это открывает возможности для применения теории игр *в любых других науках* — социологии, политологии, и даже биологии и кибернетике. Вслед за Гильбертом, редуцировавшим математику к комбинаторной игре, фон Нейман полагал, что «любая социальная ситуация, при соответствующих заданных условиях, может быть истолкована как стратегическая игра... т.е. редуцирована до шахмат» (Леонард 2006. С. 277). Фактически, теория игр — математическая теория, созданная специально для применения в общественных науках и позволяющая работать с их объектом после его определенного преобразования.

Преимущество структурного подхода для экономической теории, и ранее стремившейся к универсализму и носящей преимущественно нормативный характер, в том, что структура хорошо отождествляется с понятиями «общих регулятивных принципов» и «правил». В то же время понятия «правил» в смысле «принятых норм поведения», «установленных порядков общества» позволяет включить в теорию институциональные аспекты, лишь проведя необходимое для

этого преобразование и введение их в теорию как серийные объекты и структурные отношения. Далее, в рамках аппарата «теории игр» можно ввести любые другие объекты, заданные через комбинаторику, неопределенность или дискретность. Наконец, понятие «структура» подразумевает равновесие, только задает его иначе, однако полностью сохраняет его в сердце теории — она не предсказывает, какое решение будет наблюдаться в каждой конкретной ситуации, а лишь обращает внимание на равновесие, структурные свойства возможных исходов (Нейман, Моргенштерн 1970. С. 66–68).

Таким образом, главным итогом структуралистской революции 1910–1940 гг. и развивавшихся на ее фоне таких программ обоснования математического знания, как формализм Д. Гильберта, который решительно отвергал любые связи между математическими объектами и реальностью, и логицизм, превративший математику в общий метод доказательства и открытия в науке, стала борьба с натуралистическими, субстанциальными онтологиями, воспринимавшимися как метафизические элементы. Этот общенаучный тренд разворачивался в рамках углубления борьбы с субъективизмом в научном знании и ориентировался на построение собственно научных онтологий, очищенных от метафизики. В соответствии с этим трендом происходит переконфигурация предметной области экономической теории: переход от описания свойств объектов к описанию их через отношения (структуры). Это дает радикальное преимущество: если закон в виде причинно-следственной связи должен быть обязательно обнаружен в эксперименте, то структурные отношения доказываются только логическими и формальными средствами<sup>28</sup>. Ключевое значение структуралистская революция

---

28. Такие отношения никогда не наблюдаются непосредственно (в отличие от простой причинно-следственной связи типа «огонь—дым») и могут быть эмпирически подтверждены только с помощью статистики (например, эконометрической), т.е. обобщенными количественными данными. Простым примером может служить история «закона Энгеля», впервые сформулированного директором саксонского (1850–1858) и прусского (1860–1882) статистических бюро Э. Энгелем. Это эмпирическая (!) закономерность, согласно которой «коэффициент Энгеля» (доля расходов на еду) находится в обратной зависимости от уровня дохода потре-



также сыграла в формировании научного идеала «структурной объективности», подразумевавшей отречение от субъектности (полное элиминирование из знания субъекта познания и как следствие субъективности в пользу формальных структур) (Галисон Дагстон 2018. С. 365–444). Мы коснемся этого в последнем параграфе 6 главы.

В целом структурализм и формализм в математике начала XX века привели к еще большему усилению в экономической теории концептуальных элементов построения, ориентированных на сходство с математизированным естествознанием. В течение первой половины XX в. в рамках тренда на деонтологизацию предметной области физики «социальная физика» также стала тяготеть к превращению в «социальную математику», замыкающуюся на формальные онтологии и порождающую «возможные миры». Логическое завершение эта тенденция нашла в рамках т.н. «формалистической революции» 1950-х годов (Ward 1972), когда К. Эрроу и Ж. Дебре произвели формалистский пересмотр ТОЭР Вальраса (а заодно и ее статуса истинного знания о реальности). «Экономисты стали отдавать форме экономического аргумента не просто предпочтение, но абсолютное предпочтение перед его содержанием», потому что конечной целью была имитация пресловутой программы Гильберта в математической науке, т.е. полная аксиоматизация экономических теорий» (Blaug 2003. P. 145).

---

бителя. Указанное соотношение является корреляционным (структурным) – нет оснований утверждать, что рост доходов является причиной сокращения доли расходов на питание, равно как и нельзя настаивать, что это отношение с необходимостью будет проявлено любым конкретным потребителем. Дальнейшие статистические исследования предсказуемо привели не к подтверждению или опровержению, а к структурному усложнению «закона» – в частности, было установлено, что более устойчивой корреляцией доля расходов на питание обладает с размером семьи потребителя, а не с уровнем доходов, и т.д. При этом все уточнения и дополнения оперируют усредненными данными и, тем самым, описывают предметную область в целом («потребителей»), но не конкретный случай, который вполне может никак не соответствовать защищаемой закономерности. Поэтому структурная причинность весьма устойчива к эмпирическим опровержениям и де-факто опирается не столько на наблюдаемую действительность (которая состоит из частных, а не обобщенных случаев), сколько на красоту описывающих структурные корреляции математических отношений (Кошовец, Вархотов 2020. С. 36).

## Глава III

ОНТОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ:  
МЕЖДУ ФОРМАЛИЗМОМ, «ИМПЕРИАЛИЗМОМ»  
И ДИСКУРСИВНЫМИ ПРАКТИКАМИ**1. Разработка онтологической проблематики  
в методологии экономической науки**

Итак, указанные исторические и эпистемологические особенности эволюции экономического знания, в конечном счете, способствовали *обособлению некоторой формы экономического знания от ее исторического, содержательного, предметного наполнения*, создавая возможность для *воспроизводства и развития специфических формализованных знаний*, которые, в свою очередь, порождают собственное содержание. Специфической чертой этого нового содержания является *способность создавать в его рамках логически возможные* (т.е. не имеющие отношения к реальности) *миры*. В итоге развитие теории данной науки превращается в фактическое углубление и усложнение математического аппарата, прилагаемого к данной научной области<sup>29</sup>. Отрыв формы от содержания рано или поздно приводит к проблеме «контакта» теории с реальностью, к вопросам о том, *что изучает данная наука, существует ли объект, который она изучает, какова ее онтология*.

---

29. В прикладной математике целью является решение некоторой задачи, которая берется из той сферы деятельности, куда прилагается данный конкретный математический аппарат. В то же время «чистая математика» имеет целью развитие математических средств, не противоречащих основаниям данного раздела математики.

В 1960–1970 гг. эта проблема впервые была осознана в физике, где бурное развитие математических методов сопровождалось не менее бурным созданием идеализированных теоретических объектов вроде «кварков», «глюонов» и пр., которые непосредственно нельзя обнаружить экспериментально. В свою очередь, это обнажило конструктивный характер научного познания, в том смысле, что в процессе познания ученый активно конструирует изучаемую (предметную) реальность, а не просто отображает и описывает ее в теории. И именно тогда встали вопросы о том, что на самом деле исследует физика, насколько реальны ее теоретические конструкции, и привычное нам понятие «природа» постепенно стало вытесняться понятием «онтология» (Илларионов 1984; Севальников 2003). Весьма симптоматично, что наиболее остро проблема «онтологии» (в форме соответствия между теорией и описываемой ею реальностью) стоит именно в тех науках, где господствуют формальные методы репрезентации знания. Поэтому вполне закономерно, что вслед за физикой и некоторыми другими науками в экономическую науку также вошла тема онтологии, которая прежде всего имеет целью разобраться с вопросами о самодостаточном развитии формальной теории (засилье формализма) и потери ею связи с реальностью. Эти проблемы широко осознаются по всем фронтам: от создателей «чистой теории», предпринимающих многочисленные попытки подправить, дополнить или трансформировать «ортодоксальную науку» и ее апологетов, апеллирующих к «универсальному ядру» экономических законов и ссылающихся на соответствие тех или иных постулатов эмпирическим данным (Hahn 2003), до умеренных и яростных критиков, которые заняты выявлением подлинных проблем «чистой теории» и их преодолением или конструированием новых оснований теории (Lawson 1985), более соответствующих такой сложной, многослойной и исторически изменчивой объективации, как экономика.

Что же такое онтология? Эта категория давно вышла за пределы философского дискурса, получила широкое обще-

научное распространение, и даже проникла в популярную форму научного знания. В этой связи закономерно, что ее значение стало все более многозначным и размытым. Под «онтологией» понимают и мировоззрение, и «картину мира», и «базовые предпосылки некоторой дисциплины» (теории, научной школы), и «ядро» той или иной научной традиции, парадигмы, исследовательской программы, и базовую модель описания знания (предметной области), и совокупность категорий и понятий, описывающих некую предметную область. При всей разности этих трактовок общее у них то, что они указывают на некие субъектные или объектные основания, лежащие в самой конструкции знания. Между тем, никуда не исчезла и традиционная трактовка этого понятия философией – «учение о бытии», в этом смысле онтология связана с указанием на все сущее, совокупность существующих вещей, реальность (структуры и объекты реального мира), изучаемые той или иной наукой. Таким образом, у нас есть два основных узуса понятия «онтология» в научной практике, которые мы условно обозначим как «*объективистский*», основные интуиции которого связаны с традиционной философией и позитивизмом, а также «*конструктивистский*», разрабатываемый в основном современной эпистемологией и методологией науки.

Возникает вопрос, какова эвристическая ценность категории «онтология», почему оказались недостаточными вышеперечисленные понятия («картина мира», базовые предпосылки и проч.) или же такие вполне общие и абстрактные категории, как «реальность», «общество», «природа»? Иначе говоря, что нового для науки может дать категория «онтология» в сравнении с уже имеющимися теоретическими конструктами, какие аспекты нашего представления о системе знания позволяет прояснить? Не менее важным представляется и другой вопрос, что влечет за собой использование экономистами этого философского термина для решения проблем своей науки? Какие ограничения оно накладывает, и какие возможности предоставляет? Наконец, может ли

разработка онтологической проблематики помочь решению ключевых проблем и оснований экономической теории и развитию экономической науки в целом, и если да, то как? «Онтологическая проблематика» имеет длинный и сложный философский бэкграунд, поэтому ничего удивительного в том, что рассуждения и видение большинства обращающихся к этой теме методологов экономической науки опосредует «субстанционалистская» трактовка, т.е. понимание «онтологии» как учения о сущем (реальности) и его наиболее общих структурах/свойствах. Так, к примеру, некоторые авторы наиболее репрезентативной коллективной монографии, посвященной онтологическим проблемам, «Видение экономического мира» отождествляют экономическую онтологию с изучением того, какие объекты признаются существующими в экономической науке, каковы основные модусы их существования (например, существуют ли они как вещи, процессы или каузальные механизмы) и есть ли у понятий этой науки реальные референты, иными словами, соответствует ли наука чему-то реальному в мире (Maki 2001). Следует также отметить, что большинство исследователей рассматривает проблемы реальности (существования) с опорой на доминирующие в философии науки позитивистские представления, аналитическую философию или одну из форм реализма (онтологического реализма), так или иначе предполагающих различие и несводимость друг к другу существования и представления (понимания).

Мы полагаем, что вся современная<sup>30</sup> онтологическая проблематика, в конечном счете, *вытекает из фундаментальной предпосылки европейской теоретической культуры об обособленности и самостоятельности двух родов бытия – мира «самого по себе» и сознания «самого по себе»*. Из нее с необходимостью следует принципиальный зазор между *вещью и представлением* о ней. Поэтому ключевая познавательная

---

30. Т.е. сформированная в Новое время, сохраняющая свою актуальность по сей день и имеющая отношение не только к научному и философскому знанию, но в целом к тому типу теоретической культуры, основные принципы которой сложились в XVII–XVIII вв.

«субъект-объектная» установка, лежащая в основе проекта научного познания Нового времени, вопрос о существовании «внешнего мира» с неизбежностью выносит за пределы возможного опыта, делая упор на исследовании способов организации явлений. Как следствие, возникает *пропасть* между «конструкцией» реальности (репрезентацией мира в знании) и самой реальностью (миром объектов). Что это означает для науки? По мере развития, усложнения структуры и автономизации корпуса научного знания, а также — что принципиально! — усложнения изучаемых ею объектов (переход к изучению систем) этот разрыв с неизбежностью усугубляется, обнажая конструктивистский характер научно-исследовательской деятельности. Ключевым становится вопрос *об онтологическом статусе познаваемого, о самостоятельности его бытия в мире*. Здесь «онтологическая проблематика» научного познания тесно увязана с философским анализом сложившейся эпистемологической системы. Поэтому вопросы об «онтологии» ставятся как вопросы о существовании или статусе существования изучаемых наукой объектов: являются ли они такими, как их описывает наука, существуют ли те объекты и иные сущностные структуры (механизмы, закономерности), которыми оперирует наука, и если существуют, то в какой реальности (объективной или теоретической). В целом ли верна картина той реальности, которую изучает наука, и если нет, то какова она на самом деле (и возможно ли в принципе получить такое описание/представление)? Иными словами, можно ли описать «экономическую систему саму по себе», вместо того, чтобы подменять ее неким «искусственным» (сконструированным) представлением о ней, которое в силу тех или иных причин приобрело/имеет объективную или коллективно-субъективную значимость?

Однако помимо философских проблем есть собственно и научные проблемы научно-реализуемых онтологий, которые имеют целью выявление и проблематизацию оснований и ключевых предпосылок конкретных научных традиций или

теорий в данной науке. Здесь важным является вопрос о соотношении описания мира теорий (корпуса теоретических знаний) и реальности (объектов), в частности об адекватности, правдоподобности, полноте подобных описаний, существующих в данной системе знания. В чем разница сугубо философского и конкретно-научного подхода к проблематике онтологии? В первом случае ставится вопрос об онтологии науки как таковой, в нашем случае об *онтологии экономической науки*. Решение первого вопроса с неизбежностью влечет за собой обсуждение ключевых эпистемологических проблем науки. Во втором случае нас интересует собственно *экономическая онтология*, т.е. ее содержание, концептуализация, развитие и т.п. Остановимся на этом подробнее, опираясь на результаты проделанного в предыдущем разделе анализа. В научном знании (как оно сложилось в Новое время) ключевой интуицией при работе с реальностью (природой, субстанцией, объектами) является идея «мира-объекта». Эта идея подразумевает представленность мира познающему сознанию, имеющему больший онтологический приоритет (в том смысле, что в его существовании мы точно не сомневаемся), нежели мир, доступ к которому принципиально опосредован нашим восприятием, познавательной деятельностью (для мира быть значит «быть воспринимаемым», «быть познаваемым») <sup>31</sup>. Отсюда «мир—объект», которым оперирует конкретная наука, — это система представлений, должна достоверно или объективно (т.е. буквально соответствуя объекту <sup>32</sup>) репрезентировать тот или иной фрагмент мира, существующий независимо от нас, и/или же его сущностные черты (универсальные законы).

Из идеи о мире-объекте вытекает две возможные стратегии в отношении к вопросу о том, что изучает та или иная конкретная наука. Их условно можно обозначить как нату-

---

31. Эту характеристику сознания как всеобщего онтологического основания точно подмечает Хайдеггер: «меняется вообще существо человека и человек становится субъектом. Это слово *subjectum* мы должны понимать, конечно, как перевод греческого *υποκειμενον*. Так называется под-лежащее, то, что в качестве основания собирает все на себе» (Хайдеггер 1993. С. 48).

32. См. об этом (Daston, Galison 2007).

ралистическую (реалистическую, объективистскую) и гносеологическую (репрезентационную, конструктивистскую). В первом случае нас занимает сам объект, т.е. мы движемся от объекта к знанию — или более сложная схема: от объекта через представление к знанию. В этом случае онтология связана с указанием на объект (нечто существующее независимо от нас) или более усложнённое представление: знание опирается на объективированные представления (онтологические структуры) о некотором фрагменте реальности. Во втором случае мы движемся в противоположном направлении: от активности субъекта (от знания) к объекту. С помощью имеющихся систем знания в теории конструируются объекты (а точнее объективированные фрагменты представления), которые затем проецируются на тот фрагмент реальности, который изучает данная наука или даже могут онтологизироваться, т.е. мыслиться как действительно существующие, относящиеся к исследуемому наукой фрагменту реальности или к ее существенным (сущностным) особенностям (закономерностям). В итоге с точки зрения понимания того, что обозначается как «онтология» в науке, т.е. что такое онтологические основы научного знания (научно-реализуемая онтология), а не философская онтология, мы будем иметь:

- онтологию как систему представлений (знаний) о ключевых объектах или фундаментальных характеристиках (свойствах, структурах, механизмах и т.п.) фрагмента реальности, изучаемого данной наукой;
- онтологию как способ порождения (конструирования) тех или иных репрезентаций объекта в какой-либо системе знания, которые могут наделяться разным статусом существования — некоторым образом отражают изучаемый фрагмент реальности либо могут существовать только в теоретической реальности.

Обратимся теперь к разработке «онтологической проблематики» в методологии экономической науки. В современной литературе по этой теме можно встретить несколько подходов, однако подавляющая часть исследований интересуется



собственно экономической онтологией. Более философский вопрос об онтологии самой экономической науки в основном поднимается в дискуссиях о «засилье формализма», что, по нашему мнению, вполне закономерно, поскольку, как мы отмечали выше, математические и исчисляюще-измеряющие (эконометрические) средства стали основным способом репрезентации объекта в мейнстриме (см.: (Lawson 2003; Ward 1972; Blaug 1997)). Это с неизбежностью приводит к все большему удалению из экономической теории содержательных задач и разрыву между экономической теорией и практикой. Подобной позиции, в частности, придерживается М. Блауг. С наибольшим радикализмом же данную тему поднимает Т. Лоусон и его единомышленники, которые поставили сам вопрос о применимости математических методов в экономическом анализе с онтологической точки зрения. По мнению Т. Лоусона, господство формальных методов в ортодоксальной экономической теории приводит к принципиально неадекватному отображению событий реального мира, а также к конструированию «закрытых» систем, тогда как экономика, будучи социальной сферой, принципиально открыта, в ней, как правило, «отсутствуют постоянные связи между событиями» (Lawson 1997. Pp. 16–20).

С первой частью тезиса Т. Лоусона в целом нельзя не согласиться. Однако его выводы весьма радикальны: существует общее и неустранимое несоответствие между формальными моделями и реальностью. Из этого следует, что этот исследователь придерживается той позиции, согласно которой логические или математические конструкции полезны только тогда, когда они становятся неким отображением реальности на уровне событий. По-видимому, Т. Лоусон здесь неявно исходит из предпосылки о том, что теория должна *непосредственно отражать* реальность. Это неудивительно (хотя Т. Лоусон мог бы это критически осмыслить), поскольку, как мы видели, из анализа развития онтологии подобные представления закономерно вытекают из интуиции о мире-объекте, которая воспроизводится самой эпистемологической

структурой науки, несмотря на то что с XVII—XVIII вв. наука значительно усложнилась. Если научная теория действительно бы напрямую отражала реальность, то она бы принципиально не смогла бы развиваться, подобное положение дел исключает всякую *самостоятельную* познавательную активность субъекта. Мы считаем, что особенность теории мейнстрима в том, что в ней сформировался *промежуточный слой формальной онтологии (созданной средствами прикладной математики), который опосредует экономическую онтологию* (а на современном этапе уже почти полностью заменяет ее). Этот слой позволяет экономической теории соотноситься прежде всего с математической реальностью, и уж только затем с предметной экономической реальностью. Увеличение арсенала используемых прикладных средств матаппарата, а также крайнее усложнение формальных техник, привязанных к соответствующим математическим теориям, тянут за собой соответствующие ходы рассуждений, которые начинают занимать центральное место.

В результате в современном ортодоксальном мейнстриме экономические построения зачастую соотносятся уже только с некоторой прикладной математической реальностью, которая затем интерпретируется как экономическая с помощью таких универсальных категорий, как «рынок», «равновесие» и пр. Это, в свою очередь, приводит к тому, что для последующих поколений экономистов этого направления теоретическая деятельность сводится исключительно к моделированию идеализированных экономических процессов. Но если теория всегда хоть как-то репрезентирует реальный мир, то модель часто может выражать конструкции логически возможных миров. В результате большинство современных моделей носят принципиально частный (во всех смыслах) характер, поскольку *являются репрезентациями теории*, которые служат либо для ее дальнейшего упрощения, либо, напротив, для ее расширения (Morgan, Morrison 1999). Отсюда и возникает чувство (эффекты) нереалистичности современной экономической теории, полного отсутствия у нее связи с экономи-

ческой реальностью, а также ее практическая неприменимость. С другой стороны, методология экономической науки склоняется к чисто конструктивистским идеям, полагая, что вопрос об экономической онтологии должен ставиться лишь как вопрос об онтологии теоретической реальности или об онтологии моделей. Что касается проблемы закрытости онтологической конструкции ортодоксальной теории (тогда как социальный мир принципиально открытая система), то эти идеи Т. Лоусона встретили серьезные возражения, в частности со стороны Дж. Ходжсона. От себя добавим, что проблема не в том, что мейнстрим занимается закрытыми системами, как полагает Т. Лоусон и с чем не соглашаются его критики. Конструктивно научная теория сама себя выстраивает как система, которая стремится в принципе замкнуться, поскольку именно подобная замкнутость (в логическом смысле) обеспечивает ее целостность. А это, в свою очередь, позволяет создавать новые теоретические конструкции, остающиеся *внутри* созданной предметной области и взаимосогласованные с предшествующими понятиями данной теории. Более того, подобное замыкание, как правило, осуществляется с помощью наиболее абстрактных или идеализированных конструктов<sup>33</sup>. Возможно, что подобную функцию в математизированной теории мейнстрима выполняет понятие «равновесие».

В свою защиту Т. Лоусон попытался ввести различие процедур «абстрагирования» и «изоляции», отмечая, что «есть колоссальная разница между тем, чтобы на время отвлечь внимание от чего-либо и отношением к этому как к несуществующему» (Lawson 1997. P. 236). По мнению Дж. Ходжсона, Т. Лоусону нужно это различие лишь для того, «чтобы не допустить использования предпосылок закрытости в своем методе абстракции; поскольку абстракция в отличие от изоляции не предполагает закрытости» (Ходжсон 2006. С. 114). Тем не менее, нам кажется, что это различие может быть

---

33. На это в частности, Т. Лоусону указывает С. Нэш см. (Nash 2004).

продуктивно как раз с онтологической точки зрения: любая онтология предполагает совокупность как существующих, так и не существующих — т.е. принципиально не могущих существовать — в ее универсуме объектов. Так, к примеру, в теории рационального выбора не может существовать какое-либо нерациональное существо (например, предприниматель, длительно продающий построенные его компанией дома по цене ниже себестоимости только лишь с целью разорить своего конкурента, продающего такие же дома в этом же районе по рыночной цене). Оно исключается из универсума теории, не потому что мы исходим из посылки, что большинство людей рациональны, а потому что нерациональное существо будет *разрушать онтологию* данной теории, поскольку неизбежно будет конфликтовать с ее ключевым персонажем — «рациональным субъектом», максимизирующим полезность. Позиция Дж. Ходжсона в том ее аспекте, который затрагивает проблемы онтологии экономической науки, заключается в том, что формальный анализ и моделирование может быть весьма продуктивно, когда речь идет о теоретической критике изнутри, а также об эвристических изысканиях. Такие эвристики могут оказаться полезными «и без точных прогнозов или приближения полученных значений к реальным данным». Их цель — «породить сегмент причинно-следственной ткани, не давая адекватного реальности или полного объяснения феноменов, к которым она относится» (Ходжсон 2006. С. 117–118).

Р. Сагдэн, исследуя тот же вопрос о реалистичности моделей в экономической теории, обозначает подобные эвристичные модели, выделяющие значимые закономерности реального мира, как «правдоподобные миры» (*credible worlds*), пригодные для «конструирования индуктивных умозаключений от модели к реальному миру» (Sugden 2000. P. 28). В качестве удачного примера подобного «правдоподобного мира» Дж. Ходжсон приводит модель Шеллинга об этнической сегрегации, которая исходит из упрощенных и малореалистичных предпосылок, однако выявляет «возможный естественный

причинно-следственный механизм», действующий в реальности и при этом никак не связанный с действиями расистов. При этом он отмечает, что усложнение модели (например, включение в нее расистов) сделало бы модель реалистичней, однако бы заслонило собой выявленный моделью альтернативный механизм сегрегации и при этом дало бы те же самые результаты. Таким образом, убедительность этой модели возрастает в силу нереалистичных предпосылок и состоит в способности выделить правдоподобный причинно-следственный механизм. Мы полагаем, что подобный способ позитивного решения Р. Сагдэном и Дж. Ходжсоном проблемы реалистичности моделей несколько наивен. Получается, что достаточным условием установления характера отношения модели к реальности является ее способность что-то интерпретировать, что в ее результаты возможно вложить некий смысл, содержание. Таким образом, речь идет о том, что модель может быть признана реалистичной (обнаруживающей причинно-следственный механизм некоего явления), поскольку она в принципе что-то объясняет и делает это правдоподобно с точки зрения (с позиции) экономиста-теоретика. Более того, реалистичность здесь приравнивается к обнаружению причинно-следственных отношений (как того и требует естественнонаучный способ мышления). По факту установления этих отношений происходит онтологизация объяснительной схемы, которая становится самостоятельной.

Зададимся вопросом, а зачем вообще нужна теория, которая просто обосновывает закономерности реального мира или что-то правдоподобно объясняет ученым. Очевидно, что это необходимо, но отнюдь не достаточно. Поэтому когда мы говорим о *реалистичности* теории (модели), мы прежде всего подразумеваем их *онтологическую сопоставимость* с более прикладными теориями, вплоть до онтологий, продуцируемых практиками бизнеса и государственного управления. Рассмотрим это на примере модели Даймонда-Мортенсена-Писсаридеса (DMP), которая используется для оценки влияния на рынок труда таких факторов, как, напри-

мер, пособия по безработице (Дементьев 2011). Эта модель претендует на обнаружение реальных механизмов безработицы (не делая различий между структурной и циклической безработицей) и практические выводы (в частности, из нее следует, что пособия по безработице, улучшение страхования безработицы и усиление возможности трудящихся защищать свои интересы приводят к сокращению числа вакансий и росту безработицы). В этой связи в рамках нее проанализирована «кривая Бевериджа», которая показывает, что рынок труда в разное время стремится к двум исходным точкам: высокая безработица и малое количество вакансий, с одной стороны, и низкая безработица и большое количество вакансий – с другой. DMP-модель уточняет, что бывают ситуации, когда возможно и увеличение безработицы, и увеличение количества вакансий. Заметим, что вывод чисто логический. Как он интерпретируется на реальность? По мнению создателей модели, увеличение обоих параметров – это результат того что поиск работы и согласование кандидатуры работника стали занимать больше времени. Почему это происходит? Потому что «более щедрые пособия по безработице приводят к ее росту в целом и к увеличению продолжительности времени, которое человек тратит на поиск работы» (Mortensen, Pissarides 1994). Заметим, что подобная интерпретация неочевидна. Можно, например, сказать, что щедрые пособия по безработице стимулируют ряд безработных, в том числе мигрантов, вовсе не работать. Однако даже если мы принимаем эту интерпретацию, то практическим следствием из нее по идее является необходимость сокращения размера пособий. Приведет ли это действительно к сокращению безработицы (какого ее вида)? К примеру, в условиях мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. ирландское правительство ввиду огромного дефицита бюджета тотально урезало социальные программы, включая пособия по безработице. Поспособствовало ли это снижению числа безработных в этой стране, особенно если учесть, что до кризиса большая их часть была занята в тех отраслях и сфере услуг, которые практиче-

ски полностью «схлопнулись»? Защита модели от подобных вопросов с неизбежностью выявит, как минимум, ее *неуниверсальность*. Однако, по-видимому, реальная заслуга этой модели заключается в другом. В ней найден способ скорректировать классическое представление мейнстрима о том, что спрос и предложение на рынке находят друг друга сразу (без временного интервала), что в реальности никогда не наблюдается (Кошовец, Фролов 2013).

В этой связи обратим внимание на еще один важный аспект проблемы онтологического несоответствия между формальными моделями и реальностью, поднимаемый Дж. Ходжсоном. Он верно отмечает, что выяснение интерпретативного контекста модели играет чрезвычайно важную роль в анализе проблем формализма и соответствия моделей реальности в экономической теории. Однако, по его мнению, проблема экономических моделей не в доминировании формальной техники, а в неадекватности и недоразвитости интерпретативного контекста, в который они помещены (Ходжсон 2006. С. 119–120). Мы считаем, что развитие интерпретативного контекста вряд ли решит проблему соответствия моделей реальности. Во-первых, в его создании и развитии обычно не заинтересованы сами «модельеры» в силу расстановки ценностных и институциональных приоритетов в их деятельности. Кроме того, экономическое образование, нацеленное преимущественно на овладение прикладными математическими техниками, игнорирует содержательное изучение экономики (прежде всего, фундаментальное изучение истории экономики) и не способствует развитию этих навыков. Во-вторых, есть и более серьезное возражение: само различие формальной репрезентации и интерпретативного контекста, на которое указывает Дж. Ходжсон, отнюдь не только эпистемологическое, но также и онтологическое. Это значит, что по сути мы будем иметь *две различные* онтологии — онтологию интерпретации и формальную онтологию модели (которая также опирается на некоторые экономические интуиции, т.е. экономическую онтологию). Более того,

эти две онтологии могут иметь полное или частичное несоответствие. По идее интерпретационная (содержательная) онтология как раз должна соотносить модель с экономической реальностью и препятствовать развитию ситуации, когда модель соотносится только с формальной (математической) реальностью. Однако выше мы отмечали, что в теориях мейнстрима формальная онтология *опосредует, но не заменяет* собой экономическую онтологию, поскольку математический аппарат используется в экономической теории инструментально. В результате этого теоретическое построение сначала соотносится со специфицированной математической реальностью и через нее, в конечном итоге, с экономической. Экономическая онтология в данном случае опирается на некоторые практические интуиции, а также предпосылки и теоретический каркас, сформированные в той или иной научной традиции. Таким образом, даже самая абстрактная модель так или иначе имеет некоторые содержательные интуиции, относящиеся к данной науке и изучаемому ею фрагменту реальности.

При введении интерпретативной онтологии эта конструкция только усложняется. Из чего будет исходить интерпретация? Очевидно, что не из исходных содержательных интуиций той или иной модели, а из тех задач, которые поставит в отношении той или иной теории или модели ее интерпретатор – а им может быть не только ее создатель, но даже ученый из другой науки. Например, мы можем соотносить данную модель с некоторыми новыми эмпирическими данными или применить ее для моделирования других экономических, или даже неэкономических проблем (как это произошло, например, с DMP), или переинтерпретировать с ее помощью классиков, некоторые предпосылки которых лежат в основании нашей модели (или в научной традиции, на которую она опирается), с целью получить общее непротиворечивое онтологическое построение. В результате модель получит некоторую содержательную трактовку, но будет ли она иметь отношение к исходным онтологическим



интуициям, лежащим в основании модели? Также следует отметить, что синтез экономической и формальной (созданной средствами прикладной математики) онтологий привел к *фрагментации* онтологии экономической теории, в результате чего *целостность теории создается математическим аппаратом*. В результате возможно создание противоречивых онтологических картин даже в рамках одной школы или теоретического направления. Кроме того, интерпретация по самому своему определению возможна только в отношении содержания, но не формы. Таким образом, все, что она может сделать для ультраформализованных моделей, это поставить их в широкий контекст тех теорий и их предпосылок, в развитие которых они были созданы. В целом же, если решать проблему отношения теории с реальностью лишь за счет интерпретации, это значит замыкать ее на анализ отношений модели с теоретической (текстовой) реальностью. Тогда как собственно экономическая реальность будет выводиться за скобки, как это и предполагается субъектно-лингвистической концептуализацией онтологии, о которой мы говорили в предшествующем разделе. Это тем более будет неизбежно, когда интерпретативный слой разрастется и станет самодостаточным — тогда одна интерпретация может применяться к нескольким различным моделям. Как мы тогда будем оценивать, которая из них верная (и уж тем более практически применимая)?

Концептуально тема экономической онтологии, т.е. вопрос о реалистичности самой существующей конструкции описания экономического мира, разрабатывается в основном представителями «критического реализма» (Archer 1998; Арчер 1999; Бхаскар 1991; Аутвейт 1991). Следует отметить, что критический реализм вписывается в онтологический поворот в философии в том смысле, что пытается разработать учение о сущем (бытии), которое должно *предшествовать* решению эпистемологических проблем. В этой связи в рамках критического реализма проблемы экономической науки фактически помещаются в широкий контекст философских

дискуссий, имеющих длительную историю. Речь идет о том, как общественная наука может концептуализировать «социальное». Либо она ориентируется на естественные науки (натурализм/эмпиризм), полагая, что «социальное» должно быть эмпирически реальным, тогда предметом научного познания являются социальные «элементарные частицы» (простейшие события или действия отдельных индивидов), либо опирается на специфические методы наук о духе, т.е. понимает «социальное» как трансцендентально идеальное (существующее в общезначимом духовном/ментальном универсуме) или субъективно-конструируемое (существующее лишь в сознании индивидов или в их интеракции). Хорошо видно, что за этой дилеммой стоит фундаментальная предпосылка об обособленности двух родов бытия: объекта и субъекта, неизбежно ведущая к редукции онтологии к эпистемологии, вопросов о бытии к вопросам о познании бытия (а познавать можно, поскольку нечто, существующее реально, поддается эмпирическому наблюдению и фиксации).

В таком аспекте «критический реализм» выступает как некая философская доктрина, стремящаяся предложить общественным наукам адекватную социальную онтологию, отказавшись при этом от ключевой онтологической интуиции естественных наук и позитивистской методологии об упорядоченности событий причинно-следственными связями и о том, что только эмпирически данное и есть реально существующее. Предлагается учение об иерархии реального, действительного и эмпирического, где реальное — это тот уровень бытия, который существует не зависимо от субъекта и его активности, в этом смысле он остается неизменным (Lawson 1997. Pp. 21–22). Поскольку реализм мыслит себя в качестве онтологии, понимаемой как «исследование природы бытия в целом и природы изучаемых наукой объектов, в частности» (Лоусон 2006. С. 85), то можно сказать, что *его целью являются сущности, лежащие за уровнем мира объектов.*

Таким образом, здесь просматривается первоначальная трансценденталистская установка онтологии как учения

о сущем и сущностях, противостоящая установке на сведение сущего к причинно-следственным отношениям и эмпирически наблюдаемым объектам. Действительно, задача общественных наук формулируется как постижение социальной реальности на ее глубинном уровне, т.е. на уровне имманентно присущих ей и не наблюдаемых субъектом структур, механизмов, законов. Выявление подобных механизмов создает предпосылки для рефлексивного критического отношения к ним и открывает возможности для их трансформации. С этих позиций представители критического реализма критикуют методологический индивидуализм, утилитаризм, либеральную политическую теорию и собственно опирающуюся на эти идеи неоклассическую экономическую теорию. Таким образом, данная философская позиция выполняет критическую функцию, т.е. позволяет проблематизировать основания ортодоксального мейнстрима. Однако какова позитивная программа этого направления и как оно может помочь решить сугубо научные проблемы? Эти вопросы отчасти пытаются решить Э. Кольте, считающий, что критический реализм может обосновать теорию К. Маркса о тенденции средней нормы прибыли к понижению<sup>34</sup>, и сам Т. Лоусон, занимающий более сложную позицию.

Т. Лоусон ставит проблему экономической онтологии (являющейся частью более общей социальной онтологии) — как проблему необходимости создания учения о фундаментальных структурах экономической реальности, которое призвано заменить собой нереалистичную онтологию ортодоксального мейнстрима и тем самым вывести экономическую теорию из кризиса. В такой перспективе онтологический анализ позволяет, исследуя устройство экономической реальности, не только указать на тупиковые пути в развитии науки (методы познания, которые не соответствуют природе изучаемой реальности), но также прояснить, с какими базовыми

---

34. См. (Collier 1989), а также работу, в которой обсуждается возможность обоснования с помощью критического реализма пост-кейнсианских теорий (Walters, Young 1999).

структурами и механизмами имеет дело экономическая теория (Lawson 1997. Рр. 267–268). В этой связи Т. Лоусон пытается четко отделить свой подход к онтологии от того, что он именуется «онтографологией» (или «опологией»<sup>35</sup>) – изучением бытия, редуцированного к изучению онтологических предпосылок теорий. В этом случае онтология сводится к эпистемологии, а задача ученого описывать и репрезентировать. По его мнению, онтологическая задача состоит в том, чтобы построить социальную онтологию (экономическая является ее частным случаем), исходя из понятий, правил, открытости/закрытости социальных систем, их структурности и многоуровневости (Lawson 2004). В своих работах он и пытается решить эту задачу, однако, как нам представляется, спотыкается на вопросе о том, можно ли на основе подобной онтологии разработать конкретную экономическую теорию или исправить, скорректировать недостатки имеющихся. Тут выясняется, что критический реализм выполняет для экономической науки не онтологическую, а, по сути, *методологическую функцию* – т. е. он позволяет отказаться от тех или иных теоретических положений и оставить лишь те, что согласуются с данной философской доктриной. Таковые будут в основном из области экономической социологии или социально-исторического анализа конкретных экономик. Так, по мнению Т. Лоусона, нельзя утверждать, что критический реализм обосновывает какую-то теорию или концепцию, наоборот, можно лишь указать концепции, которые иллюстрируют данное философское направление (в качестве иллюстрации он приводит свои идеи о причинах промышленного упадка в Великобритании в XX в.) (Lawson 1997. В особенности Рр. 247, 256, 326). Таким образом, созданная Т. Лоусоном экономическая онтология, «провисает» и при решении задачи *отбора* реалистичных экономических теорий. Иначе говоря, она оказывается полностью замкнутой в философском дис-

---

35. Термин составлен из слов «ор» (сокращение от ontological presupposition – онтологические предпосылки) и «logos» – изучение.

курсе и в результате этого способна выполнять лишь критическую и методологическую функции. Между тем, «чистую теорию» мейнстрима можно проблематизировать и с других философских позиций. Получается, что в плане конечного результата задача построения реалистичной экономической онтологии не слишком сильно отличается от онтографологии и опологии, поскольку во всех случаях, хотя и по-разному, мы можем выявить нереалистичные идеализации, которые существуют в мышлении и в дискурсе исследователей. Кроме того, решение онтологического вопроса неявно оказывается обусловленным эпистемологическими интуициями, вытекающими из естественнонаучной парадигмы. В этой связи, например в русле традиционных философских амбиций, критический реализм претендует на то чтобы быть универсальным методом оценки причинно-следственных объяснений в экономике. В частности, реалистичные объяснения должны выдвигать такие факторы, которые были бы «каузально эффективны, достаточны и значимы в смысле причинно-следственных связей» (Runde 1998. P. 165). Могут ли быть реально использованы подобные критерии? И чем они в данном случае отличаются от претендующих на универсальность антиисторичных объяснительных схем, которые лежат в основе теорий мейнстрима, ориентирующегося на эпистемологические идеалы математизированного естествознания? В защиту критического реализма здесь можно сказать, что некоторые его представители осознают, что никакая философия не может порождать научные теории или политические стратегии *сама по себе*. Кроме того, критики мейнстрима всегда оказываются в позиции Дон Кихота, в одиночку противостоящего теоретической традиции, имеющей более чем столетнюю историю, — в этой ситуации они могут опереться либо на теоретические разработки, условно говоря, домаршаллианского и маржиналистского поворота (а эти теории описывают экономику XVII — середины XIX в.), либо на какие-то внешние экономической теории концептуализации (социологические, философские и т.п.).

Как показывает общий анализ литературы и ряда ключевых дискуссий, посвященных онтологическим проблемам экономической науки, доминирующее положение занимает эпистемологический ракурс рассмотрения вопросов онтологии, также имеется зависимость (явная или неявная) от постпозитивистской философии и методологии науки. В частности, обсуждение темы формализма в экономической теории ведется преимущественно в эпистемологическом ключе, что в частности, облегчает поиск аргументов в защиту той или иной модели, поскольку вопрос ее реалистичности замыкается в рамках вопроса о ее объяснительных, инструментальных, описательных достоинствах для экономистов. Между тем, онтологический ракурс позволил бы поставить те же вопросы сквозь призму анализа онтологической структуры некоторой теории или модели. Например, выявить степень абстрагирования предпосылок той или иной общей модели, на каком этапе они начинают дополняться более конкретными предпосылками (под решение той или иной задачи) или корректироваться дополнительными предпосылками (возможно, и из другой онтологии). Насколько все эти предпосылки между собой совместимы, и проверяется ли вообще их совместимость. Наконец, можно поставить вопрос о различении формальной онтологии модели и онтологии ее интерпретации в практической плоскости. Например, консультант обосновывает свои советы той или иной теорией или моделью, но то, на что он указывает, возможно, и не существует в онтологии этой модели, а лишь в одной из ее множества интерпретаций. Онтологический угол зрения позволяет оценить реалистичность и практическую ценность таких конструктивистских идей как, например, предложение Р. Лукаса. Он специально не занимается проблемами экономической онтологии, однако в поддержку ортодоксального мейнстрима высказал идею создания искусственных экономических систем, которые могут служить в качестве лабораторий, где можно тестировать различные варианты экономической политики. В защиту этой идеи он высказывает сообра-

жение, что теоретическое тестирование обойдется обществу значительно дешевле, нежели эксперименты над реальной экономикой (Lucas 1980. P. 696). Представляется, что Р. Лукас здесь фактически предлагает онтологизировать существующее модельное ядро мейнстрима<sup>36</sup> и фактически проверять *объективную реальность* на соответствие *искусственной реальности* (объективированных выводов теории), а не наоборот. Но насколько корректен такой «экспериментально-инженерный» подход в социальных науках? Представляется, что в истории уже был подобный эксперимент — реализация идей так называемого Вашингтонского консенсуса, в рамках которого были сформулированы исходящие из классического мейнстрима универсальные правила экономической политики для стран Латинской Америки, приведшие в целом к плачевным результатам, в т.ч. и в России (Ананьин, Хаиткулов, Шестаков 2010). Критический реализм, напротив, отдает приоритет онтологии и с этих позиций пытается преодолеть (пост)позитивистский подход к ключевым проблемам экономической науки, а также фундаментальную зависимость онтологии и эпистемологии общественных наук (экономической теории мейнстрима) от ключевых интуиций естественнонаучной парадигмы. Однако собственный онтологический проект критического реализма, предлагаемый экономической науке, также оказывается зависимым от принципиальных онтологических предпосылок математизированного естествознания. В частности, Т. Лоусону не удастся отказаться от причинно-следственных связей, поскольку основной задачей познания социальной реальности у него является поиск «социального воспроизводства каузально-действенных структур» (Lawson 1997. P. 268). Таким образом, он не использует категорию «взаимодействие» между выделяемыми им различными областями социального бытия, у него нет обратного влияния внутри слоев (оно линейно).

---

36. Под онтологизацией мы тут имеем в виду процесс, когда наше представление об объекте, порождаемое нашей познавательной деятельностью, выпадает из нее и прикрепляется к самому объекту (становясь как бы его реально существующей характеристикой).

Пока наилучшие позитивные результаты в сфере содержательного прояснения онтологических проблем экономической науки, реконструкции и оценки конкретных экономических онтологий дают частные онтографические или опологические (по выражению Т. Лоусона) исследования, т.е. изучение онтологических предпосылок тех или иных научных традиций, попытка выделения базовых картин экономической реальности, описание онтологий конкретных теорий. При всей локальности данных исследований они способствуют предметной разработке проблем экономической онтологии и позволяют увидеть, что экономических онтологий много и каждая теория содержит свою онтологию, что они исторически обусловлены, что некоторые онтологические построения сильно зависят от естественнонаучной парадигмы или некритически заимствованы из естественных наук (например, биологии или синергетики), что ряд онтологических схем носит выраженный конструктивистский характер, является репрезентациями теории, что в основе некоторых теоретических построений лежат определенные мировоззренческие установки, онтологизированные «задним числом» (см. подробнее: (Ананьин 2005. С. 44–46, 76–113, 137–140; Mair, Miller 1992)). Однако подобная работа имеет существенные ограничения – в частности, она, как правило, сосредоточена на выделении категорий, их описании и каталогизации. При этом слабо осознается тот факт, что наука работает с *системой* взаимосвязанных положений теории, ее выводов и приложений, а не с отдельными элементами (для функционирования научной теории принципиально важны именно связи и отношения между категориями, между понятиями, между отдельными положениями и *их тун*). Именно подобные связи образуют онтологический каркас теории и обеспечивают ее возможности к самокоррекции и развитию. Причем сами указанные связи в гораздо большей степени реализуются в практике ученых, работающих с этой теорией, нежели эксплицитно прописываются в текстах и моделях, ее описывающих. При этом одной из проблем



общественных наук, которая, в конечном счете, вытекает из дуализма бытия и сознания и редуцирования социального к ментальному (или иногда к физическому), является *отсутствием общепринятых* адекватных средств репрезентации, а также практика онтологизации теоретических конструктов, понятий и концептов<sup>37</sup>. В экономической науке эта проблема серьезно усиливается в виде превращения дисциплины в территорию формальных онтологий.

## 2. Экономическая наука как территория формальных онтологий

В предыдущих главах мы рассмотрели основные «реперные точки» в процессе математизации и формализации экономической науки с методологической точки зрения, с целью, во-первых, зафиксировать *сдвиг объекта* исследования экономики, превращения его из естественного в искусственный (сконструированный), а во-вторых, понять, как стало возможным превращение дисциплины в «ящик с инструментами», игнорирующий проблему нереалистичности моделей. Этот анализ позволяет нам сделать вывод о том, что постепенная адаптация экономической науки к естественнонаучным стандартам и усиление процессов квантификации экономического знания привели к тотальной формализации теоретического слоя знания и как следствие к последовательному замещению субстантивных (содержательных) предметных онтологий формальными. Далее мы рассмотрим следствие этих изменений и начнем с формальных онтологий. Под «формальными онтологиями» здесь мы будем понимать такие онтологии (системы представлений в знании), которые *создаются формальными, прежде всего математическими сред-*

---

37. Здесь следует отметить, что онтологические структуры знания — *результат действий коллективного субъекта*. Часть таких структур создается до и помимо конкретного ученого в рамках некоторой предметной области, где они со временем объективируются в рамках той или иной научной традиции, научной или образовательной практики. У некоторых ученых это может породить иллюзию, что подобные структуры (например, спрос и предложение) объективно существуют в экономической реальности (тогда как они существуют лишь в теоретической реальности и в коллективной мыслительной практике). См.: (Щедровицкий 1996).

ствами (т.е. подразумевают формализованный, символичный, неестественный язык<sup>38</sup>), и в которых конституирование объектов задается операциями (структурными отношениями, функциями), а не наоборот (к примеру, «число — это инвариант всех вычетов»<sup>39</sup>). Иными словами, первичными для таких онтологий являются отношения, которые выводятся как инвариантные и задают возможные в рамках этих отношений *типы* объектов. Таким образом, формальная онтология всегда описывает *структуру*, и в конечном счете предполагает формальную устроенность любых систем представлений (описаний определенного среза или фрагмента реальности), т.е. набор правил, ограничивающий структуру фрагмента

- 
38. Ср. с идеями А. Бадью (Badiou 1988) о математике, как о языке, единственно способном структурно задать онтологию.
39. Мы основываемся преимущественно на философской (феноменологической) традиции интерпретации термина «формальная онтология», который также широко используется в компьютерных науках. Общим для этих интерпретаций является идея существования общей, универсальной *структуры* мира, однако во втором случае, следуя идеям логических позитивистов, и в частности, Р. Карнапа, она дополняется верой в возможность отображения этой структуры с помощью *специально созданного языка* (как мы отмечали в предыдущей главе, в параграфе, посвященном структурализму как общенаучному движению, в рамках логической программы обоснования математики, которую развивали Б. Рассел и А. Уайтхед, математика предстает как универсальный логический язык науки). Э. Гуссерль (Гуссерль 1999), введший само понятие «формальной онтологии», выделяет ее в рамках базисного для него различения формальной логики и формальной онтологии. Первая имеет дело с взаимосвязями истин (пропозициональных значений в общем случае), вторая с *взаимосвязями* вещей (т.е. она обобщает в себе все материальное многообразие). Подобно тому как формальная логика имеет дело с отношениями выводимости, которые формальны в том смысле, что они применимы к выводам в силу лишь одной своей *формы*, так и формальная онтология имеет дело со *структурами и отношениями*, которые формальны в том смысле, что они *экземплифицированы* объектами всех областей реальности, т.е. «скрывает в себе формы всех возможных онтологий вообще (всех "настоящих" "материальных" онтологий)» (Там же. С. 20). Схожие представления имеются у учителя Э. Гуссерля Ф. Brentano. В рамках концепции «дескриптивной онтологии» он вводит идею таксономии различных видов конституэнт в данной области и различных форм отношений между этими конституэнтами. В свою очередь, Н. Коккьярелла (Cocchiarella 1974), не основываясь, как Э. Гуссерль, на мереологии, а следуя аналитической традиции, акцентирует *средства построения* формальной онтологии. Последняя предстает как теория бытия с точки зрения формальной логики, сформулированная в рамках и на языке формальных теорий (Васюков 2006. С. 305–306). В целом понимание нами «формальной онтологии» опирается на условно говоря, субъекто-лингвистическую (а не классическую субстанционалистскую) трактовку «онтологий», в рамках которой онтология знаменует собой внимание к проблемам репрезентации мира в знании, к самому языку, с помощью которого мы описываем мир и которым в принципе опосредован наш подступ к миру. В рамках данной интерпретации онтология также увязывается с теорией значения и референции (см.: Кошовец, Фролов 2013)).

реальности. При этом в рамках формальных онтологий мы имеем дело только с *типами* объектов, ключевыми особенностями которых являются инвариантность и, как следствие, универсальность, «формальное – это некая высшая форма, подчиняющая и обобщающая в себе все материальное многообразие» (Штанько, Добровольская 2008. С. 171).

Как мы отмечали в предыдущей главе, в модели Эрроу–Дебре создается парадигмальная для экономической науки формальная онтология, в рамках которой теория общего экономического равновесия Л. Вальраса преобразуется в самодостаточную формальную структуру, как того требует бурбакизм, в результате чего возникает новый объект (логически возможный мир) «абстрактная экономика». В своей модели К. Эрроу и Ж. Дебре вводят четыре основных допущения, образующих «основные онтологические конструкты» доказываемой ими теоремы. Все они формируются в рамках формальной онтологии, задавая формальные типы объектов и отношений<sup>40</sup>:

- «замкнутость» и «выпуклость» множества производственных планов, «принадлежность нулевого вектора» этому множеству, антисимметричность ненулевых векторов производственных планов по отношению к умножению на  $(-1)$ ;
- «замкнутость, выпуклость и ограниченность снизу» множества векторов потребления;
- три относительно самостоятельные формулировки: 1) «непрерывность функции полезности» на множестве векторов потребления, 2) для каждого из потребителей «отсутствия вектора потребления», обладающего максимальной полезностью, 3) «выпуклость функции полезности» на множестве векторов потребления;
- «существование вектора потребления» по всем продуктовым позициям меньшего, чем вектор начальных

---

40. При описании «абстрактной экономики» Эрроу–Дебре мы использовали анализ онтологических конструктов, проведенный в работах А. Чусова. См.: (Чусов 2008; 2012).

запасов каждого потребителя, «нормирование на единицу» каждой строки матрицы  $\alpha_{ij}$  коэффициентов «дохода»  $j$ -ой производственной единицы от продажи своих продуктов  $i$ -му потребителю (Arrow Debreu 1954. Pp. 267–270).

После этого приводится содержательная интерпретация вводимых конструкций на основе обращения к таким понятиям экономической науки, как «производство», «потребление», «спрос», «выбор», «предпочтения» и т.п. Вслед за этим фиксируются основные условия существования конкурентного равновесия в терминах функции, зависящей от векторных величин (Ibid. Pp. 268–271): максимизация скалярного произведения производственных планов и цен, максимизация полезности на потреблении, при условии учёта запасов и цен, положительность вектора цен и его нормирование на единицу, условия неравенства, накладываемые как на вектор превышения спроса над предложением, так и на скалярное произведение вектора цен и вектора превышения спроса над предложением. На введенной основе формулируются доказываемые утверждения о существовании конкурентного равновесия в контексте принятых допущений и формулируется «лемма об абстрактной экономике» (Ibid. P. 274). Модель «конкурентной экономики» строится через формализацию единственного экономического мотива, введенного в модели — получения каждым участником рынка максимальной прибыли от всех покупок и продаж продуктов (в т.ч. труда, с учетом вкладов и потребителей, и производителей). В рамках экономической интерпретации этой формализованной структуры мы получаем теорию максимизации денежного богатства. Следует особо подчеркнуть, что Эрроу и Дебре систематически изменяют *экономические интерпретации* содержания формул своей модели, основанные на неоклассической традиции, идущей от Л. Вальраса<sup>41</sup>. Это делается

---

41. Так, существенным допущением является то, что на введенном абстрактном конкурентном рынке всеми участниками одновременно торгуются все возможные продукты, при условии, что для каждого участника торгов собственный запас каждого продукта превышает набор,

с целью сформулировать *уравнения, имеющие математические решения* — начиная с введения представления экономических величин вещественными евклидовыми многообразиями или требований выпуклости основных множеств и продолжая вплоть до преобразований абстрактных экономик в ходе доказательств существования. Выбранный Эрроу и Дебре способ формализации в виде математического типа уравнений не единствен. Так, можно было бы представлять экономические величины на дискретных моделях посредством целочисленных конструкций. При этом вся математика модели, заключающаяся в некотором виде вариационного исчисления, имела бы совсем иное содержание и иной вид. Использование вещественных чисел как коэффициентов является идеализацией, существенно меняющей онтологию. Она вводит специальный тип формальной онтологии модели. Подобная онтология позволяет перейти к непрерывным величинам (продуктов, потребления, цен и т.п.), хотя все эмпирически реальные экономические величины являются только дискретными.

В результате «абстрактная экономика» у Эрроу и Дебре представляет собой концепт, который синтезирует все их идеализированные онтологические конструкции в некотором *логически возможном мире*, где только и существует описанное авторами конкурентное равновесие. Оно предполагает линейное логическое время, которое исчерпывается, когда все участники рынка максимизировали свою полезность, т.е. достигли равновесия (достижения состояния максимизации всех векторов полезности). Доказательства теоремы

---

удовлетворяющий его минимальные потребности. Субъекты рынка вступают в обмен только когда предполагают увеличение полезности. Кроме того, модель в случае появления на рынке новых участников претерпевает существенные внутренние преобразования (т.к. меняется размерность базисных векторных множеств). Поэтому она не совместима с появлением на рынке новых товаров, поскольку существенно зависит от предположения о наличии у каждого участника рынка набора всех продуктов (выставляющихся на рынок), удовлетворяющего его минимальные потребности. При этих условиях на рынке принципиально не может присутствовать ограниченная группа участников с уникальным или выделенным (имеющимся не у всех) продуктом (товаром).

и лемм основываются на интуитивном понимании *возможности применения математических средств*, но не на структуре объектной экономической реальности. Соответственно, модель «конкурентной экономики» доказывается как чистая теорема существования, что означает отсутствие каких-либо частных критериев равновесного решения или условий его получения для хозяйствующих субъектов, включенных в реальные экономические процессы<sup>42</sup>. Прямая начальная интерпретация основных формализуемых онтологических конструкций из-за принятых для разрешимости математических средств нереалистичных добавочных допущений не может быть распространена на получаемые в рамках этой модели выводы. Это связано с тем, что модель Эрроу–Дебре существенно основана на идеализированных объектах, причем в ней отсутствуют механизмы перевода идеализированных компонентов в абстрактные. Следовательно, эта модель равновесия может интерпретироваться на экономическую реальность очень *ограничено* и *частично*, а основной результат можно рассматривать лишь в области, очень приближенно отвечающей принятым допущениям<sup>43</sup>.

Таким образом, на примере анализа модели Эрроу–Дебре мы видим, что математический инструментарий выступает основным средством конструирования формальной онтологии, в результате чего создается *логически возможный мир*, населенный типическими объектами с заранее

42. Кроме того, в модели осуществлены запреты на нулевое потребление какого-либо товара, а также введение нового типа товара, естественный возврат к некоторому исходному состоянию (т.е. нет воспроизводства). Поскольку новая «абстрактная экономика» не совместима с предыдущей «абстрактной экономикой», то это принципиально не позволяет вводить в рассматриваемую модель динамику, т.е. изменение количества участников рынка или предметов торговли, в т.ч. и появления новых товаров. При этом одновременная максимизация равновесного вектора цен на разных товарных группах в условиях модели невозможна в силу отсутствия у разных общественных страт одинакового базисного вектора запасов. Разработка и внедрение новых товаров предполагают не совместимые с допущениями модели состояния, и поэтому они не могут быть включены в модель.

43. Например, с рядом оговорок результаты модели могут быть редуцированы к представлению о чисто спекулятивном, локальном и замкнутом рынке, где товары приобретаются не для потребления (как производственного, так и личного), а только для перепродажи.

заданными свойствами, которые взаимодействуют друг с другом по определенным правилам (порождают исследуемые в рамках моделей закономерности (ср. с: (Cartwright 2001)). Какие из этого вытекают следствия как для содержательной интерпретации экономических моделей, так и для развития экономического знания и в эпистемологическом, и в дисциплинарно-институциональном аспекте?

Создание моделей для решения огромного числа прикладных научных и локальных бизнес-задач имеет огромный и постоянно воспроизводимый практический эффект. Между тем, развитие теоретического корпуса экономического знания по пути последовательной математизации превратило экономику в такую «исследовательскую программу, которая движима своей собственной внутренней логикой, где исследователи стремятся понять проблемы, *создаваемые моделями*, которые они используют, а не выводят свои проблемы из наблюдений» (Lipsey 2001. Р. 177, курсив мой. — О.К.). У экономистов, весьма далеких от изучения онтологических проблем оснований математики, само применение математического аппарата вызывает иллюзию доказанности результатов исследования. Однако в действительности использование математических средств гарантирует лишь строгость изложения, но само по себе в принципе не может обеспечить реалистичности принятых посылок и достоверности конечных выводов. Более того, используемый в экономической теории математический аппарат почти никогда не проверяется на адекватность исследуемой предметной области (прежде всего из-за чрезвычайной сложности и исходной эпистемологической установки на упрощение)<sup>44</sup>. Соответственно, на протяжении более чем 50 лет ключевые теоретические модели экономики (напри-

---

44. К примеру, значительная часть математического аппарата, применяемая в экономической теории, основывается на теоретико-множественном подходе, который предполагает «вечность» элементов множества и отношений между ними. Соответственно оперирование ими «извне» имплицитно предполагает, что исследователь занял позицию Бога, который видит одновременно все элементы и их отношения. См. напр.: (Родин 2003). Между тем, экономические процессы принципиально локальны территориально, а также качественно меняются в ходе исторического развития.

мер, теория общего равновесия или теория коллективного выбора) и ее основные инструменты (например, методы оптимизации) развиваются прежде всего как отрасли прикладной математики, практически не (или минимально) соотносясь с потребностями в интерпретации на экономическую реальность. На этапе сильной формализации теории, когда происходит замещение субстантивных (содержательных) предметных онтологий формальными, предметная онтология уже создается *в основном* математическими средствами (на основе их синтеза с несколькими наиболее общими категориями конкретной дисциплины) — мы это видели на примере разбора модели Эрроу—Дебре.

В результате формируется онтологический универсум из системы универсализированных объектов данной предметной области (рынок, спрос, предложение, предпочтения, рациональные ожидания, равновесие, ограничения, игры, и т.п.) с особыми свойствами, которые связаны между собой математическими законами и которые можно свести и соответственно выразить с помощью нескольких типов математических объектов — множеств, функций, отношений. Для экономистов это означает, что, говоря о фундаментальных экономических категориях, они уже не могут помыслить, и, что еще важнее, *представить* их в рамках данной системы знания иначе, как математически (кривые издержек, вектор потребления). Вместе с тем, это позволяет работать с ними любому ученому из другой области, владеющему формальным аппаратом и не знакомому с экономикой с содержательной стороны (и, как мы видели в первой главе, это обеспечивает приток физиков и математиков на докторские программы по экономике).

Итак, в ходе последовательной математизации и формализации экономического знания в экономической теории формируется *промежуточный слой формальной онтологии (созданной средствами прикладной математики), который опосредует исходную предметную онтологию — экономическую, а на современном этапе уже почти полностью заменяет*



ее (что хорошо видно на примере нарастающей абстрактности ключевых экономических категорий, используемых в моделях: от «экономика», «рост», «издержки» к «агентам, максимизирующим целевые функции», «равновесиям», «ограничениям», «играм»). Формальные онтологии позволяют экономической теории соотноситься прежде всего с математической реальностью, и уж только затем с предметной экономической реальностью, — при этом ограничением всегда выступает используемый формальный инструментарий (см. в качестве примера: (Sent 2001)). Увеличение арсенала используемых прикладных средств математического аппарата, а также крайнее усложнение формальных техник, привязанных к соответствующим математическим теориям, приводит к тому, что «экономические построения» уже зачастую соотносятся только с некоторой прикладной математической реальностью, которая с трудом интерпретируется как экономическая (Кошовец 2019а).

Действительно, идущее с 1950-х годов преимущественное развитие экономической науки по пути усложнения математического аппарата привело к существенному отставанию в развитии содержательных аспектов теории и по факту приостановило проблематизацию и переосмысление принятых еще в конце XIX — начале XX в. идеализированных и крайне абстрактных понятий. Роль фундаментальной теории в мейнстриме экономической науки XX в. долгое время играла теория общего экономического равновесия. Однако под напором развития прикладной математики (особенно теории игр) эта теория постепенно потеряла свое значение (Боулс, Гингис 2006). В результате, начавшаяся примерно с 1970-х годов фрагментация теоретического корпуса значительно усилилась (к примеру, любая частная идея относительно несовершенств рынка, будучи промоделированной, поднимается до уровня теории (Ананьин, 2005. С. 155–158<sup>45</sup>).

Таким образом, на текущем этапе развития экономической науки *целостность ее корпуса знаний создается*

---

45. См. также: (Klant 1994, Fine 1999).

*исключительно математическим аппаратом. Между тем, поскольку структуры математики не имеют реального предмета, а использование математического аппарата в экономической теории инструментально (математика – формально-логическое средство, «языка науки»<sup>46</sup>) почти полная утрата элементов содержательных онтологий означает отказ экономических моделей от *теоретических претензий* и превращение их (на эпистемологическом уровне) сугубо в *инструмент (обладающий генеративными и преобразовательными возможностями)*. Если теория всегда стремится хоть как-то репрезентировать реальный мир, то модель может выражать конструкции «логически возможных миров». В результате большинство современных экономических моделей носят принципиально частный (во всех смыслах) характер и являются репрезентациями фрагментов теории (Morgan, Morrison 1999), воспроизводя и развивая специфические формализованные знания, которые, в свою очередь, порождают собственное содержание. Его специфической чертой является *способность создавать «логически возможные миры»<sup>47</sup>*.*

- 
46. Мнение о том, что математика является «языком науки», стало прочным предрассудком не только в обыденном сознании, но и среди ученых. Однако не следует смешивать семиотический аспект использования математических конструкций для репрезентации структур объективной реальности (в какой-либо сфере научного знания) с возможностью порождения текстов, описывающих действительный мир, как минимум, по двум причинам: 1) языковые практики создают синтагматические (линейные) представления, но в мышлении всегда представлены и нелинейно организованные системы представления, которые с семиотической точки зрения структурно не являются языковыми конструкциями. Поэтому содержание математически формализованной модели всегда не совпадает с её логической линейризацией, что становится особенно явным в случаях переинтерпретации значения какой-нибудь теоремы; 2) математические представления, по меньшей мере, претендуют на фиксированность однозначно выделенного (определенным, часто нематематическим способом) значения, тогда как языковые конструкции этому требованию не удовлетворяют в принципе. Попытки создать «точный язык» в практике реальных наук никогда не осуществляются полностью и, как правило, ограничиваются терминологией и формализацией, которые обе суть временные, вспомогательные конструкции и не исчерпывают практики научной репрезентации и моделирования.
47. В целом отход от ориентации на исследование наличной материальной реальности в пользу исследования возможной реальности намечен еще в эпистемологии Нового времени. В особенности это проявляется в рационалистической программе Декарта, которая является онтологически конститутивной для любого формального дедуктивного типа знания и в том числе для экономической науки (Ефремов 2011). Система рациональных методологически обоснованных рассуждений позволяет выводить закономерности, которые являются одинаково-

В таком контексте конструируемые математическими средствами формальные онтологии — это «возможные миры» (метафоро-математические или мифо-математические, по выражению В.В. Налимова), «населенные» *типическими* объектами. В моделях исходные содержательные предметные (а теперь все более и более абстрактные) категории экономической теории начинают выступать в роли структурных элементов этих «возможных миров», которые, в свою очередь, выступают как логически возможные или воображаемые репрезентации того, как *должно и могло бы быть*, но в реальности не наблюдается. Отсюда вполне закономерен такой ход рассуждений, которые демонстрирует Р. Лукас, предложивший идею создания искусственных экономических систем.

Действительно, поскольку формализация теории делает ее «онтологические обязательства» (референциальные утверждения, устанавливающие соответствие между логическим, формальным языком и множеством семантических структур) очевидными, то работающий с ними исследователь должен *признавать их существование* (хотя бы на уровне семиотики и эпистемологии). Однако, следует подчеркнуть, эти «обязательства» сформулированы в рамках «возможных миров», а не относительно реального мира. Обосновать реальное существование принимаемых в рамках данной семантики («возможного мира») сущностей невозможно только на основании того, что они существуют в данном «возможном мире» (Макеева 2011). Между тем, по сути, это обстоятельство игнорируется, — в рамках дискурсивных языковых практик, которые реализуются не в теории, а в интерпретации и шире — в социуме, подобные сущности универсализируются, а многие из них и неизбежно онтологизируются и реифицируются (т. е. начинают восприниматься как обозначающие *реально существующие в мире* объекты). Вот именно подобную траекторию мы можем наблюдать

---

во истинными и для «естественных», и для искусственных объектов. Это позволяет рассматривать наблюдаемую действительность как частный случай некоего возможного мира (см.: (Беме, Ван ден Дале и др. 1989. С. 107–109)).

в отношении таких экономических категорий (типических объектов) как «рынок», «экономический рост», «рациональные ожидания», и даже в отношении таких по сути счетных конвенций, как ВВП. Следы такой реификации мы также можем найти в рамках характерных для экономического дискурса механистических инженерных выражений (метафор), которые применяются для описания действий в отношении экономики и «экономических объектов» (воспринимаемых как «устройства» или «механизмы»): «наладить», «стимулировать», «настроить», «запустить». В то же время, онтологизация и реификация экономических категорий упирается и в конструктивный, искусственно собранный характер самого объекта экономической науки «экономики», который был произведен в рамках квантификации и в статистических практиках (Breslau 2003; Desrosières 1998).

Таким образом, *элементы субстантивных (содержательных) онтологий должны как-то сохраняться и где-то воспроизводиться*. Этот тезис возвращает нас к утверждению (и соответствующей риторической стратегии) о моделях — «историях» (баснях), которые мы обсуждали в первой главе. По сути, элементы субстантивных (содержательных) онтологий и есть эти «истории», которые, по мнению большинства философов экономической науки и самих экономистов, являются интегральной частью любой формальной экономической модели. Однако здесь вновь возникают вопросы, *где формируются эти нарративные структуры* и как они воспроизводятся в экономическом знании в условиях мощного разрастания формальных онтологий и соответственно минимизации субстантивных (содержательных) предметных онтологий. Иначе говоря, перефразируя уже упоминавшееся высказывание Родрика, за счет чего тогда модели могут быть *«шаблонами для понимания и интерпретации мира»* и как в них попадает «ясно просматривающаяся мораль»?

Итак, особенность экономической теории в том, что в ней создан промежуточный слой формальной онтологии, созданный математическими средствами, который опосре-

дует собственно экономическую онтологию (или даже почти полностью заменяет ее) и позволяет экономической теории соотноситься с математической (и статистической) реальностью (и зачастую только с ней), и уж только затем с экономической (Кошовец, Фролов 2013).

Между тем, даже самые формализованные модели, чтобы быть применимыми, должны как-то интерпретироваться на реальность, привязываться к экономическим предметностям, а следовательно, включать элементы субстантивных (содержательных) онтологий. Как решается эта проблема в рамках экономической науки? Представляется, что в рамках сложившихся практик производства экономического знания (которые, впрочем, требуют дальнейшего и более детального изучения) в целом сложилось три общих подхода к решению проблемы. Первый подход в основном практикуют историки, гетеродоксы, и отчасти методологи. Речь идет о *параллельном развитии дискурсивного слоя экономического знания* в рамках разного рода исследований, как правило, исторически, социо-культурно или компаративистски ориентированных. Однако если мы говорим об интерпретации собственно моделей (составляющих основу эпистемических практик экономистов), то в таком случае, как правило, говорят о необходимости развития интерпретативного контекста формальных моделей (мы это рассматривали в первом параграфе данной главы на примере идей Ходжсона).

Между тем, пожелание Ходжсона, как мы уже отмечали, мало выполнимо и по факту собственные субстантивные онтологии экономических моделей слабо развиты. И тут возникает второй вариант решения проблемы – *заимствовать онтологию* из другой научной дисциплины. При этом в силу формализованности экономической теории и ее ориентации на естественнонаучные стандарты это может быть только онтология естественных наук (в которой имеются развитые измерительные, экспериментальные и формальные процедуры, а следовательно, ее можно будет адаптировать к формальному аппарату экономической науки). Этот вариант

также можно условно обозначить как империалистический. Ярким примером этого варианта является развитие новой дисциплины нейрoэкономикi, которую мы рассмотрели в последнем параграфе предыдущей главы.

Третий вариант заимствовать онтологию из дискурсивных практик, которые существуют *за пределами* собственно научного производства и развиваются в контексте экономической профессии вне сферы академических институтов. Де-факто в практике производства и использования экономического знания это наиболее распространённый способ – интерпретация формальных моделей исходя из доминирующего в обществе экономического дискурса, который создается в экономической науке лишь очень частично, в основном он формируется и воспроизводится за пределами научной и образовательной сферы (Mirowski, Nik-Khah 2017; Maesse 2016) в таких областях, как масс-медиа, политика и государственное управление (Bergin 2021; Fitzgerald, O'Rourke, 2015; Lebaron 2006; Maesse 2013; Maesse 2015), наднациональные структуры управления и бизнес (Seabrooke 2006; Mirowski 2013). Усвоение создаваемых в этих сферах нарративов происходит как за счет глобализации и сопутствующей этому повсеместной стандартизации и унификации экономического образования (Fourcade 2006; Bloch, Mitterle et al. 2018; Либман 2010; Либман 2011), так и за счет включенности в коммуникативные структуры, создаваемые масс-медиа, и их политическую и экономическую повестку (Whaples 2009).

Функционирование экономического знания в широком дискурсивном контексте на примере анализа рецепции Чикагской школой мирового финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. и ключевые дискурсивные практики, которые отражают доминирующий способ репрезентации «экономики» в знании (не только научном) и сопутствующие ему способы говорить об «экономическом» будут представлены в следующей главе.

### 3. Экономическая наука и междисциплинарные стратегии: онтология не имеет значения

Обратимся к другой собственно эпистемологической проблеме последствий тотальной формализации теоретического слоя экономического знания. Могущество формализованной теории кажется безграничным, поскольку только из одних своих принципов она может получать различные законы и на основе простого измерения некоторых начальных данных однозначно предвычислять результаты новых измерений. Однако ключевая проблема формализованного знания в том, что оно само по своей природе *не допускает эволюционного уточнения*, т. е. того самого классического «*вертикального* прогресса». В рамках формализованного знания все аксиомы должны быть строго сформулированы и логически увязаны между собой, при этом в нем должны быть тщательно устранены все внутренние противоречия. Изменение любой из исходных посылок разрушает всю систему. Это ставит очень жесткие рамки (пределы) для дальнейшего эволюционного развития формализованных теорий, а *идеальная формализация вообще означает, что такой возможности нет* (потому что быть не должно) (Стаханов 1974). Для наглядности приведем аналогию со строительством дома, мы можем менять и конструкцию дома, и материалы, из которого он сделан, пока дом строится, но когда он построен, мы эту возможность теряем, наши варианты ограничиваются только достройками и украшением (улучшением) имеющегося либо сносом и строительством нового здания. Потеряв возможность уточнять имеющуюся систему аксиом, особенно если мы наталкиваемся на такие факты, которые невозможно объяснить на основе теории, но также и невозможно игнорировать, мы рано или поздно будем вынуждены прибегнуть к радикальному пересмотру теории и созданию новой. Создание новых теорий, по необходимости существенно отличных от старых, означает *фрагментацию* знания, т.е. приобретение им все более и более обрывочной структуры и *установление*

*границу применимости* для теорий, достигших своего предела<sup>48</sup>. Полная формализация теории общего экономического равновесия Л. Вальраса, проведенная К. Эрроу и Ж. Дебре, привела в итоге к резкому снижению интереса к ней и маргинализации на периферию экономической науки. До 1980-х годов она была теоретическим ядром неоклассического мейнстрима, в 1990-е годов обозначился явный разрыв с этим ядром, который стал отправной точкой для современного этапа трансформации экономической науки и ее обращения к новому инструментарию. Одновременно с этим в 1990-е годы отмечается почти полная потеря интереса к работе с формальной теорией и концентрация на построении множества частных моделей (Colander 2000. P. 389).

В рамках физики и естественнонаучной парадигмы, нацеленной на изучение неизменных объектов, классов объектов и т.п. старая теория по-прежнему остается верной, хотя и в отношении определенного фрагмента реальности. Однако, если теория, пошедшая по пути формализации, исходно имела своим объектом нечто исторически изменчивое, возникающее и гибнущее, локально существующее? Значит ли это, что такая почти полностью формализованная теория неверна или ее все же можно оставить в арсенале науки, четко ограничив сферу применения? Или зададим этот вопрос по-другому, значит ли это, что в ходе формализации теории ее по-новому пересобранный объект, универсализированный до уровня законов или трансформировавшийся в общезначимые абстрактные структуры, по-прежнему остается значимым? Между тем, если по тем или иным причинам ультраформализованные теории, составляющие теоретическое ядро дисциплины, невозможно *полностью отбросить* или *жестко установить границы* их применимости, как в таком случае может развиваться знание? Очевидно, что если «вертикальный прогресс» невозможен, то будет наблюдаться

---

48. Хорошо известным примером является физика, — фундаментальные проблемы классической механики привели к построению квантовой механики и квантовой теории поля, одновременно строго определив место в теоретическом универсуме для их предшественницы.



«горизонтальный прогресс», который в случае экономической науки принял характер, с одной стороны, тотальной фрагментации теоретического аппарата за счет создания частных, зачастую не связанных между собой моделей, а с другой стороны, закономерной экспансии в соседние дисциплины (т.н. «экономический империализм»). Первое решение закономерно ведет к отказу от исходной предметной области и трансформации наработок, созданных внутри теоретического аппарата, в инструментальном ключе (теории утрачивают свой статус и по факту становятся моделями, а их элементы инструментами анализа любой предметной области или любой группы данных). Разработка новых формальных средств уже идет исключительно ради развития «метода», что, в конечном счете, предполагает последовательное превращение в техническую дисциплину, о чем мы подробно говорили в первой главе.

Второе решение в целом позволяет сохранять имеющуюся систему принципов (аксиоматическое ядро дисциплины) и продолжать работать с теоретическим корпусом, применяя его к новому, но *принципиально однородному с прежним эмпирическому материалу*. Эта модель *экспансивного* развития будет постоянно требовать для себя нового материала для тестирования, получения выводов из аксиоматического ядра теории. Есть, как минимум, два способа получения такого нового материала — включать в теорию новые объекты, предварительно преобразуя их так, чтобы они были однородны с прежним «эмпирическим материалом», т.е. по сути раздвигать границы «экономического» и по возможности колонизировать соседние области или же создать новую дисциплину (например, нейроэкономика). Раздвигание границ «экономического» описывается концепциями «экономизации» М. Каллона (в которой экономика вводится в действие как воплощение экономической теории и экономического знания (Callon 1998), как правило, это описывает практики применения экономического знания за пределами академической сферы. Между тем, внутри научной сферы такое

движение описывается «империалистической программой» Г. Беккера (вездесущность «неявных цен», «неявных издержек» и т.п., а также координация действий людей явными или неявными рынками (Becker 1976).

Интересно, что империалистическую риторику применили сами экономисты, философы науки предпочитают либо рассматривать «империализм» в чисто эпистемологическом контексте, пытаясь таким образом нейтрализовать негативный смысл этого термина (Maki 2007, Maki 2009), либо более нейтральные обозначения — «теоретический импорт», «междисциплинарное взаимодействие». <sup>49</sup> Однако в основе подобных концептов лежит позитивистская методология науки и нормативная идея о «единстве (унификации) знания», в которой нет субъектов, их ценностей и интересов, поэтому там объединяются (интегрируются) методы, теории, объяснения, данные и другие элементы знания. При этом из поля зрения принципиально выпадают субъекты научной деятельности и ее контекст (Бурдые 2017), а следовательно, стили мышления (Флек 1999), дискурсы, эпистемические практики (Knorr Cetina 1999; Pickering 1992), в том числе специфические формы работы с материалом/фактами (Latour 1987; Latour 1991), представления о причинности (Mahoney, Goertz 2006) и т.д. и т.п., которым крайне сложно объединиться, зато существенно проще замещать. Итак, поскольку реальные научные практики организованы иначе, поэтому доминирующие как среди экономистов, так и в рамках социологии науки и исторической эпистемологии военные метафоры: «империализм», «колонизация», «экспансия» «эпистемическая интервенция» и т.п. хоть и не несут негативного смыслового оттенка, тем не менее, представляются более верно описывающими существо междисциплинарных отношений экономической науки.

Для начала зададимся вопросом, в чем конкретно состоит дисциплинарная ориентация научного знания, эталон кото-

---

49. Впрочем, среди методологов есть и попытки сугубо позитивных метафорических обозначений, например «объяснительный экуменизм» (Jackson, Pettit 1992).

рого содержится в классическом естествознании, определяющем своеобразие формы познания мира, сложившейся в европейской культуре с Нового времени. Во-первых, теоретический слой знания в идеале должен иметь естественнонаучную ориентированность (математическую форму). Во-вторых, производство идей ориентировано на производство «вещей» (готовые формы знаний). В-третьих, результаты исследований должны включиться в оборот «совместного научного труда». Все вместе это означает следующее. Эпистемические принципы знания, организованного по естественнонаучному типу, ориентируют на получение такого типа научного результата в данной конкретной дисциплине, который возможно использовать представителям других профессий. То есть они могут применить эти знания, не разбираясь, в чем суть дела, не имея познаний в данной предметной области. Иными словами, продукт научной деятельности в естественнонаучном типе знания должен быть таков, чтобы иметь возможность быть включенным в научный обмен как полезная заготовка. В когнитивном отношении это означает, что естественнонаучное знание потенциально ориентировано на превращение теоретических, идеализованных объектов в «информацию о предмете», в способ организации и управления исследовательской работой. Иными словами, в таком случае интересует не бытие объекта, а сведения о нем. Поэтому познать объект — значит освоить способы оперирования с ним, приемы действия на него, а в итоге и сконструировать его (Библер 1991).

Такие эпистемические принципы, в конечном счете, способствуют отделению формы знания от ее содержательного, предметного наполнения, создают возможность для обособленного развития и воспроизводства формы. Именно это мы и наблюдаем в современной физике, и в экономической науке — теоретическое развитие в этих науках идет по пути все большего усложнения прикладного математического аппарата. Отрыв формы от содержания рано или поздно приводит к вопросам о том, что изучает данная наука, существует ли объект, который она изучает, какова же ее онтология.

Как было показано в первом параграфе второй главы, дисциплинарная структура науки исторически основывается на натуралистическо-субстанциальной схеме, согласно которой каждая наука изучает некую сущность (субстанцию). Это положение закреплено дисциплинарно, в каждом учебнике есть раздел об объекте, предмете и методе соответствующей науки. Однако насколько содержащиеся в них определения соответствуют реальной практике той или иной науки? В этой связи можно сказать, что кризис онтологии — это и кризис сложившейся дисциплинарной формы организации знания. Если в реальной практике науки вопрос об объекте/онтологии по факту является вторичным, так как основу эпистемических практик экономистов составляет моделирование, а следовательно, целенаправленно культивируется владение формой (что мы отмечали в первой главе на примере системы экономического образования), то вполне закономерно и нарушение дисциплинарных границ, поскольку дисциплинарное членение основано на разделении сфер ответственности по объекту, но не по методу. Напротив, единство наук, поиск принципов их общности, возможность универсального знания (Г.В. Лейбниц, И. Кант, И.Г. Фихте) исторически всегда мыслилось через метод и общий язык — математику (Г. Галилей и И. Ньютон) или формальные, инвариантные логико-математические структуры (как у логических позитивистов, Р. Карнапа, Д. Гилберта, Б. Рассела, К. Менгера-младшего и т.д.).

Вместе с тем, следует отметить, что ориентация формальных теорий на производство вещей, т.е. знания-результата в читаемой другими учеными форме, подразумевает равным образом как дифференциацию/специализацию (т.е. по сути разделение труда), так и сочетание (междисциплинарность) знаний. А также требует, чтобы оба этих процесса осуществлялись в контексте совместной деятельности ученых. Тогда в чем смысл феномена междисциплинарности в современных условиях? Междисциплинарные движения в современной науке феномен довольно сложный и многогранный и заслуживает отдельного исследования, при этом само понятие

«междисциплинарность» весьма размыто. Не претендуя на исчерпывающий анализ этого явления, мы отметим здесь некоторые существенные на наш взгляд характеристики, важные для понимания (в эпистемологическом, но не в институциональном контексте) экспансионистских устремлений экономического знания.

Современная наука — это коллективная наука, т.е. по большому счету сфера деятельности научных коллективов, а не отдельных ученых. Объективной предпосылкой этого является разделение труда в рамках любой научной организации (института, лаборатории) и узкая специальная подготовка исследователей. Поэтому кооперация просто необходима, при этом она носит пространственно-горизонтальный характер. В акторно-сетевой теории такое представление заострено до предела. Весь процесс создания научного знания является такой сетью акторов и вещей: «частицы» из областей социального, технического, материального — пробирки, реагенты, организмы, экспериментаторы, микроскопы, статьи и т.д. — все это составляет сеть (Latour, Woolgar 1986). Кооперация такого типа — это по сути способ дальнейшей дифференциации и членения научного знания — каждый коллектив (особенно из представителей различных дисциплин) может потенциально создать новое направление. Таким образом, междисциплинарность или «эпистемические интервенции» возникают и воспроизводятся самим сложившимся на сегодняшний день способом осуществления, протекания научной деятельности. Экономической основой процесса дифференциации наук, возникновения огромного числа новых направлений и специальностей является разделение труда и процесс капитализации науки, т.е. вовлечение ее в сферу экономического производства и в целом пересборка науки как экономического порядка (Gibbons, Limoges et al. 2008), начавшаяся еще в эпоху НТР. В рамках этого процесса встает вопрос, какие направления финансировать, а какие нет (это актуально и для государства, и для бизнеса). Поэтому отношения с наукой начинают объективироваться в системе грантов —

способе финансирования, подразумевающим отбор, конкуренцию. Как рыночная система, предполагающая конкуренцию, грантовая форма распределения ресурсов накладывает неизгладимый отпечаток на функционирование научного знания, в частности, в значительной степени подчиняя его маркетинговой логике (Slaughter, Rhoades 2003).

Поэтому вполне закономерно, что текущее развитие науки начинает характеризоваться процессами конкуренции дисциплин (частным проявлением чего является дальнейшая специализация). Специализация как результат конкуренции возникает, поскольку на определенном этапе развития некоторых наук происходит исчерпание изучаемого предмета, что стимулирует необходимость дальнейшего развития дисциплины всеми доступными способами: совершенствованием формального аппарата, использованием нового оборудования, заимствованием теорий, концепций, понятийного аппарата или средств из другой науки. Открываются возможности дисциплинарного взаимодействия, как путем кооперации с представителями других наук, так и просто созданием новых направлений на основе заимствования «познавательного продукта» из других наук.

И в том и другом случае имеется тенденция к определенному упрощению и все большей формализации отдельных научных разработок и теоретических проблем, попытки «технологизировать» исследовательский процесс. Именно кооперация позволяет производить «серийный результат», который, как правило, лишь что-то уточняет в предыдущих исследованиях. Однако результат такого типа более пригоден и как «товар», и как продукт для обмена с другими направлениями, и как «инвестиция» в новые разработки (Knorr Cetina 1984). Чтобы выжить (т.е. получать финансирование) и продуктивно существовать, любой научной дисциплине необходимо постоянно и быстро продуцировать новые знания. Знания при этом начинают носить все более фрагментированный характер (данные измерений, частная модель, технология создания чего-нибудь в лаборатории), но зато быстро пополняют дис-

циплинарную «когнитивную базу» и легче вовлекаются в сети научной коммуникации и междисциплинарного обмена. Отдельные дисциплины, которые сильно вовлечены в такую сеть, как правило, не могут существовать изолированно, вне научных коммуникаций и более уязвимы для экспансии «дисциплины-донора». Как следствие это приводит к тому, что некоторые дисциплины превращаются в своеобразные узлы общей системы научных коммуникаций, — в подобной ситуации у них открывается возможность притязать на роль науки-лидера. Быть наукой-лидером означает: 1) претендовать на позицию дисциплинарного эталона для целого ряда других дисциплин, субдисциплин и направлений путем привязки их к своим познавательным и технологическим ресурсам и 2) претендовать на приоритетное финансирование. Это неизбежно подразумевает для науки-лидера экспансию в смежные области (Шилков 2006).

Экономическая наука хорошо известна своим эпистемологическим империализмом на основе идеи эталонности дисциплины, так, в 1970–1980-е годы это была попытка экспортировать понимание экономикой того, что требуется хорошей науке в другие социальные науки (Lazear 2000; Davis 2016). Сказанное лучше всего иллюстрируется на примере экономического империализма Г. Беккера. Как известно, этот феномен возник из попытки применить стандартные средства микроэкономического анализа к изучению поведения людей за пределами экономической деятельности. Поскольку формализм теории рационального выбора вообще не имеет прямого отношения к экономическим явлениям, так как «агент» может максимизировать в условиях «ограничений» свою «функцию полезности» в отношении чего угодно: военной победы, социального престижа, электорального выигрыша, то она легко экспортируется в любую область, где есть агенты, делающие ограниченный выбор. Это означает, помимо экономических вопросов, большинство остальных социальных наук, политическую философию, а также многие разделы биологии (Radnitzky, Bernholz 1986).

Итак, основанием служит уверенность в универсальности модели рационального поведения – а по сути ее формального аппарата, которому для своего дальнейшего развития нужны новые области применения. Иначе говоря, речь идет о массированном применении объяснительных моделей экономической науки к феноменам и предметностям, традиционно рассматриваемым другими дисциплинами, на основе утверждения об объяснительной действенности экономической логики (логики экономических моделей). Подчеркнем, «рациональный выбор» это не «предметная данность» (элемент субстантивной онтологии) экономической науки, это генеративный, объясняющий принцип, который сам никак не определяется, ибо является аксиомой (элементом формальной онтологии). Наиболее эффективно «беккеровское вторжение» проходило в отношении гуманитарных наук, которые, не обладая теориями в математической форме, заведомо проигрывают в «производстве вещей» и поэтому оказались беззащитны. Вполне ожидаемым в этом контексте становится призыв некоторых экономистов к представителям других общественных наук принять экономический подход, а иначе они будут вытеснены из своих специальностей экономистами.

В сущности, статус науки-лидера это один из способов повышать эффективность своих когнитивных ресурсов в условиях борьбы за финансовые ресурсы (Шилков 2006). И очевидно, что в области общественных наук экономика пытается занять позицию лидера. Благодаря своим конкурентным преимуществам она создает исследовательскую перспективу, апробированный путь, предоставляя другим теориям-конкурентам возможность воспользоваться ею. Методологический пафос защиты Г.С. Беккером продуктивности модели рационального выбора в других социальных науках носит выраженные дисциплинарные черты, описанные нами во второй главе. По его мнению, открывается возможность унифицировать подход представителей общественных наук к изучению социального мира (Becker 1976). И это тем более привлекательная



задача, что гуманитарные науки, не способные сформировать жесткого дисциплинарного эталона теории, буквально утопают в огромном количестве различных концепций и теорий, которые к тому же в силу посмодернистского принципа «отказа от идеологии» и «плюрализма реальностей» объявлены равноценными. Возможное успешное создание «субдисциплин-сателлитов» лишь усугубит лидерские позиции и эталонные качества экономического знания, а также поспособствует росту их дальнейших притязаний. Однако есть для этих амбиций объективная предпосылка, которую часто обозначают как перформативный эффект экономического знания. Мы бы сказали по-другому, все большее число общественных сфер капитализируются (от государственного управления и сферы права до системы образования или отношений в семье) и поведение людей в них начинает подчиняться экономической логике. Это и уловил лидер «империалистов» Г.С. Беккер, центральными идеями которого является вездесущность «неявных цен», «неявных издержек» и т.п. Поэтому его подход оказался столь продуктивным (Becker, Stigler 1977).

#### **4. Как функционирует онтология в экономическом знании: модель и нарратив**

В последнем параграфе первой главы, посвященном методологической и риторической стратегиям, сравнивающим модели с баснями, мы отмечали, что глубинная причина сравнения или даже прямого уподобления моделей историям связана с имплицитно содержащимся в модели указанием на «функцию схожести», благодаря которой она может выступать аналогией (конкретным примером) и которую может обеспечивать только интерпретация, нарратив. Иными словами, модели, несмотря на свой формальный характер, также являются повествованиями или предполагают нарративный компонент (должны дополняться историями или истории являются интегральной частью моделей). Практическое исследование того, как реально функционирует онтология

в экономическом знании, проведенное в предыдущих параграфах подтверждает эту гипотезу, ранее высказанную целым рядом философов науки и экономистов. Однако для целей нашего исследования гораздо интереснее не столько установить тот факт, что формальная онтология всегда должна иметь привязку к некоей содержательной предметной онтологии или, что необходимо развивать интерпретативный контекст, а в противном случае формальная онтология будет подталкивать дисциплину к экстенсивному развитию, к экспансии в другие дисциплинарные области, — для нас важнее ответить на вопрос, *откуда* в моделях берется нарратив. Как в действительности осуществляется их интерпретация? Как формируются *субъективные*, по меткому замечанию Р. Сагдена, суждения о предполагаемом сходстве модели с чем-то в реальности? Какие нарративы, существующие в рамках конкретной теоретической культуры, используются для этого. Чем они ценностно нагружены, какими социальными и институциональными условиями детерминированы, какие риторические стратегии используют?

Для ответов на эти вопросы большой интерес представляет серия интервью, которые дали крупнейшие представители чикагской школы в самом начале 2010 г. изданию *The New Yorker*. Они стали следствием полемики, развернувшейся вокруг провокативного выступления П. Кругмана, о котором мы говорили в первом параграфе первой главы. Эти интервью стали попыткой независимых наблюдателей разобраться в происходящем и дать обвиненным П. Кругманом «ортодоксальным экономистам» трибуну, чтобы они могли высказаться на тему, почему экономическая наука пропустила финансово-экономический кризис 2007–2008 гг., как теория и ее ключевые положения соотносятся с реальностью и т.п. Особый интерес этой дискуссии в том, что здесь экономисты ставятся в ситуацию, когда они *по факту вынуждены конкретизировать свои теоретические и модельные построения* (содержащиеся в них представления об экономике) на реальность, поскольку им приходится обсуждать фундаментальные поло-

жения (т.е. онтологию) не по поводу «экономики вообще», а в связи с конкретным событием — кризисом 2007–2009 гг. и его последствиями. Поскольку они вынуждены рассуждать о реальной группе событий, а не оперировать удобным им эмпирическим или статистическим материалом, мы можем наблюдать, *насколько модельно-теоретические построения помогают им понять, что произошло*, как они описывают реальность, *как производится привязка* основных положений теории к реальности. Задавая вопросы чикагцам по поводу кризиса, того насколько пострадал престиж чикагской школы из-за кризиса, по поводу гипотезы об эффективных рынках, гипотезы рациональных ожиданий, скептицизма относительно правительства в связи с кризисом, Дж. Кессиди (инициатор интервью) по сути постоянно провоцировал своих собеседников выходить в своих рассуждениях за пределы моделей и содержащегося в них нарратива к осмыслению более богатой (сложной) действительности. Ниже мы рассмотрим конкретные примеры из интервью чикагцев, с целью выявления онтологических оснований их рассуждений, уделив при этом особое внимание тому, как производится привязка ключевых положений (допущений) модельно-теоретических построений к реальности. Это позволит выделить в их суждениях (модельно-теоретическом универсуме) такие онтологические структуры, как «ценностные конструкции», «онтологические зазоры (разрывы)» и «слепые пятна».

Обратимся сначала к методологии и поясним, что мы имеем в виду под вышеперечисленными онтологическими структурами. Мы исходим из того, что онтологические структуры знания — результат действий коллективного научного субъекта. Часть таких структур создается до и помимо конкретного ученого в рамках соответствующей предметной области, где они со временем объективируются в рамках той или иной научной традиции, научной и образовательной практики. То есть речь идет об онтологизации теоретических конструктов, понятий и концептов (Шедровицкий, 1996). Как правило, любой ученый нерелексивно вводит онтологи-

ческие структуры в начало своего рассуждения как систему исходных предположений, предпосылок или гипотез («предположим, что...» «известно, что...» «в модели принято, что...»). Эти «готовые» структуры представлений, существующие в рамках определенной предметной области и выступающие средством построения нового фрагмента знания, являются частью наличной научной онтологии, на которую данный фрагмент знания опирается и которая неявно заимствуется из базовой научной традиции. При этом ученый, как правило, не задумывается над тем, как, где и в какой форме существуют объекты, обозначаемые понятиями теории, постольку, поскольку они просто необходимы ему как условия развертывания его построений (Кошовец, Фролов 2013). Однако в реальной практике (как, в частности, в интересующих нас интервью чикагцев) конкретный ученый вынужден почти постоянно выходить за рамки «чистых» модельно-теоретических построений и обнаруживать предметные определенности, ей противоречащие. Как это происходит?

Начнем с *«ценностных структур»*. Когда исследователь находится в рамках определенной онтологии, ее категориальные структуры заставляют его рассуждать определенным образом (так и не иначе). По-другому говоря, можно сказать, что онтология предопределяет познавательные ходы, совершаемые познающим субъектом, за пределы которых он выйти не может. Например, у чикагцев это утверждение о том, что «правительство неэффективно» («потому что несправедливо»), а рынок, напротив, всегда эффективен («потому что справедлив»). По сути, данное утверждение не имеет отношения ни к конкретному реальному правительству (например, тогдашней администрации Б. Обамы), ни к конкретному рынку (к примеру, ипотечных вкладных), а лишь к «рынку вообще» и «правительству вообще», которые действуют в данном нарративе. Такие категориальные структуры к тому же являются *ценностными* (а ценность — это желание должного, как это должно быть), а поэтому и нормативными. Ценностные конструкции, как правило, образуют

ядро онтологии, которой в своих практиках производства знания придерживается исследователь, так как они обеспечивают воспроизводство его собственной позиции (Чусов 2009).

Теперь обратимся к тому, как появляются «*онтологические зазоры (разрывы)*». Представим себе, что, отвечая на вопрос об эффективности правительства, экономист (разделяющий нарративную структуру «правительство неэффективно») захочет оценить действия конкретного субъекта, скажем, администрации Б. Обамы или ФРС во время кризиса, ему придется выйти за рамки имеющейся онтологии и задаваемых ею ходов рассуждения. Поскольку исследователю не хватает своих модельно-теоретических конструкций, чтобы, скажем, описать или оценить действия ФРС по поддержке банков, он будет вынужден неявно вводить новые, *чуждые* для его модельно-теоретической реальности онтологические структуры. Следует подчеркнуть, что это не развитие имеющейся онтологии, а просто переход (перескок) в другую онтологию. При этом совершается сдвиг, подмена, вынужденная переинтерпретация ключевых предпосылок его теоретико-модельных конструкций путем введения новых онтологических допущений, ведущих к замене исходной онтологии. Иными словами, мы будем иметь дело с «*онтологическими разрывами*» (или *ззорами*), т. е. с переходами (перескоками) из одной онтологии в другую. В подобной ситуации экономист либо будет объяснять имеющиеся модельно-теоретические конструкты исходя из новой онтологии, либо будет вводить новые конструкты и под них новую интерпретацию. Например, в некоторой онтологии экономической теории нет политических субъектов и их интересов, поэтому, отвечая на вопрос о действиях конкретных политиков во время кризиса, исследователь будет перескакивать в другую онтологию, куда такой субъект включен (ниже мы увидим это на конкретных примерах). Следует подчеркнуть, что подобные переходы из одной онтологии в другую происходят вне логических конструкций моделей (т.е. не фиксируются средствами логического анализа), а совершаются в семантике

(т. е. в разговоре) посредством введения новых нарративов. В рамках формальной логики, на которой обычно базируются модели, такой переход запрещен, иначе нарушается принцип непротиворечивости. Напротив, пространство дискурса позволяет включать противоречащие утверждения, игнорируя их логическую несовместимость и обеспечивая их связанность общими нарративными структурами.

И, наконец, рассмотрим, как возникают «слепые пятна», иначе говоря, то, что в конкретной онтологии не существует, ибо любая онтология предполагает наличие как существующих, так и принципиально не могущих существовать в ней типов объектов (иначе это ее разрушит) (Чусов 2010)<sup>50</sup>. Если «онтологические зазоры» (перескоки) слишком велики, т.е. фрагменты, описываемые данными онтологическими структурами, слишком отстоят друг от друга, то опосредующих переходов не видно. Образуются как бы «слепые пятна». К примеру, в мейнстриме есть «модели роста» (основанные на предпосылке безостановочного роста) — в рамках подобной логики системного падения или прекращения роста быть не может (но могут быть колебания роста — замедление, снижение, временная остановка). «Кризис» — это слепое пятно таких моделей. Возьмем другой пример — экономисту указывают на какой-то феномен в реальности, к примеру, пузырь на кредитном рынке, не включённый в его модельно-теоретические построения (слепое пятно), ибо цены финансовых активов точно отражают всю имеющуюся информацию о фундаментальных экономических показателях. Поскольку у него нет объяснительных схем для этого (в рамках его модельно-теоретического универсума он не существует и не предполагается возможным), в ответ он может либо отрицать сам этот феномен (так делает в интервью Ю. Фама), либо же пытаться как-то проинтерпретировать его, зачастую прибегая к метафорическим описаниям (такой вариант мы

---

50. Ср. «Наши теории как инструменты анализа действуют подобно *шорам*... Сказать вежливее — это лучи света, которые высвечивают одни части объекта и оставляют во мраке другие» (Nicks 1976. P. 208. Курсив мой. — О.К.).

можем найти у Р. Талера)<sup>51</sup>. Обратимся теперь к конкретным примерам, на основе анализа нарратива чикагцев о кризисе 2007–2009 гг.<sup>52</sup>

Несмотря на то что ортодоксальные воззрения чикагской школы находились под градом критики и раньше, финансовый кризис 2007–2009 гг. бросил вызов прежде всего именно этой школе, поскольку фундаментальной предпосылкой ее модельно-теоретических построений (и одновременно ключевой ценностной структурой их онтологии) является тезис об эффективности рынков, или о «саморегулирующемся рынке». В интервью мы видим упорное нежелание (с человеческой и институциональной точки зрения весьма понятное) ряда ортодоксальных представителей чикагской школы признавать на фоне кризиса факт неэффективности рынков. Так, Ю. Фама по-прежнему убежден, что рынок достаточно эффективен на общем уровне, а если нет, то «обнаружить это невозможно» (Fama 2010). Схожего мнения придерживается и Г. Беккер, хотя и оговаривается, что не всегда «свободные рынки делают это хорошо» (потому что «они далеки от совершенства»). Однако, по его мнению, они могут быть лишь «не *очень* эффективными», но все же принципиально эффективны в сравнении с правительством (Becker 2010). Вот это сравнение с правительством обнаруживает изначально ценностный характер тезиса, причем он выходит за пределы того, что непосредственно говорится в самих моделях, однако является важным элементом «истории», комплементарным этим моделям. В учебниках идея эффективности рынка не вводится в противопоставлении с неэффективностью правительства. Это просто априорное, не предполагающее дока-

---

51. Дж. Кессиди в интервью с Р. Талером спрашивает: «Я говорил с Ю. Фамой и он утверждает, что не знает, что такое пузыри, ему даже этот термин не нравится». Р. Талер: «Я полагаю, мы знаем, что такое пузыри, но это не значит, что мы можем их предсказывать... Но у нас определенно есть система предупреждения о пузырях. Вы может посмотреть на такие показатели, как соотношение цены и прибыли, а также соотношение цены и ренты. Они о многом говорили, и история, которую они, казалось, рассказывали, оказалась правдой» ((Thaler 2010), см. также: (Fama 2010)).

52. Везде ниже по тексту выделения курсивом в цитатах из интервью мои. — О.К.

зательств, утверждение. Однако, защищая его, Беккер прибегает к имплицитно содержащемуся в нем нарративу (вынесенному за пределы научных формальных построений, ибо это «ценностное суждение»). В целом же, по его мнению, «рынки работают достаточно хорошо, но *появились вещи, которые нельзя объяснить* просто при помощи гипотезы об эффективности рынка» (Becker 2010). Здесь защита ценностного суждения уже обнаруживает «онтологический разрыв» (поскольку Г. Беккер признает, что рынки не всегда хороши и есть феномены, которые не объяснить этой гипотезой — это указание на реальность). Одновременно этим тезисом по сути вводится идея локальности данного модельно-теоретического построения, т.е. разрушается ее былая претензия на универсальность.

Кризис не поколебал уверенности большинства представителей чикагской школы в том, что государство (правительство, регуляторные органы), которые они часто напрямую квалифицируют как «правила, определяемые группой живущих в Вашингтоне людей» (также часть нарратива, а не модельных построений), неэффективно. Приведем пример из интервью Г. Беккера. «Я всегда считал сутью чикагской экономической доктрины то, что свободные рынки *хорошо выполняют свою работу. И студентов учил этому же*. Свободные рынки далеки от совершенства, но *правительства от него еще дальше*. В некоторых случаях регулирование необходимо — я, опять-таки, не анархист. Но в целом правительства *функционируют хуже рынков*. Я не увидел ни одной причины пересмотреть эту позицию. Да, мы увидели еще один пример того, как свободные рынки не выполнили своих функций. *Они сработали плохо*. Но я не вижу подтверждений и тому, что правительство все делало правильно в преддверии или во время кризисных процессов» (Becker 2010). Реальные события заставляют Г. Беккера признать, что рынок не выполняет своих функций и даже может «сработать плохо», но это никоим образом не меняет его уверенности, что правительство все делает хуже (заметим, «правительство



вообще», поскольку экономист не пытается указать нам здесь на конкретные проколы конкретного правительства — т. е. речь опять идет об элементе нарратива, комплементарного модельно-теоретическим построениям чикагцев).

Итак, оба ключевых положения онтологии, за которые продолжают держаться чикагцы, по факту «ценностные конструкции» и основные элементы содержащегося в их модельно-теоретическом универсуме нарратива. Мы можем еще раз в этом убедиться, посмотрев на ответ на вопрос интервьюера: «чикагская картина мира до сих пор существует, та чикагская традиция, которая ратует за свободный рынок?», Дж. Кохрейн прибегает к риторике вековой незыблемости онтологии «свободных рынков»: «Многие из нас, как минимум, считают идею свободных рынков хорошей отправной точкой, поскольку она *опирается на опыт многих столетий* и мысли [многих поколений людей]. Вся наука в определенной степени консервативна. Обнаружив одну причудливую бабочку, вы же не скажете, что Дарвин все-таки был неправ. У нас есть *проверенный веками опыт*, который показывает, что рынки работают довольно хорошо, а вмешательство государства приводит к катастрофическим последствиям» (Cochrane 2010). Ведущий британский экономист и многолетний советник правительства Дж. Кей иронично охарактеризовал подобные рассуждения как «дедукция вытеснила индукцию, а идеология заняла место наблюдений» (Кей 2012. С. 13).

На фоне непоколебимо воспроизводимого представителями чикагской школы нарратива «государство неэффективно» весьма примечателен очевидный зазор, который они демонстрируют в отношении к *нормативным предписаниям своих модельно-теоретических конструкций и к реальной политике*. Приведем пример, а именно ответ на вопрос о том, что чикагская школа не согласна с тем, что существуют банки, которые слишком велики, чтобы позволить им разориться (поэтому «пусть разоряются»). Г. Беккер: «Тут возникает два вопроса. Что нам *следует делать*, и что

мы будем делать на самом деле. Мы ведь вряд ли допустим, чтобы они разорились. Мы никогда не допускали, чтобы они разорялись. Второй вопрос: а стоит ли нам их спасать? Думаю, в этот кризис мы были вынуждены это сделать. Я не согласен, что во время нынешнего кризиса надо было просто позволить всем разориться. Да, экономика восстановилась бы. Но мне кажется, что тогда рецессия стала бы более серьезной» (Becker 2010). Это рассуждение весьма показательное — оно опирается на разные и при этом очевидно конфликтующие онтологические конструкции, исходящие из основных предпосылок моделей и комплементарного к ним нарратива (государство неэффективно, имеется в виду «государство вообще», ибо рынки эффективны) и из доминирующего тогда политическо-экономического дискурса (я не согласен, что надо было позволить разориться). Экономика бы восстановилась (нормативное утверждение модельно-теоретического универсума), но рецессия стала бы хуже (так подсказывает чувство реальности). Фактически здесь Г. Беккер неявно признает, что модельно-теоретические конструкции чикагцев не просто имеют слабое отношение к реальности, но и не могут ничем помочь. Чтобы сгладить этот неявный конфликт, во-первых, вводятся новые субъекты («мы» — т.е. политики или иные ответственные лица), которых в моделях и комплементарном им нарративе нет. Во-вторых, приходится совмещать в своем рассуждении нормативную «картину мира» («что следует делать») и реальность («будем делать на самом деле»).

Другой пример онтологических зазоров — *переинтерпретация ключевых положений* школы на основе введения новых онтологических конструкций, что подразумевает введение новых нарративов. Возьмем пример из интервью Г. Беккера, где он отвечает на вопрос, насколько ныне актуален принцип рациональности в экономике. «Думаю, по большей части актуален. Все зависит от того, что вы имеете в виду под рациональностью. Если вы придерживаетесь мнения, что потребители в целом реагируют на стимулы пред-

сказуемым образом, то у вас будет неверное представление о мире, если только не уделить этому вопросу достаточного внимания... Другое направление — изучение многочисленных ошибок потребителей. Я думаю, никто не спорит, что *потребители совершают ошибки*. Но это совсем не отменяет представления, что, во-первых, потребители *почти всегда* выбирают именно то, что им нужно. И, во-вторых, — теперь мы возвращаемся к правительству — обычно потребители принимают более удачные решения, чем те, что сделало бы за них правительство» (Becker 2010). Г. Беккер здесь вводит две онтологические конструкции. Сначала модельно-теоретическую — потребители рациональны, ибо их поведение и порождает ту реальность, в которой рынки эффективны (закономерность порождается массовым рациональным поведением потребителей), а затем перескакивает в другую онтологическую конструкцию, по-видимому, опирающуюся на повседневный опыт и, возможно, на исследования поведения конкретных экономических агентов на конкретном рынке, которое показывает, что они совершают ошибки и иррациональны.

В результате получается, что согласно базовым для него модельно-теоретическим конструктам агенты всегда принимают оптимальное наилучшее решение, но в реальности (или исходя из экспериментов поведенческой экономики) они совершают ошибки, — итогом имеем «потребитель *почти всегда* выбирает то, что нужно». Онтологический конструкт Homo Economicus не предполагает содержащегося в «почти» логического противоречия — или он ведет себя рационально, или он ошибается. Однако в рамках дискурсивных построений такое невозможное в формальной модели утверждение становится возможным.

Обратимся к другим примерам. Вопрос к Ю. Фаме по поводу того, что «правительство должно было позволить банкам рухнуть», — «Как вы думаете, почему правительство не отошло в сторону и не дало этому случиться? Действительно ли власти, как считают многие, были на крючке у Уолл-стрит?».

Вот что отвечает этот известный экономист: «По сути, дело в том, что у многих в нынешнем правительстве есть огромное желание избежать рисков. Власти *не хотят, чтобы их винили в плачевном исходе событий*, и, чтобы избежать его, готовы сами *поступать неправильно*. Я думаю, Бернанке *удалось выступить лучше других*». И далее по поводу скептического отношения чикагской школы к правительству: «Людям потребовалось немало времени, чтобы осознать, что политические лидеры — это всего лишь действующие в своих интересах индивиды, и что вмешательство государства в экономическую деятельность особенно опасно потому, что правительство по-любому не может проиграть» (Fama 2010). Опять рассуждения строятся путем перехода, т.е. из двух разных онтологических конструкций: из чувства реальности («не хотят, чтоб винили») и из модельно-теоретического универсума («готовы поступать неправильно» — ибо «неправильно» нормативно определяется исходя из модельных построений). При этом Ю. Фама прекрасно понимает (ввиду отсылки к конкретным правительствам, в частности, к Б. Обаме), что у политиков есть интересы, но поскольку для него приоритетное (ценностное) значение имеет теория, то он конкретные политические интересы сводит к хорошо известному ему и формально-теоретически не обоснованному нарративу «вмешательство государства неэффективно».

Суждение Дж. Кохрейна на эту же тему также обнаруживает «онтологический разрыв». Так, отвечая на вопрос «Вы полагаете то, что мы видели [кризис], — это результат несостоятельности правительства, а не провал рынка?» — он отвечает, что рынок все-таки тоже был виноват (т. е. не является эффективным), что означает переход в другую онтологию, которая базируется на чувстве реальности (ввиду имевшего место события) и том общественном дискурсе, в рамках которого тогда в США обсуждался кризис. «Я думаю, это было *сочетание факторов — несостоятельность и того, и другого*. Правительство установило ряд нормативных требований. Банки очень быстро начали их обходить. Многие

люди обращали недостаточно внимания на риск контрагента, поскольку считали, что об этом позаботится правительство» (Cochrane 2010). Как и в случае Ю. Фамы, модельная онтология имеет для Дж. Кохрейна больший приоритет, что закономерно ведет его к выводу: «из-за финансового кризиса в реальной экономике произошло много такого, чего *не должно было бы происходить*. Предприятия закрывались, люди теряли работу. Этого *не должно было случиться*. В известной степени, то же самое происходило в 1907, 1921, 1849 гг. Вы могли бы сказать, что мы сталкивались со всем этим раньше» (Cochrane 2010). И так, не должно, но происходит, и более того, не должно, но много раз происходило в прошлом. Имеющиеся онтологические конструкции подсказывают, что *так не должно быть*, потому что этого (финансовые кризисы, закрытие предприятий, потеря работы) не существует в данном модельно-теоретическом универсуме. Это как раз случай «слепого пятна». Очевидно, что главной причиной, сделавшей экономическую теорию мейнстрима нечувствительной к кризисам и неспособной их предсказывать, является тот факт, что в ней *полностью отсутствует возможность системного кризиса/рецессии* (ибо рынки всегда эффективны). Так, хорошо известны слова из инаугурационной лекции Р. Лукаса в Американской экономической ассоциации в 2003 г.: «Макроэкономика преуспела: проблема предотвращения депрессий решена», — которые являются важной частью нарратива, комплементарного неоклассическим модельным построениям (Lucas 2003. P. 1)<sup>53</sup>.

---

53. Следует заметить, что даже имеющиеся в арсенале экономической науки теории делового цикла не рассматривают кризис как таковой. Имеющиеся в них «спад», «понижение» видятся результатом колебаний или отклонений от равновесного состояния, т.е. считаются временным снижением деловой активности, обусловленным теми или иными причинами (в зависимости от школы, но почти всегда внешними). Такое видение вполне закономерно, поскольку в онтологии стандартной экономической теории отсутствует представление о развитии — любые изменения это отклонения или несовершенство. При этом система остается неизменной (стремится к стабильности, «гомеостазу»). Бескризисное состояние естественно и в некотором смысле вечно. Утверждения, что колебания вызваны чем-то внешним, выступают как «защитный слой» (в терминологии И. Лакатоша). По-видимому, это обусловлено тем, что одна из центральных категорий экономической теории — «равновесие» априори предполагает построение онтологии, в рамках которой категориальные конструкции, делающие

В свою очередь, обсуждая причины кризиса, Ю. Фама настаивает на том, что рецессия началась еще до того, как в августе 2007 г. оказался парализован рынок второсортных облигаций. На это Дж. Кессиди задает ему вопрос: «Что же привело к рецессии, если не финансовый кризис?» — и получает ответ, что в теории нет такого явления, как кризис, поэтому его нечем объяснить: «Вот тут экономическая теория *всегда заходила в тупик. Мы не знаем, какова причина рецессий.* Я не макроэкономист, так что меня это не особенно смущает. Мы *никогда этого не знали.* Споры о том, что спровоцировало Великую депрессию, продолжаются по сей день» (Fama 2010). Еще более жесткой позиции придерживается Р. Лукас — у экономикки «*не получается объяснять депрессию*», «нет объективного базиса для предсказаний» и поскольку лично он никогда не занимался экономикой депрессий, поэтому он «ничего не будет менять в том, что делает, и не видит в этом ничего плохого» (Posner 2010<sup>54</sup>).

Однако Дж. Кессиди продолжает настаивать и, в частности, спрашивает Ю. Фаму о том, что же нам делать? — «Если завтра вам позвонит президент и скажет, мне кажется, наши методы не работают. Что нам делать? Что вы ему ответите?». На это Ю. Фама фактически признает, что имеющейся в мейн-стриме экономической науки корпус знаний ничего предложить не может: «Когда финансовый кризис только начался, я вступил в эти дискуссии. А потом остановился и сказал себе — меня не устраивают мои собственные представления о том, как лучше всего действовать дальше. Лучше я посижу и послушаю других. И я выслушал всех экспертов — и местных, и остальных. Какое-то время спустя я пришел к выводу,

---

неизбежным «кризис», запрещены (не могут существовать). Установка на поиск равновесия (репрезентируемая решением уравнения), т.е. стабильного, сбалансированного, идеального состояния системы означает, что любая нестабильность, «напряжение» и дисбаланс попадают в «слепое пятно». Понятия «кризиса» в такой онтологической конструкции чужды, они будут вытаскиваться или переинтерпретироваться (Кошовец 2017).

54. Этот пример, взятый из интервью Р. Познера, прозвучал в ответ на вопрос, что извлекла для себя экономическая наука из того, что произошло, в связи с чем он приводит в качестве характерной позицию Р. Лукаса.

что не знаю, как лучше поступать в нынешней ситуации, и не думаю, что они это знают. Не думаю, что существует хороший рецепт. Так что я забросил все это и вернулся к собственным исследованиям» (Fama 2010). Этот ответ неявно отсылает нас к сложившимся практикам производства экономического знания, которые мы анализировали в главе 1, — корпус знаний экономической науки сильно фрагментирован, поэтому экономисты существуют в рамках балканизированной реальности множества эмпирических и теоретических моделей, которые зачастую прямо противоречат друг другу, — любое не существующее в рамках универсума моделей событие включается в него в рамках универсального объяснительного нарратива о «внешних шоках» (которыми называется все, что не содержится в моделях, но позволяет их интерпретировать в рамках текущих экономических событий).

### **5. Способы говорить об «экономическом». Экономические модели как социальные, семиотические и дискурсивные феномены**

В этом параграфе предметом нашего интереса станут сложившиеся в рамках производства экономического знания дискурсивные практики и, соответственно, способы конструирования представлений об «экономическом». Эти способы выходят за пределы собственно экономической теории. По сути, они представляют собой сложившиеся способы говорить об «экономическом» в рамках различных общественных практик, связанных как с воспроизводством научного знания (фундаментальная и прикладная наука), так и с его потреблением и рецепцией в различных сферах за пределами науки (государственное управление, международные институты развития, экспертные центры и «мозговые фабрики», система образования, масс-медиа). Такой подход позволяет рассматривать способы конструирования «экономического» не только в эпистемологической плоскости, но и в широком контексте культуры и определяемой ей языковой реальности.

На основе некоторых элементов методологии структурализма, в частности дискурсивного анализа в рамках сложившейся системы экономического знания, можно условно выделить два основных подхода к концептуализации и конструированию «экономического». Первый подход оперирует специфически понимаемым концептом «экономика» (economics), под которым понимается рациональное/оптимизирующее поведение, являющееся ключевым объектом мейнстримной (стандартной) экономической теории (economics), и которое можно описать/представить как некоторую совокупность законов/правил/порождающих структур (правил построения объекта и порождения типологически схожих объектов). Мы обозначим его как дискурс «экономика». Его ключевой особенностью, как мы покажем далее, является возможность *здать максимально универсальный абстрактный объект*, что дает целый ряд преимуществ и надежно обеспечивает положение доминирующего дискурса об «экономическом». Второй подход, реализующийся в рамках дискурса «экономических систем», позволяет *описать реальную (наблюдаемую) целостность* (систему), принимая во внимание ее пространственно-временное и качественное своеобразие. Вместе с тем, концепт «системы» подразумевает наличие совокупности устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождество самому себе, т.е. санкционирует поиск инвариантных структур, которые существуют в рамках некоей многообразной целостности и сохраняются неизменными. Как мы покажем ниже, перекоc в сторону этих инвариантных структур также может вести к универсализму, а это, в свою очередь, создавать претензии на занятие дискурсом «экономической системы» положения доминирующего. Когда мы говорим об «экономике» и «экономической системе» мы не имеем в виду различные подходы к определению предмета экономической науки (теории) ни в рамках дисциплинарного знания, ни самими экономистами на протяжении развития экономической теории как дисциплины. Наш интерес представляет функционирование всего корпуса



экономического знания в рамках различных социальных практик: от повседневного опыта взаимодействия с экономической действительностью и ее представлением в символических пространствах до институционального воспроизводства (в научной, экспертной, образовательной, производственной, управленческой, политической сферах). Совокупность этих практик, опыта и взаимодействий, приводящих к формированию понимания (а затем и знаний) о каком-то компоненте действительности, при этом обладающих структурной устойчивостью и воспроизводящих определенные инварианты, мы будем называть *областями дискурсивных практик*. В рамках дискурсивных практик ключевые понятия формируются не столько в ходе логических процедур определения, сколько в ходе различной практической деятельности, в ходе взаимодействия с реальностью.

Таким образом, здесь мы будем рассматривать «экономику» и «экономическую систему» как основные сложившиеся области дискурсивных практик, в рамках которых понимается, концептуализируется, конструируется и объясняется «экономическое». Под дискурсивными практиками мы в целом понимаем то же, что и М. Фуко (Фуко 1996) и соответствующая традиция в общественных науках (Ysmal 1972; Gutting 1989). При этом для нас любой дискурс – это *результат деятельности коллективного субъекта*. Кроме того, для нас принципиально важен не только языковой, но и прежде всего *деятельностный* аспект. Термин – «области» мы вводим, чтобы подчеркнуть *локальность* любой дискурсивной практики (какими бы ни были ее претензии на универсальность)<sup>55</sup>.

Мы исходим из того, что формирование и воспроизводство дискурсивных практик подразумевает, *как минимум, следующие четыре условия (компонента)*:

---

55. Далее по тексту мы для удобства изложения и восприятия будем использовать укороченные понятия «дискурс» или «дискурсивные практики», при этом имея в виду все выше сказанное о концепте «области дискурсивных практик».

- социо-культурные, институциональные и властные практики, в которые включен субъект и в рамках которых возникают, функционируют и устойчиво воспроизводятся те или иные знания<sup>56</sup>;
- имеющиеся у субъекта дисциплинарные, научные и ненаучные (включая обыденные), прикладные и популярные (тиражируемые масс-медиа) знания в той или иной сфере, предполагающие определенное языковое выражение;
- взаимодействие (включая наблюдение) с определенным фрагментом реальности (в нашем случае «экономическое») в ходе повседневных практик, в том числе связанных с профессиональной деятельностью;
- имеющиеся инструменты, техники, понятийный и категориальный аппарат для концептуализации того или иного интересующего нас фрагмента реальности и встраивания его в соответствующий дискурс.

Таким образом, концепт «области дискурсивных практик» позволяет учитывать реальное функционирование экономического знания в социуме, который *подразумевает субъекта, его цели и интересы (идеологический и субъективный аспект)*. При этом субъекты как носители культуры *всегда включены в определённый контекст*. Между тем, модель «экономического человека», как и сложившиеся в экономической науке практики объективности предполагают считать культуру исключительно экзогенным фактором, о чем мы говорили в конце второго параграфа второй главы. Однако культура — часть познающего субъекта, социальная включенность науки (ученых) не может рассматриваться только в качестве фактора, ограничивающего познание, что приводит к попыткам элиминировать «возмущающее действие» субъекта (т.е. ценностный и аксиологический фактор из зна-

---

56. Социо-культурные практики формируют мировоззренческий и идеологический компонент знания, институциональные отвечают за его статус, легитимацию и каналы распространения в обществе, властные практики отражают интересы субъектов и предоставляют средства для доминирования.

ния). Гораздо важнее осознавать то, что *культура есть необходимое условие любой научной деятельности*, более того, она *предопределяет познавательные ходы*, совершаемые познающим субъектом, за пределы которых он в принципе не может выйти (Романов 2003. С. 302–321). Влияние культуры исследователя на изучаемый им объект обнаруживается уже на уровне самой организации научного опыта. При этом сами существующие формы организации научного опыта — тоже продукт конкретной культуры. Как мы уже отмечали во второй главе, любая научная модель — это также «культурно установленный внешний репрезентативный инструмент» (Knutti 2017. Р. 1). Помещая модели в социокультурный контекст, мы можем увидеть, что они не только формально-структурные компоненты научного знания, но и артефакты, проистекающие из общих символических, в том числе дискурсивных, ресурсов, иначе говоря, модели всегда демонстрируют свойства, не предусмотренные создателями моделей, и они не относятся непосредственно к моделируемой системе, а скорее к дискурсивным и социокультурным практикам, определяющим тот или иной тип научного знания.

Сказанное логично подводит нас к проблемам конституирования внешней «объективности» того или иного знания и идеологии как культурному феномену<sup>57</sup>. Как мы видели из второй главы, особенности формирования экономики как дисциплины в начале — середине XX в., высокий институци-

---

57. Обычно под идеологией в политическом аспекте понимается выражение частных интересов в форме всеобщности, подразумевающее оценку желательности или нежелательности того или иного социального бытия. Мы используем политико-дискурсивную концепцию идеологии, которая не сосредоточена прежде всего на нормативном измерении идеологического искажения реальности. В соответствии с концепцией Cultural Discourse Studies (Shi-xu 2014), которая предлагает анализировать дискурс как целостное образование, созданное различной динамикой — культурной, исторической, географической, политической и экономической, мы будем понимать идеологию как производство смысла и структуры социальной (в том числе и политической) мобилизации в различных социально-исторических контекстах. В этом контексте интерес представляет дискурсивная сила идеологий в аспекте ее влияния на социальные реалии (Maesse, Nicoletta 2021). Соответственно, знание является идеологическим, когда оно вовлекается в режимы знания-власти для активного влияния на социальные отношения в контексте производимой им реальности (картины мира).

ональный статус экономики как дисциплины, техники преобразования изучаемого объекта (статистика), использование математики как подлинного средства построения теории (Weintraub 2002), а также моделирование как повсеместная эпистемическая практика (Morgan 2012) и принятые в рамках нее способы практиковать «объективность» *позволяют игнорировать ценностную и идеологическую функцию* экономического знания, позиционируя его как неангажированное и объективное (принципиально лишенное субъективности). Понятие «объективности» (близкое по типу к «структурной объективности») при этом предполагает выведение «субъекта познания» (субъектной) во всей его человеческой полноте за пределы социальной реальности — он независим от политики, материальных интересов, и даже «коллег по цеху». Между тем, даже если бы экономическое знание сводилось к математическим моделям, чтобы обладать экономическим смыслом, они должны иметь содержательные предпосылки, привязывающие модель именно к экономической реальности (не просто кривая, а кривая спроса), и интерпретацию, позволяющую придать результатам экономической смысл и практическую значимость. Это подразумевает языковые средства, которые не являются нейтральными и существуют в рамках культуры.

При этом языковые средства всегда ценностно нагружены и детерминированы социальными и институциональными условиями, в рамках которых воспроизводятся, а поэтому служат не только инструментом передачи знания, но и *интеллектуального доминирования* (Mannheim 1985; Foucault 2008). Таким образом, определенная научная терминология и связанные с нею дискурсивные практики обязательно неявно *предполагают социальную иерархию* (Bühmann and Schneider 2008). Дискурсивные практики, как правило, имеют устойчиво воспроизводящийся перформативный (иначе говоря, ритуальный) элемент, смысл которого в закреплении в социокультурном пространстве определенного «рассказа» и содержащихся в нем представлений о реальности в рамках реализации символической власти

(Ореховский 2015). Последняя, в соответствии с концепцией «структуры полей» представляет собой отношения иерархии (господства – подчинения) в сфере производства интеллектуальных образцов (Бурдые 1994).

Далее мы более подробно рассмотрим два наиболее важных элемента построения дискурса «экономики», которые также являются его ключевыми чертами как в эпистемологическом, так и в социокультурном смысле, которые мы обозначили как «логический реализм» и «универсализм» (оба – характерные элементы формальных онтологий, имеющих возможности для широкой интерпретации и экспансии). Хорошо сконструированные экономические категории подразумевают их максимально широкую применимость, в идеале – универсальность. Предполагается (считается математически доказанным), что экономические законы «объективны», несмотря на «искажающее влияние» различных экзогенных факторов. Они описывают *взаимосвязи* между наблюдаемыми феноменами, и уже в силу этого обстоятельства сами феномены должны характеризоваться одними и теми же общими понятиями (универсалиями): капитал, прибыль, деньги, процент и т.п. Конечно, экономисты делают множество оговорок в отношении как характера, так и силы влияния экономических законов. Для корректной модели важен контекст. Однако даже оговорки и уточнения тяготеют к описанию с помощью универсалий: это *qwerty-effects*, эффекты колеи (*path dependence*) и «храповика», позиционное потребление, оппортунизм, доверие, асимметрия информации. Поэтому хороший исследователь должен отличать «сущность» экономических процессов от их «видимости», проводя своеобразную очистку исследуемых феноменов от влияния «экзогенных», случайных факторов и выделяя их *форму*, которая, в конечном счете, становится логическим/математическим объектом и существует в рамках формальной онтологии. Например, есть настоящая, представляющая денежное выражение стоимости, *равновесная* цена, а есть наблюдаемые ценовые блуждания, связанные с постоянными изменениями конъюнктуры.

Дискурс «экономики» принципиально основан на «логическом реализме» и тяготеет к метафизике. Поэтому здесь никого не смущает, что результаты моделирования всегда не совпадают с наблюдаемыми результатами — это *нормально*. Напротив, если использование модели даёт близкое к 100% совпадение с эмпирическими данными, возникают подозрения в специальной подгонке, мошенничестве.

«Рациональное/оптимизирующее поведение» как краеугольный камень теории мейнстрима репрезентирует собой *набор универсальных законов (структурных отношений)*. Они описываются *рядом категорий*, таких как «рынок», «равновесие», «спрос», «предложение», выступающих базовыми элементами онтологической структуры данной теории (Кошовец, Фролов 2013). В экономической науке, где произошло замещение содержательных онтологий формальными, они универсализируются и выступают структурными элементами порождения в рамках метафоро-математических моделей «возможных миров» (т.е. неких описаний того, как должно и могло бы быть, но в реальности не наблюдается). При этом в рамках дискурсивных практик, которые реализуются не в теории, а в социуме, данные категории (мифо-математично) не только универсализируются, но и неизбежно *онтологизируются*, т. е. начинают восприниматься как обозначающие реально существующие в мире объекты. Именно поэтому мы говорим о логическом реализме дискурса «экономики», подразумевая под «реализмом» понятие, восходящее к средневековому спору об универсалиях. Ниже мы рассмотрим примеры: а) концепт «человеческий капитал» — идеологическая «универсалия», позволяющая придать экономическую легитимность сферам образования и науки; б) «деньги» — полностью эмпирический феномен, в отношении «сущности» которого мнения экономистов принципиально расходятся (пример дилеммы); в) макроэкономическое равновесие — искусственный конструкт, онтологизированный в качестве сущности и выполняющий перформативные функции, так как играет принципиально важную роль в организации общественной жизни.

«Человеческий капитал» – удачный универсально-логический концепт (производная от универсалии «капитал»), позволивший решить массу проблем, возникающих как на макро-, так и на микроуровне, сохраняя универсальность и полноту мейнстрима. На уровне макроэкономики категория «человеческого капитала» позволяет проинтерпретировать «остаток Солоу» как результат роста инвестиций в образование и здравоохранение. Эти инвестиции осуществляются в основном государством, что дополняет частные расходы. Кроме того, чтобы достичь равновесия в длительном периоде, в модели Солоу используется неоклассическое допущение в отношении убывающей предельной производительности капитала. Это допущение, однако, не распространяется на «человеческий капитал». На микроуровне этот концепт хорошо объясняет необходимость получения высшего образования и различия в доходах между работниками, имеющими разную квалификацию. Непосредственная взаимосвязь между трудовым усилием и результатом имеет место только в условиях относительно простого «физического» труда, характерного для ремесленного производства и начала индустриализации. В современных условиях установить подобную связь между затратами труда инженеров, врачей, учёных и т.д. и результатами их труда практически невозможно. Метафора «человеческого капитала» позволяет непротиворечиво объяснять различия в доходах работников интеллектуального труда. Причём – что важно – «человеческий капитал» не исключает и не заменяет и «обычного труда», который сохраняется на низкостатусных рабочих местах. Таким образом, предложенное решение является универсальным, полным и по сути – неопровержимым в рамках общепринятых дискурсивных практик.

Проблемы могут возникнуть при попытке включения «человеческого капитала» в реальную хозяйственную практику. Коротко остановимся на некоторых из них.

- 1) В отношении владельцев «человеческого капитала» нельзя применять стандартные контракты о найме. Капиталист, который входит со своим капиталом

в фирму, может заключить инвестиционный договор, может ссудить свой капитал на какой-то срок — тогда это кредитный договор. В отличие от оборудования с владельцем «человеческого капитала» проводят собеседование и он может объявить забастовку.

- 2) Часть доходов владельца «человеческого капитала» не должна облагаться подоходным налогом, поскольку эти доходы представляют собой не что иное, как амортизацию. Отсюда возникает методологическая трудность — как распределить доходы, которые сейчас выглядят как зарплата плюс премиальные, на «амортизацию» и «прибыль».
- 3) Сложность состоит и в распространённой среди творческих людей практике совместительства, работы в нескольких местах. Как в таком случае будут выглядеть права собственности на подобный человеческий капитал? Как их идентифицировать?

По большому счёту, стандартную мейнстримную (стандартную) экономическую теорию не интересуют подобные «технические вопросы». В данном случае ситуация схлопывается от деятельности к чисто языковой практике. Данный концепт прекрасно работает как повествовательная практика (своеобразная басня на заданную тему).

Принципиально иная ситуация складывается в отношении использования концепта денег. Это — реальный феномен, который непосредственно используется в человеческой деятельности, однако в дискурсе «экономики» он приобретает статус абстрактной универсалии. Обсуждение данного концепта представляет для нас интерес, потому что в нем присутствует дилемма — представления о «сущности» этого феномена расходятся. Многие экономисты используют концепт так называемых «товарных денег», который лежит в основе количественной теории. В случае использования этого концепта деньги рассматриваются как средство обращения, которое позволяет субъектам обмена экономить на транзакционных издержках. Количество денег в этом



случае должно функционально соответствовать количеству товаров; излишек денег будет вести к инфляции, их дефицит — к дефляции. Отсюда возникает представление о том, что деньги всегда должны быть чем-то обеспечены — золотом, товарными ценностями и т.п. Альтернативный концепт связан с так называемыми фиатными, или «декретными», деньгами. Такие деньги всегда связаны с государством, которое выпускает их в качестве законных платёжных средств, а заодно ограничивает (регулирует) хождение на территории своей юрисдикции валют других государств. Как показывает, в частности, И.Э. Фролов, в этом случае деньги возникают как результат решения правителя (правительства) о способе сбора дани (налогов) (Фролов 2017). Развитие данного концепта ведёт и к обсуждению проблем сеньоража, и к дискуссиям об устойчивости банковской системы. Ряд исследований убедительно демонстрирует тесную причинно-следственную связь устройства банковской системы с политической формой государства (Каломирис, Хабер 2018). Однако признание фиатной природы денег ведёт либо к отрицанию истинности количественной теории, либо к введению важных допущений, в рамках которых её выводы сохраняют своё правдоподобие.

Наличие дилеммы противоречит универсализму курса «экономики». Поэтому существует несколько стратегий, позволяющих обойти указанное противоречие. Во-первых, это *замалчивание* альтернативных версий (в большинстве учебников по макроэкономике почти ничего не говорится о фиатных деньгах; рассматриваются только позиции «монетаристов» и «кейнсианцев»). Во-вторых, вводится понятие *«идеальных денег»* — только на эту сущность теперь полностью распространяются законы денежного обращения (эмпирическим аналогом такого идеала является, по-видимому, только американский доллар). Векселя, «электронные деньги», жетоны, золотые слитки и т.д. при данном подходе рассматриваются либо как платёжное средство для крайне ограниченных целей, либо как инвестиционный актив (средство сбережения-накопления). И в том, и в дру-

гом случае такие средства — «не деньги», так как они имеют: а) неполную ликвидность, б) не представляют собой «всеобщего эквивалента», поскольку не имеют «постоянной стоимости». В-третьих, существование «фиатных денег» фиксируется как *онтологическое зло*, связанное с наличием государства, и на их выпуск накладываются жёсткие ограничения (денежное правило Фридмена). В остальном же цены соответствуют гипотезе эффективных рынков, ценные бумаги объективно отражают отношение риск — доходность. Универсализм и «логический реализм» концепта сохраняются. При этом, поскольку государство, как мы видели из анализа нарративов чикагцев, вообще может быть зоной всевозможных аномалий, ничего удивительного, что оно портит рынки.

Рассмотрим теперь «макроэкономическое равновесие» и систему национальных счетов (СНС). СНС — это продукт эконометрической алхимии, т.е. с одной стороны развоплощения экономики (хозяйства) и пересборки ее как набора операций и статистических показателей (Breslau 2003), а с другой стороны, результат стандартизации, требуемой статистическими и эконометрическими практиками (Bos 2007. P. 20). Таким образом, это вид полностью искусственных конструкторов, используемых в дискурсивной практике «экономики». Сама по себе идея о том, что на какую-то конкретную календарную дату в экономике страны должно наблюдаться равенство макроэкономического спроса и предложения, объём агрегированных доходов должен равняться агрегированным расходам, кажется весьма странной и чисто умозрительной. Однако этот принцип был *перенесён в практическую деятельность*, организована система статистических измерений. Можно критиковать отдельные элементы данной системы — оценивать *неравновесие*, делать показатель ВВП *справочным*, а не основным, вводить экологические счета и т.д. (Стиглиц, Сен, Фитусси 2016).

Однако дополнения и модификации не отменяют основного — сама налаженная система статистической техники реализует и постоянно воспроизводит универсалистские

практики и убеждение в существовании описываемых ею сущностей, широко представленных в экономическом дискурсе – самым показательным является ВВП, который функционирует в культуре как «символ-икона» в классификации Веранн (Veran, 2012) на основе Пирса (Peirce 1998. P. 478)<sup>58</sup>. Система национальных счетов позволяет экономистам судить об эффективности действующих стимулов и санкций, делая дискурс и связанный с ним нормативный нарратив *реальностью*, т.е. это тот случай, когда имеет место описанная М. Каллоном перформативность экономического знания, его неотделимость от производимой им социальной реальности (Callon 2007). Именно такие концепты позволяют сохранять эпистемологическую целостность дискурса «экономики».

Обратимся теперь к дискурсу «экономической системы», который, как правило, используется в гетеродоксальных, не связанных с мейнстримом научных и экспертных практиках. Ключевой концепт дискурса «экономических систем» и связанных с ним теорий – «система», который изначально развивался в рамках системного подхода и представляет собой совокупность познавательных принципов, подразумевающих соответствующую ориентацию исследований. Эти принципы с *содержательной* точки зрения позволяют четко зафиксировать неполноту, недостаточность сложившегося предмета исследования, способов построения знания и сложившихся объяснительных схем (Юдин 1978). Важно отметить, что перечисленные «недостаточности» определяются на основе *практических* императивов. С методологической точки зрения данная категория была призвана решить проблему описания сложного объекта, так как исторически, как мы показали во второй главе, дисциплины формировались вокруг изучения простых объектов или их ключевых свойств (Огурцов 1988). Соответственно, в основе системного подхода лежит представление об объекте как о *сложной много-*

---

58. Знак типа «икона» предполагает полный «черный ящик», в котором все значение знака полагается на самого себя.

уровневой (неоднородной) системе, т.е. он позволяет формировать *новые предметы* изучения, задавать структурные и типологические характеристики изучаемым объектам, т.е. в итоге выявлять *более широкую* познавательную реальность. При этом из постулата о многообразии и разнородности типов связей внутри системы вытекает положение о том, что «система» как объект изучения позволяет сделать несколько расчленений (срезов) (Юдин 1978). Еще одной не менее важной характеристикой категории «система» является ее способность *улавливать границы*, т.е. устанавливая локалитеты, что позволяет учитывать специфику объекта во всей ее полноте, но препятствует его универсализации.

Однако использование концепта «системы» порождает свои методологические проблемы. Во-первых, что в реальности образует целостность? Где кончается «система» и начинается «среда»? Как определить границы между ними, не прибегая к утверждениям типа: «все – система»? Во-вторых, как задать метапозицию, чтобы оказаться вне системы? Если мы не проблематизируем субъект-объектных отношений в рамках системного анализа, т.е. не ставим вопроса о том, как задать систему как независимый от наблюдателя объект описания, то у нас не возникает гносеологических отношений. А это означает, что проблематично поставить вопрос об истине, т.е. об объективности получаемого знания. По своим познавательным установкам системный подход имеет много общего со структурно-функциональным анализом, с которыми его связывает не только оперирование понятиями структуры и функции, но и акцент на изучение разнородных (разнотипных) связей объекта. Как мы отмечали в предыдущей главе, в рамках структуралистского подхода структурное отношение понимается как совокупность правил, по которым из одного объекта можно получить некоторое множество других объектов путем различных симметричных преобразований. Однако имеется и другое базовое понимание «структуры» как устойчивого скелета какого-либо объекта. Еще со средних веков понятие «структура» использовалось

для определения понятия «форма» в смысле – «организация», «строение» содержания. В таком смысле структура – это *совокупность устойчивых (инвариантных) связей объекта, обеспечивающих его целостность* и тождество самому себе. Подобное понимание концепта «структура» позднее *соотносится с понятиями «система» и «организация»*. При этом если понятие «система» характеризует все множество проявлений и связей некоего сложного объекта в их целостности, то «структура» – лишь те отношения, что остаются устойчивыми, неизменными (в пределе универсальными) при трансформации или изменении системы.

В отличие от системного подхода структурализм как раз позволяет решить задачу получения объективного общезначимого знания и выведения исследователя за пределы исследуемой системы. Однако это достигается путем жесткой концептуализации и абсолютизации понятия «структура». Отметим ряд методологических проблем, связанных со структурным анализом в рамках системного подхода и возникающих при работе со сложными многоуровневыми объектами. Во-первых, исходно вычленение структурного аспекта *осуществляется, как правило, на некоторой знаковой системе (язык)*. Во-вторых, будучи ориентированным на изучение подобных систем, своим предельным объектом структурализм фактически видит мышление (сознание), зачастую понятое как глубинные структуры бессознательного и универсальные логические схемы, с которым отождествляются выявленные в знаковых и семиотических системах инварианты (Леви-Стросс 2001). Универсализация структур и отождествление их с базовыми принципами функционирования объекта (будь то мышление, культура или что-то другое) ведут к тому, что выявляемые исследователем структурные отношения, оппозиции и классификации зачастую *не являются внутренне присущими* изучаемому им объекту явлениями, напротив, они *представляют собой часть созданной ученым концептуальной схемы*. При этом характерным следующим шагом является *онтологизация* подобных концептуальных схем и структур,

так как они начинают пониматься как истина любой системы (ниже мы рассмотрим это на примере «технологических укладов»). В пределе это означает, что сам реальный объект во всей своей специфике заранее исключается из исследования. Однако ключевая проблема структурализма как самого по себе, так и в рамках системного подхода проистекает из сосредоточенности на поиске инварианта, что в принципе не позволяет (или крайне затрудняет) *улавливать вариации*. Более того, поскольку структуралистский подход предполагает рассмотрение в синхроническом срезе, то многие исследователи полагают, что на том уровне, где происходит анализ, историческое измерение вообще не имеет значения, целиком стирается (Гуревич 1993). Неспособность описывать вариации приводит к *принципиальной статике объекта* (системы) и отсутствию средств для описания динамики, переходов и развития (проблема зарождения, формирования и исчерпания объекта). В лучшем случае динамический аспект предстает как диахронический срез — т.е. трансформация по абстрактным схемам.

Ключевыми свойствами дискурса «экономических систем» являются ориентация на описательные (т. е. содержательные, а не квантифицированные в статистике) эмпирические данные и то, что мы обозначили как «номинализм». Мы используем здесь понятие «номинализм» как в исходном смысле, идущем от средневековой философии (MacLeod, Rubenstein 2006), так и в смысле, отчасти близком к методологии истории. Согласно номинализму — в философском контексте — реально существует лишь единичное, тогда как универсалии есть продукт мышления. Таким образом, здесь отвергается сама идея построения универсального абстрактного объекта, а внимание сосредоточено на изучении и описании конкретного феномена (фрагмента действительности)<sup>59</sup>. Согласно номинализму — в историко-методологическом кон-

---

59. В схожем смысле «номинализм» используется в современной англо-американской, и в частности аналитической, философии. В целом употребление этого концепта там является двойственным, помимо непосредственно средневековых импликаций, оно также включает идею отвержения, отказа от «абстрактных объектов» (Rodríguez-Pereyra 2008. §1).

тексте — исторический процесс выглядит как бесконечное повторение (но каждый раз в новых условиях) одних и тех же стадий — роста, расцвета и гибели применительно к отдельным, обладающим неповторимостью культурам (системно-структурным целостностям) (Сорокин 2000). Эта повторяемость обязательно предполагает некую схему, инвариантную структуру процесса (либо во временном, либо в пространственном аспекте), однако при этом постулирует уникальность и неоднородность элементов каждой исторической (социокультурной) системы.

Кроме того, номинализм дискурса «экономических систем» связан с попытками описания феноменов «как есть», как мы их наблюдаем в реальности. К примеру, здесь нет проблематизации, связанной с тем, является ли описываемая система «рыночной» или «нерыночной», достаточно того, что она «экономическая» в отличие от «политической», «механической», «биологической» или какой-то ещё. Такой способ описания одновременно является и эмпирическим — собственно, одним из ключевых требований системного анализа является включение рассматриваемого объекта в контекст, только в этом случае возникает «система». Напротив, в вакууме, или, что то же самое, безотносительно к большинству изменений «среды» функционирует «машина», «механизм». С одной стороны, «включение контекста» является сильной стороной дискурса «экономических систем», с другой стороны, это исключает универсализм — такое описание изначально предполагает *разнородность объектов*. Если использовать приём Р. Коуза, который рассматривал неоклассическую теорию как случай, когда транзакционные издержки равны нулю, то «экономика» (оптимизирующее поведение агентов) — это случай «экономических систем», когда контекст (среда) функционирования экономических акторов остаётся неизменной (и по сути исключается из рассмотрения). Ниже мы рассмотрим примеры: а) нынешнего ренессанса неомеркантилизма в латиноамериканском структурализме, который демонстрирует сильные эмпирические стороны дискурса

«экономических систем», и б) дискурс «технологических укладов», который позволит нам увидеть, как теоретический концепт, основанный на системном подходе и изначально нацеленный на описание и понимание сложных комплексных процессов, может привести к эмпирической эклектике и, в конечном счете, превратиться в универсальную метафизическую объяснительную схему, игнорирующую контекст.

Возникновение латиноамериканского структурализма как особого направления экономического анализа было связано с проблемами Латинской Америки, и особо – гипотезой Зингера–Пребиша о неэквивалентном обмене между богатыми и бедными странами. В теории Зингера–Пребиша периферийные экономики зависят от стран «центра»: периферийные экономики сравнительно бедны, экономики «центра», «ядра» сравнительно богаты (Ореховский 2016; 2017). Принципиальным является и то, что в отношении технологий и капитала периферийные экономики зависят от экономик «центра», что делает возможным применение со стороны последних различных экономических санкций, включая торговое эмбарго с целью нанесения ущерба периферийным странам (Love 1980).

Уже в 1980–1990-е годы этот дискурс сменяется Вашингтонским консенсусом. Вместе с тем, он вновь актуализировался во втором десятилетии XXI в., но без каких либо отсылок на свою латиноамериканскую предысторию. Так, Э. Райнерт пишет о возрастающей и убывающей отдаче, ссылается на старые меркантилистские памфлеты, вспоминает исторический подход Ф. Листа, но не политику импортозамещения, которую пытались проводить в Аргентине во времена Х. Перона (Райнерт 2014). Почти ничего не говорится о латиноамериканском структурализме и в более ранней, относительно «мейнстримной», большой обзорной работе, где история мировой экономики рассматривается в том числе и со структуралистских позиций (Ван Дер Вее 1994). Это представляется нам закономерным – так, Райнерт, хотя и говорит о «другом каноне», пытается выстроить уни-



версалистскую концепцию. Несмотря на то что его подход является альтернативным по отношению к традиции «Рикардо – Хекшер-Улин – идеология глобализма», в целом Райнерт старается вписать свои построения в дискурсивные практики «экономики», но не «экономической системы». Однако материал сопротивляется, ведь даже простое различие богатых и бедных стран требует введения определённого контекста (Ореховский 2016; 2017).

Истории о санкциях и контрсанкциях, интеграционных союзах и их кризисах, валютной политике, нефтяных или алмазных международных картелях не получается рассказать подобно нарративу мейнстрима, имеющему жесткую стандартную структуру и заданный набор персонажей. Более того, такие истории требуют привлечения не только экономического, но и социального материала. Так, некоторые элементы описания в работе Э. Райнерта имеют очевидные параллели с исследованиями, выполняемыми в рамках мир-системного подхода Ф. Броделя (2006–2007) и И. Валлерстайна (2001). Иерархическая система, имеющая в каждый период времени ядро, полупериферию и периферию, изначально предполагает невозможность повторения периферийными странами чужих траекторий развития и вхождения в ядро системы; другими словами, здесь нет «общих закономерностей процесса модернизации». Однако закономерности неэквивалентного обмена, описанные как Ф. Броделем, так и Р. Пребишем (1992), инвариантны по отношению к эволюции мир-системы.

В целом, дискурсивные практики, связанные с неомеркантилизмом, описывающие ситуацию «как есть» и абстрагирующиеся от «глубинных реалистических» последствий выстраивания однородной глобальной экономики, в которой «от свободной торговли выигрывают все», являются весьма продуктивным направлением структурного анализа, имеющим очень давние традиции. Между тем, дискурс «экономики» применительно к неомеркантилистским идеям может использоваться исключительно для вынесения *нормативных* суждений. Так, Д. Родрик сокрушается по поводу недалё-

новидности западного истеблишмента, вводящего санкции и тем разрушающего сложившиеся институты мировой торговли, а также возмущается тем, что относительно бедные страны не желают принимать модель благотворного глобального внешнего управления и вынуждают мудрые богатые государства заниматься их «перевоспитанием» (Ореховский 2016). Это приводит их к выводам, выходящим за пределы нарративов дискурса «экономика» — между национальными государствами, демократической политикой и «гиперглобализацией» существуют непримиримые противоречия (Родрик 2014). Между тем, М. Портер делает иной, но тоже нормативный вывод, встраивающийся в нарративы дискурса «экономики» — комплекс убеждений, установок и ценностей, касающихся экономики, «должен стать единым для всех» и вопрос лишь в том, «готова ли та или иная страна добровольно освоить производительную позитивную экономическую культуру» или «эти изменения ей придется навязывать» (Porter 2000. P. 28).

Обратимся теперь к доминирующему в российской экономической и экспертной знании нарративу о «технологических укладах». Обсуждение этой темы предполагает, что авторы используют дискурс «экономических систем», так как каждый такой уклад мыслится как система. Анализ технологических укладов позволяет исследователю бесконечно погружаться в описание структуры системы. Такой подход, конечно, не является новым. Например, в своё время Н.Н. Колосовский, характеризуя территориальные комплексы, выделил восемь генерализованных энергопроизводственных циклов (Колосовский 1958). В рамках последних описывалось большинство «технологических цепочек», которые складывались во время индустриализации. Эта работа оказалась забыта, однако в начале 1990-х годов описание аналогичных «цепочек» получило свое продолжение в рамках концепции «технологических укладов» (Глазьев 1993). Затем эта идея была вписана в более широкий исторический контекст, поскольку считается, что каждый такой уклад

формируется в рамках большого кондратьевского цикла (БКЦ) и описывает технологическую структуру «как она есть». Включение в БКЦ помимо прочего позволяет частично моделировать развитие «технологических укладов». В итоге предложенная С.Ю. Глазьевым теория по ряду причин, требующих отдельного анализа, в конечном счете, породила мощную дискурсивную практику, вызвавшую к жизни огромный поток научных и экспертных работ, а также дискуссий в экономическом, политическом и медийном пространствах. Почти любая дискуссия, и даже ряд правительственных документов, посвященные модернизации или инновационному развитию экономики или прогнозированию технологического развития и т.п., содержат в себе отсылку к идее «технологических укладов».

Следует отметить, что авторы, пользующиеся концептом «технологических укладов», позиционируют его как принципиальную альтернативу экономическому мейнстриму (дискурсу «экономики»). Это вытекает не только из места «технологических укладов» в современной дискуссии по экономической политике в РФ, но исходно из самих принципов построения теории. Так, К. Перес, вводя для характеристики смены технологий понятие технико-экономической *парадигмы*, отказывается от концепта больших кондратьевских циклов как циклов *конъюнктуры*, что проявляется, в частности, в датировке её «парадигм». Даты сдвигаются к середине кондратьевского цикла, к появлению новых опытных разработок в сфере науки и техники (Перес 2011). Такое построение действительно оказывается в «ортогональном» отношении к мейнстриму – здесь исчезает не только само понятие «равновесия», но отбрасываются и все сопутствующие представления о закономерностях формирования цен и доходов, потребительских предпочтениях, инфляционных ожиданиях. С.Ю. Глазьев и его последователи в рамках дискурса «технологических укладов» продолжают традиции, заложенные К. Перес, но акцентируют внимание на пятом и шестом технологических укладах и на проблеме государ-

ственного стимулирования развития передовых технологий. При этом в рамках данного дискурса мало уделяется внимания механизмам выделения и идентификации технологий в качестве «передовых» и «приоритетных», тогда как финансы выступают исключительно как инструмент, необходимый для государственного перераспределения ресурсов в пользу передовых технологий.

Второй важный результат данной дискурсивной практики — она объясняет, что должно делать правительство и в этом плане пытается бороться за символическую власть и интеллектуальное доминирование с либерально-мейстримным нарративом в рамках дискурсивной практики «экономики». Поэтому в рамках этого дискурса мы легко можем обнаружить устойчиво воспроизводящийся перформативный элемент с целью закрепления в социокультурном пространстве определенного «рассказа». Чтобы догнать передовые страны, перейти к шестому технологическому укладу, нужно внедрять технологии грядущего уклада. По сути, дискурс «укладов» представляет собой образец *технологического детерминизма*: внедрение новой техники автоматически вызовет прогрессивные социальные изменения, решит проблемы бедности, дефицита бюджета, инфляции, доступности кредита и т.д. Между тем, концентрируясь на технологических укладах как ключевой повторяющейся структурной компоненте системы, подобное видение игнорирует реальные механизмы технологического развития, к примеру, институциональный аспект. В действительности за сменой лидирующих технологических укладов и «парадигм» обнаруживаются конкретные интересы в продвижении и поддержке тех или иных проектов в качестве наиболее перспективных. Огромная капиталоемкость любых прорывных технологий, а тем более масштабное преобразование на их основе целых областей требует активного поиска дополнительных финансовых ресурсов, а следовательно, сплоченного лоббирования в расчете на превращение в доминирующий тренд и получение поддержки со стороны государственного сектора, крупного бизнеса, фондовых рын-

ков (Фролов 2012. С. 54–55). Новейшим образцом подобного лоббирования является повсеместно продвигаемый на всех уровнях от Всемирного банка и Экономического форума в Давосе концепт «четвертой промышленной революции» («цифровой экономики») (Кошовец и Ганичев 2017).

В целом дискурсивная практика «экономических укладов» интересна тем, что, используя «экономическую систему», она неявным образом избавляется от «экономического», сводя все проблемы к «технологическим». Описание и анализ функционирования «рынков», «регионов», «государств» здесь по большей части заменяется описанием «развития технологий». Такая подмена вполне закономерна, если ключевое значение в рамках исследования/ нарратива приобретает обнаружение/ постулирование универсальных структур и схем, а контекст их функционирования становится малоинтересным.

Итак, с эпистемологической точки зрения ключевой особенностью дискурса «экономики» является универсализм и своеобразный «логический реализм». Здесь возможно *здать максимально универсальный абстрактный объект*. Это значит, что он потенциально может выходить не только за пределы пространственно-временной ограниченности (экономические законы одинаковы и существует *везде и всегда*), но и за пределы порождающей дисциплинарной области, т.е. такой универсальный объект обладает способностью к дисциплинарной экспансии (экономическое/оптимизирующее поведение *универсально* и обнаруживается в любой социальной сфере, и даже у животных). Фактически, в этом смысле, «экономика» – это универсальная структура поведения, которая собственно не исчерпывается «экономическим». Эту тему мы рассмотрим в следующей главе. Здесь же еще раз отметим, что, будучи преобразованы в универсальные абстрактные объекты, ключевые категории и понятия дискурса «экономика», такие как «рынок», «капитал», «равновесие», «принятие решений», «спрос», «рост» и т.п. в силу своего универсализма, априоризма и логической природы начинают

существовать как порождающие элементы формальных онтологий (т.е. как формальные, а не содержательные структуры предметности).

Именно после подобного преобразования данные концепты становятся универсально применимыми и способными к порождению *универсальных объяснительных схем*. Вместе с тем, мы полагаем, что универсализм здесь работает на экспансию не только в дисциплинарном, но и в институциональном, социокультурном и политическом аспекте. Этому способствует сциентизация ключевых концептов дискурса «экономики» (т.е. соответствие парадигмальным стандартам производства знания в математике и физике), математическая форма репрезентации, графическое представление (средство объективации, придания наблюдаемого характера), а также инструментальность и «технологичность» (в качестве базового технического средства выступает статистика). Все эти способы производства и формы представления знания имеют в современном обществе и в рамках сложившейся культуры *наиболее высокий уровень доверия*. Поэтому вполне закономерно, что этот дискурс является *доминирующим* не только в теории, но и в рамках других общественных форм воспроизводства знания.

С эпистемологической точки зрения ключевой особенностью преимущественно гетеродоксального дискурса «экономических систем» является своеобразный номинализм, по сути своей отвергающий идею построения универсального абстрактного объекта, так как направлен на познание единичного (реально существующего) и стремится к его объективному («как есть») описанию. Поэтому данный способ говорить об «экономическом» работает в отличие от дискурса «экономики» с содержательными онтологиями. При этом дискурс «экономической системы» опирается на базовую категорию «система» и, соответственно, в той или иной мере подразумевает системный анализ и родственные ему методологические подходы. Благодаря этому вводится онтологическая неоднородность, многоуровневость (структурная многослойность) и пространственно-временная

локализация объекта, что принципиально мешает построению универсальных дискурсивных практик. Однако в рамках дискурса «экономических систем» речь идет не только о попытках *описать реальную (эмпирически наблюдаемую) целостность* (систему), принимая во внимание ее качественное своеобразие, *но и о поисках инвариантных структур*, которые существуют в рамках некоей сложной целостности и сохраняются неизменными в ходе ее развития, т.е. имеют признаки универсальности. В рамках системных описаний подобные инвариантные структуры устойчиво воспроизводятся этой целостностью — однако механизм воспроизводства зачастую не описывается, а просто вводится как онтологическая предпосылка, задающая структуру построения описания. Вместе с тем, если в рамках дискурса «экономики» объект задается принципиально как статичный и неизменный, в рамках дискурса «экономических систем» такими признаками обладает лишь часть объекта. Однако потенциально имеется возможность перекоса в сторону этой части, как мы видели это на примере дискурса «технологических укладов».

С социокультурной точки зрения ригидная, универсалистская структура дискурса «экономики» делает его *убедительным (авторитетным)*, помогая успешно осуществлять перформативные функции в рамках различных социальных практик. В этом контексте экономическое знание, порождаемое в рамках данного дискурса и связанных с ним научных и глобализованных образовательных практик воспроизводства мейнстрима (Fourcade 2006), следует рассматривать не просто как знание об экономическом, но как «важную силу, участвующую в движении границ экономического». В этом контексте соответствие экономического знания реальности возрастает по мере того, как раздвигаются границы самого экономического (Юдин 2011. С. 16). В конечном счете, универсализм и логический реализм дискурсивной практики «экономики» формирует определённую реальность — и эта реальность оказывается единой для многих, если не для боль-

шинства, экономистов. То есть здесь речь идет уже не только о социокультурном конструировании *смысла* «экономического», но о конструировании «экономического» («экономики») как таковой.

Именно поэтому, как мы отмечали в первой главе, среди экономистов утверждается мнение, что «лучшая экономическая теория не имеет целью быть наукой», ее задача рассказывать «вдохновляющие истории» (Leamer 2012). В социокультурном контексте это означает способность модели как семиотического феномена производить «нужную» реальность (и связанную с ней систему убеждений и представлений).

В отличие от мейнстрима в дискурсивных практиках «экономических систем» нет «жесткого ядра», которое формирует необходимое единство дискурса, приверженцы синергетики, экономической физики, новой экономической истории, информационной экономики, экономической социологии и т.д. говорят «на разных языках». Здесь осуществляется лишь социокультурное конструирование *смысла*, который мы придаем экономике («экономическому»), полагая его *независимо существующим* фрагментом действительности, но не конструирование самой экономики (рынков). Это значит, что в той или иной мере *сохраняется эпистемологическая задача* объективной репрезентации и описания объекта. Однако в случае возникновения условий для расширения дискурсивной практики какой-либо «экономической системы» — ярким примером тут является дискурс «технологических укладов», — её сторонники пытаются захватить место доминирующего дискурса и навязать уже свои правила «рассказывания историй». Неизменным следствием этого является переход от эпистемологических задач к социокультурному конструированию и производству реальности, в рамках которой важно не то, что является истинным или объективным, а во что люди верят и на основании чего они действуют (Samuels 1991).



Глава IV

НЕЙРОЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИИ  
ВОСПОЛНЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ОНТОЛОГИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

**1. Нейроэкономика, экономический империализм и эпистемологические интервенции**

Нейроэкономика предстает как междисциплинарный проект, одним из компонентов которого является нейронаука. Что она представляет из себя в эпистемологическом и онтологическом плане? И насколько правильно говорить о том, что нейроэкономика это разновидность экономического империализма? Ведь нейронауки обладают не меньшим колонизаторским потенциалом, все их развитие отмечено бурной эпистемологической интервенцией в самые различные дисциплины.

Нейронаука – это искусственный гибрид из относительно автономных и также отчасти гибридизированных дисциплин, таких как нейрофизиология, нейрохимия, нейрогенетика, нейроэндокринология (Abi-Rached Rose 2010). Между тем, этот гибрид гораздо больше, чем новое научное направление, правильное говорить о нейронауке как о новом значимом агенте перераспределения знания и власти. С этим связана весьма быстрая институционализация и профессионализация нейронауки в США, Великобритании и ряде стран Европы, поддерживаемая как многомиллионными государственными грантами, так и мощными вливаниями частных фондов и гигантов фармакологической промышленности (Schmitt

1990). Однако важнее, что нейронаука выходит за пределы собственно сферы научного производства, ее правильнее было бы охарактеризовать как трансэпистемическую область на стыке академической сферы, биомедицинской индустрии, политико-экономических практик и масс-медиа. Поэтому можно сказать, что речь идет о нейрологизации западной культуры, так как лежащий в основе нейронауки нейроцентризм стал конститутивным элементом многих популярных дискурсов и практик (Thornton 2011; Pykett 2015).

О силе приставки «нейро-» свидетельствует тот факт, что стоит ее добавить к любой дисциплине или исследованию, как их убедительность и объяснительная сила значительно увеличиваются (Skolnick Weisberg, Keil et al. 2008). На этом фоне нейронаука постепенно превращается из научного направления, изучающего мозг и его работу, в целую индустрию, которая поддерживается разветвленной институциональной сетью и политикой распределения грантов, захватывая все новые и новые сферы знания о человеке (его поведении). При этом нейродискурс претендует на создание новых стратегий контроля и нормирования, а нейробиологи готовы стать новыми экспертами в управлении человеческим поведением. Новые науки о мозге от нейропсихиатрии и нейроэкономики до нейротеологии и нейроэстетики начинают определять наше понимание человеческого поведения, как никогда прежде («как мозг заставляет нас делать глупости», «как наш мозг нас обманывает», «как наш мозг принимает решения» и т.п.). Нейробиологические концепции личности обуславливают все, от воспитания детей до уголовного правосудия, и трансформируют способы, которыми мы «познаем себя» как человеческие существа (Rose, Abi-Rached 2013). В основе этих претензий и базирующихся на них обширных практик, включая экспансию нейродискурса в самые различные сферы, лежит представление о том, что именно *мозг делает нас людьми*, иными словами основой нейроцентризма в культуре является представление о тесной связи мозга и самости, или личности, человека.

Эта тема, как и анализ масштабных практик нейрологизации субъективностей в ходе самых различных социальных практик детально исследуется в книге «Быть мозгом: создание церебрального субъекта» (Vidal, Ortega 2017), авторы которой, с одной стороны, последовательно пытаются денатурализовать связь между мозгом и самостью, которая благодаря нейронаукам и особенно связанным с ней практикам визуализации, кажется самоочевидной, естественной, эмпирически обоснованной, а, с другой, показывают, что отнюдь не нейронаука (и даже не науки о мозге) породили представление о связи мозга и самости, оно лежит в основании западноевропейской культуры и некоторых научных практик Нового времени. Церебральный субъект или, иначе говоря, специфический способ мышления личности, подразумевающий редукцию человека к его мозгу (Vidal, Ortega 2017. Р. 6), так или иначе, восходят к механическому материализму XVII—XVIII вв., который определяет мозг как материальный субстрат психического, сознания, самости, а также порождающую причину образа реальности вокруг нас и субъективного опыта. Анализируя весьма репрезентативный трактат Шарля Бонне 1760 г., Ф. Видаля и Ф. Ортега показывают (Ibid. Р. 33), что определение мозга как вместилища души, субъектности или даже инструмента, с помощью которого изначально в некотором смысле одинаковые души могут проявлять себя по-разному, — это метафизический тезис, а не научный факт, обоснованный концептуально и/или подтвержденный эмпирически. Однако он не просто описывает нововременные представления о человеческой природе, но и определяет последующие практики работы с человеческой субъектностью.

Нейронаука лишь продолжает эту магистральную линию европейской культуры, принимая тезис о связанности мозга и сознания как базовую предпосылку и задним числом постоянно подтверждает ее, в том числе за счет нейровизуализации. При этом некаузальные отношения корреляции и связи трансформируются в каузальные утверждения. Подчеркнем,

что снимки МРТ принципиально не доказывают, что личность — это ее мозг: «корреляция между ментальными состояниями и состояниями мозга несомненна, но механизм порождения мозгом сознательного опыта неизвестен, как неизвестны в точности и структуры или процессы мозга, выступающие материальным субстратом сознания» (Писарев 2018. С. 305). Более того, одной из главных эпистемологических проблем нейровизуализации сознания является проблема интерпретации, поскольку нейровизуализация принципиально не является непосредственным наблюдением, получаемые изображения не фотографии и не содержат той обширной фоновой информации, которая необходима для их интерпретации (Станжевский 2014. С. 118).

«Империалистические поползновения» нейронауки можно охарактеризовать тремя последовательными стратегиями: продвижение вверх (позиция науки-лидера), пролиферация (создание новых наук с приставкой нейро-), экспансия (колонизация других наук). Рассмотрим эти стратегии подробнее.

Описанная выше церебрализация — это скорее предпосылка, определяющая метод и направление исследования, а также интерпретацию полученных данных, нежели реальные результаты экспериментов. Вместе с тем, именно она *имплицитно задает новую иерархию форм знания и соответственно дисциплин*, изучающих человека, его поведение (самость). Во главе этой иерархии оказывается нейронаука (с экспериментальными данными нейровизуализации), которая вытесняет когнитивные науки (теорию когнитивных функций и модулей), так как, сохраняя основную объяснительную схему с мозгом, экспериментально углубляет представление о ментальной каузальности, вскрывая и визуализируя «черный ящик», — т.е. выявляя наблюдаемый материальный субстрат ментальных состояний и психических реакций и тем самым *предлагая новые технологии* изменения поведения индивидов и организации общества. Во-вторых, нейронаука — это также прежде всего технологии (фМРТ, реже

позитронно-эмиссионная томография и электроэнцефалограмма), предоставляющие возможности получать бесчисленное множество новых эмпирических данных, что позволяет претендовать на позицию дисциплинарного эталона для целого ряда других дисциплин, субдисциплин и направлений *путем «привязки» их к своим познавательным и технологическим ресурсам* (механизмы нейроколлаборации и ее институционализация). Это неизбежно подразумевает для науки-лидера пролиферацию, так как благодаря своим конкурентным преимуществам она создает новую исследовательскую перспективу, «апробированный путь» (и соответственно новое исследовательское сообщество). При этом успешное создание «субдисциплин-сателлитов» — бесконечного числа все новых нейродисциплин — лишь усугубляет ее лидерские позиции и дальнейшие притязания.

На этом этапе происходит выработка «нейромолекулярного взгляда» — особого *стиля доктринального мышления*, подразумевающего специфическую методологию и язык, который проявляется в редукционистском подходе к объяснению сложных явлений, относящиеся к мозгу, поведению и нервной системе<sup>60</sup>. Иначе сказать, в основе дискурсивных практик, формирующих нейроидеологию (нейродоктрину) — «властное» (в латуровском эпистемологическом смысле) объяснение, которое предполагает приведение всего предметного поля к единому объяснительному принципу (Lynch, Larson 2009. P. 7). Результатом «продвижения вверх» и пролиферации становится претензия дисциплины на *универсальную эпистемологию*, что открывает широкие возможности

---

60. В его основе последовательный редукционизм: нейрологизации предшествует парадигматический сдвиг в изучении мозга, произошедший в 1950-е гг., от нейрофизиологии к нейрохимии (изучение нейробиохимических основ мозговой деятельности) и затем т.н. молекулярная революция («молекуляризация»), которая ознаменовала собой не столько новый технический или методологический подход, сколько кардинальные изменения в стиле мышления, дискурсе, концептуальном языке, восприятии мозговых феноменов (Abi-Rached 2012. Pp. 191–192). Ключевая особенность молекулярного подхода к мозгу — это точка зрения со стороны так называемых базовых наук, основной идеей которых является поиск на нижнем молекулярном уровне, лежащем в основании всех крупномасштабных объектов классической биологии (Astbury 1961. P. 1124).

для дисциплинарной колонизации других областей знания. Вполне закономерно, что именно социальные и гуманитарные науки стали объектом нейро-колонизации: нейронаука не только наследуют и экспериментально поддерживает тезис о тождестве мозга и личности, но и вслед за когнитивными науками радикализируют его, отождествляя мозг и ментальные состояния, культуру, искусство и социальные структуры (это легко позволяет когнитивистская трактовка культуры, как и символическо-интерпретационный подход в стиле К. Гирца -Гирц 2004).

При этом нейронаука не стремится внести значимый вклад в объяснение предметных областей колонизируемых наук, а лишь производит их «нейрологизацию», пытаясь формировать универсальную предметную область для всех нейродисциплин *путем установления общей объяснительной модели*: а именно то, как связываются элементы предметного поля с элементами аксиоматического ядра (данностями) нейронауки, каковым выступает фундаментальное допущение о связи между когнитивным уровнем и уровнем нейронных связей, подразумевающее, в частности, строгое соответствие между отдельными когнитивными функциями и отдельными областями нейронной активации.

Это центральный элемент познавательной стратегии и объяснительного стиля нейронаук. Поэтому, к примеру, нейронаучное объяснение психологических феноменов зачастую может представлять собой лишь простое сопоставление поведенческих данных с нейронаучными данными (зачастую скудными) или вовсе ограничиваться утверждениями об участии мозга в рассматриваемых психических процессах (поведении). Следует особо подчеркнуть, что объяснительная модель нейронаук подразумевает, что именно мозг (уровень нейронных связей) в ней более значим, важнее, — то есть именно он обладает *реальным онтологическим статусом (весом)*, именно это позволяет нам интерпретировать что-то (объяснять что-то), ссылаясь на мозг, называя его причиной. Таким образом, нейронауку можно охарактеризовать как

особую систему по производству дискурсивных практик (и соответствующих риторических приемов), формирующих и воспроизводящих *специфический стиль редуционистского мышления* и видения, опирающийся на натуралистическую эпистемологию и имеющих в качестве *объясняющего инварианта — мозг*.

Обратимся теперь к собственно нейроэкономике. Эта дисциплина относительно молодая и принципиально позиционируется и воспринимается как междисциплинарная. Однако что по существу скрывается за этой междисциплинарностью? Насколько новая дисциплина зависит от нейронаук и является продуктом их колонизации социальных и гуманитарных дисциплин? Прежде всего, следует отметить, что исследователи, анализирующие предметное поле нейроэкономики, обращают внимание на ее принципиальную неоднородность, внутри дисциплины существуют две разные исследовательские программы (Ross 2008). Одна из них исходит из радикальной революционной перспективы, согласно которой традиционные экономические теории должны быть существенным образом модифицированы или даже вовсе заменены в пользу нейроэкономических построений. Другая полагает, что то, как экономисты моделируют предпочтения или принятие решений, в целом верно, но при этом стремится уточнить и обогатить специфические экономические модели и традиционные концепты нейропсихологическими данными (Fumagalli 2015). Эти различия являются следствием исходно разных исследовательских подходов и эпистемологических стратегий построения дисциплины (Vromen 2007).

Рассмотрим исследовательские программы нейроэкономики подробнее. Первое направление — это т.н. «поведенческая экономика в сканере» (behavioral economics in scanner, далее — ПЭС) или «собственно нейроэкономика» (neuroeconomics proper) (Craver Alexandrova 2008), которая пытается привлечь нейробиологию к решению задачи лучше интерпретировать экономическое поведение (Camerer, Loewenstein 2004, Camerer et al. 2005). Фактически, это про-

ект дополнения поведенческой экономики нейробиологическими исследованиями, поэтому в нем участвуют множество исследователей из поведенческой экономики. Конкретно речь идет о привнесении в исследование экономического поведения нейробиологических методов, концептов, экспериментальной базы и технологий. Следует отметить, что необходимой предпосылкой этого проекта является сформировавшиеся в рамках мейнстрима представления о предмете экономической теории как о поведении, которое делает принципиально возможным проникновение в экономическую теорию психологии (тех ее разделов, которые изучают поведение или редуцируют психическое к наблюдаемому, т.е. к поведению). При этом психология не стремится к замещению предметного ядра и ключевых данностей экономической теории, но предоставляет определенные исследовательские практики – прежде всего, экспериментальные, – на основе чего формируется поведенческая экономика как относительно самостоятельная дисциплина естественнонаучного типа<sup>61</sup>. Аналогично формируется и исследовательская программа ПЭС.

Однако некоторая деформация предмета экономической теории под влиянием экспериментальных практик и исследовательского инструментария психологии все же происходит. Речь идет о концепции субъекта, причем дело здесь не только в его рациональности или нерациональности (что пытается показать множество исследований в области поведенческой психологии). Стандартная экономическая теория оперирует на уровне индивидуального поведения акторов, это поведение принципиально наблюдаемо. Типичный

---

61. Демонстрируя, что традиционная (неоклассическая) теория во многих случаях не работает, поведенческая экономика чаще всего на этом и останавливаются. Вскрывая многочисленные нарушения принципа рациональности, встречающиеся в реальной жизни, они обычно описывают их как всего лишь сбои конвенциональной модели, а не как предсказания, вытекающие из какой-либо иной, конкурирующей теоретической парадигмы (Капелюшников 2013). Кроме того, эта дисциплина не предлагает какой-либо синтетической теории, «общей теории когнитивных ошибок» и ее адепты не испытывают в этом какой-либо потребности (Wright, Ginsburg 2012).



пример — выбор (на основе предпочтения) неким экономическим агентом одного блага из других. Психология акцентирует внимание преимущественно на ментальных состояниях и процессах (которые трактуются как скрытая, непосредственно ненаблюдаемая сторона поведения — это намерения, мотивы, чувства, верования и ценности, мыслительные процессы и т.п.) (Angner, Loewenstein 2007). Мотивы фиксируют собой смещение интереса (а, следовательно, и причинности) на другой как бы *нижележащий уровень*.

Формальная близость бихевиористской психологии к биологии и способность предложить модели инкорпорирования результатов нейронауки в концепции поведения (Padoa-Schioppa 2008), а также отработанные схемы использования методов экспериментальной психологии в поведенческой экономике позволили организовать схожим образом нейроэкономические исследования. Обычно они предполагают стандартный протокол действий — группе испытуемых предлагается совершить определенные действия (имитационную игру), экспериментаторы в это время сканируют их мозг, выявляя активность разных его частей во время принятия тех или иных решений. Таких исследований на данное время множество (см. например: (Sanfey et al., 2003; Naqvi et al., 2006; Krueger et al., 2007; Hampton et al., 2008)) и их цель как бы спуститься еще на один уровень ниже к нейронным процессам, которые выступают материальным субстратом, *причиной / механизмом* поведения и ментальных состояний. При этом происходит дальнейшая деформация предмета экономической теории: *обнаружение материального механизма*, стоящего за поведением, редуцирует его носителя — экономического агента — к нейрофизиологическим состояниям и биохимическим процессам, и, по сути, превращает в эпифеномен (и устоявшуюся в рамках традиционного экономического дискурса привычную языковую конвенцию).

В рамках этого исследовательского проекта закономерно встает вопрос об *эпистемологической автономии* нейроэкономики. Является ли она еще одним экспериментальным

дополнением к системе экономического (и шире социального) знания, позволяя вскрыть некоторые ранее оставшиеся в тени, но значимые причины экономического поведения? Часть экономистов воспринимают нейроэкономику именно как интервенцию нейронаук в область экономического знания, считая выяснение содержания «черного ящика» (поведения) нерелевантным задачам экономической теории, и выдвигая радикальный аргумент против такого рода исследований: «экономические модели не делают предсказаний или предположений относительно температуры тела, уровня сахара в крови или по поводу других физиологических данных, следовательно, подобные данные никак не опровергают и не доказывают несостоятельность экономических моделей» (Gul and Pesendorfer 2008. P. 19).

Заметим, что суть этого аргумента в указании на принципиальное концептуальное различие и несовместимость, за которым стоит онтологический разрыв между социальным и биологическим и отсутствие средств описания переходов между ними и их совмещения (если таковым не считать редукцию). Чтобы можно было оценить подобный аргумент, П. Хойнинген-Хюне предлагает нам представить воображаемую новую науку «нейроматематику» и ответить на вопрос, может ли подобная дисциплина, исследуя активность мозга в процессе математического доказательства, внести вклад в математику, в частности, помочь отличить действительные доказательства от недействительных, найти более простое и более элегантно доказательство или альтернативную аксиоматизацию? (Hoyningen-Huene 2015). Менее радикальный аргумент экономистов против нейробиологической интервенции заключается в том, что мы конечно можем изучить содержимое черного ящика, но, по сути, в этом нет необходимости, так как в этом нет ничего ценного, — то, что мы найдем, не имеет практического значения (Gul and Pesendorfer 2008; Bernheim 2009). Иными словами, чтобы понять, сможем ли мы забить в отверстие в стене гвоздь, нам нет необходимости знать молекулярную структуру твердо-

сти этих тел. Однако, здесь принципиально важно, *что мы считаем результатом* нейроэкономического исследования в рамках исследовательской стратегии ПЭС: фиксацию изменений целого набора показателей тела, мозга, биохимических процессов или интерпретацию, которую мы придаем этим изменениям показателей?

Второй, по сути, альтернативный первому, исследовательский проект, реализуемый в рамках нейроэкономики, это так называемая нейроклеточная экономика (neurocellular economics, далее – НКЭ), которую иначе называют экономикой нейронной активности (Vromen 2007) или «экономико-нейробиологическим моделированием» (economic neural modelling) (Craver, Alexandrova 2008). Наиболее репрезентативным в рамках этого направления является проект нейробиолога П. Глимчера. Задача НКЭ привлечь теоретический и формальный аппарат экономической теории (ключевые концепты) для объяснения и моделирования получаемых в нейронаучных исследованиях экспериментальных данных. Глимчер считает, что теория ожидаемой полезности и теория игр являются прекрасным фундаментом для изучения Glimcher нейронной активности мозга и в частности тех его отделов, что вовлечены в принятие решений (Glimcher 2003).

Таким образом, эта исследовательская программа видит своей задачей внедрение экономической теории в нейронауку и ее применение с целью прояснить посредством экономического инструментария нейронные механизмы, перенастроить то, как нейробиологи думают о механизмах мозга, лежащих в основе поведения и его нейронной активности. Иными словами, речь идет о том, что экономическая теория мейнстрима, полагая себя универсальной теорией о человеческом поведении, и на основе созданного ей обширного модельного инструментария, предлагает себя в качестве гранд теории нейронаукам (Koshovets, Varkhotov 2019). Речь здесь идет о том, что ключевые объяснительные схемы (существующие в рамках конкретной дисциплины как основные онтологически значимые причинно-следственные механизмы)

пытаются не только расширить на чужое предметное поле, но, прежде всего, *переопределить с их помощью онтологическое ядро другой дисциплины*. Так, «рациональный выбор» является не только ключевым элементом онтологии стандартной экономической теории, сколько универсальной объяснительной схемой — т. е. не определяя и не исследуя, что такое «рациональное» *объясняет через рациональность* любое поведение, действие, взаимодействие. Причем в случае нейронауки интервенция в нее формального теоретического аппарата экономической науки облегчается одним очень существенным изъяном этой дисциплины: лавинообразно растущее количество локальных экспериментов при отсутствии общей теории мозга, которая могла бы обобщить, систематизировать и придать осмысленность этим бесчисленным экспериментам (Черниговская 2021).

Вместе с тем, наблюдаемая в рамках «нейроклеточной экономики» интервенция экономического инструментария в смежную область существенно отражается и на самой экономической науке. В рамках данного проекта нейроэкономика как бы экспериментально тестирует ключевые гипотезы стандартной экономической теории, создает убедительную экспериментальную базу для сформированного ею концептуального, теоретического и математического аппарата. А поскольку он изначально привязан к экономическим предметностям («рынок», «экономическое поведение» и т.п.), то это ведет к их переинтерпретации в направлении еще большей *универсализации* и вместе с тем, к их *натурализации*. Поясним на примерах. Так, проводившиеся в рамках нейроэкономических исследований эксперименты с обезьянами, которых учили определенным образом реагировать на появление разных цветовых сигналов, вознаграждая за правильную реакцию, убедили авторов в том, что концепция ожидаемой полезности в общем достаточно точно отражает процессы, которые происходят в мозге в момент принятия решения (выбора) в условиях неопределенности (Dorris, Glimcher 2004). В свою очередь, теория биологических рын-

ков интерпретирует этологические данные о поведении животных в экономических терминах, побуждая нас увидеть разновидность рыночного обмена в таком явлении, как например мутуализм (Bshary, Grutter 2002; De Waal 2005).

Что здесь обращает на себя особое внимание? Все элементы и сам дизайн этих экспериментов призваны продемонстрировать, что экономическое поведение универсально и фактически лежит в основе любого поведения, любых живых существ (будь то люди, обезьяны или обитатели кораллового рифа). Действительно, нейроэкономика охотно обращается к исследованию так называемого «экономического поведения» у животных. При этом обезьяны, как и другие животные, широко используются и в «собственно нейроэкономике» и в «экономически приправленных» нейробиологических исследованиях. Однако, как нам представляется, происходит это отнюдь не по техническим причинам, а является закономерным в рамках тех эпистемологических предпосылок, на которые опирается нейроэкономика в целом. Если экономическое (рациональное) поведение по своей сути обусловлено биологически (может быть обнаружено и подтверждено на биологическом уровне), то логично предположить, что оно также имеется у животных. Если мы можем редуцировать поведение человека к нейройной активности, а также поскольку «и люди, и кошки имеют идентичные нейрохимические процессы и области мозга, которые отвечают за эмоции» (Veckoff 2000), то совершенно очевидно, что мы можем искать и находить общие законы поведения *на более низшем, нежели человек, уровне*.

По сути, подобные исследования призваны служить весомым доказательством большей универсальности механизмов, лежащих в основе экономического поведения человека и открывать эволюционные перспективы. Ряд исследователей напрямую считают, что экономическая и эволюционная теория имеют много схожего в том, что касается трактовки поведения, которое при этом, однако, сводится к принятию решений, поскольку, по их мнению, в основе поведения лежит

принцип оптимальности. Действительно, принятие решений животными традиционно изучалось в предположении, что животные оптимизируют потребление энергии и репродуктивные возможности под эволюционным давлением и соответствующим образом адаптировали свое поведение выбора (Kalenscher, van Wingerden 2011). Если мы предполагаем, что развитие мозга носит эволюционный характер, а эволюционные изменения — это количественный параметр, то мы можем обратиться к более простым, чем человеческие, формам взаимодействия, опираясь на ключевой принцип редуccionизма о том, что изучать сложное следует через простое.

Итак, нейроэкономика, по нашему мнению, — это особая разновидность экономического империализма, причем гораздо более фундаментальная, чем экспансия моделей, концептов и теоретического аппарата современной экономической теории, за пределы экономики. Знаменитый американский экономист А. Алчиан отмечает, что «империалистической является не экономическая наука сама по себе, а лежащая в ее основе модель человека» (Gray 1987), поэтому ключевой предпосылкой экономического империализма является убеждение в том, что теория рационального выбора универсальна для любой предметной области и может быть экспортирована в социальные, психологические и отчасти в биологические и гуманитарные науки (Alessi 1987). Функцию полезности можно максимизировать в отношении всего — единственным условием является наличие в рассматриваемой области рационального агента, а точнее «рационального механизма», так как то, *что является субстратом, носителем этого механизма — вопрос в целом несущественный*. Между тем, по нашему мнению, в рамках нейроэкономики намечается весьма важное направление в развитии этой тенденции, но не вширь, а так сказать вглубь. Мы бы охарактеризовали ее как фундаментальная универсализация экономического поведения (рационального выбора) путем его натурализации, путем опускания с уровня Истории (Социума, Культуры) на уровень Природы (Koshovets,

Varkhotov 2019). В перспективе это позволяет сделать заключение о том, что экономическое поведение (которое есть тоже самое, что рациональное или оптимальное поведение) является биологическим по своей природе и не нуждается в социальном обосновании. А поскольку экономическое поведение распространено не только у людей, но и у животных, то можно сказать, что поведение (инстинкты) животных (генетически обусловленные) представляют собой разновидность экономического поведения.

Мы можем оценить это на примере замены классической дихотомии «рациональное — эмоциональное» на «раздумывающий — эмоциональный». «Раздумывающий» — это *deliberative*, т.е. здесь идет указание на то, что решение принимается после размышления, осторожно, осмотрительно, неторопливо. Данная подмена имеет целью универсализировать концепт «рациональное», так как раздумывание и эмоциональная (она же инстинктивная) реакция это грани рационального (в смысле оптимального) поведения, которое трактуется расширительно, как наиболее оптимальная (целесообразная) реакция (решение) в данный момент. К примеру, если вас собирается укусить ядовитая змея, вы инстинктивно отдерните ногу, — это ваш мгновенный ответ в ситуации важной для вашего выживания. Вы не будете размышлять в подобной ситуации, вами будет руководить страх, который понимается как безусловно эмоциональное поведение. Однако поскольку вы защищаете таким образом вашу жизнь, вы поступаете оптимально (рационально) (Sanfey, Rilling, Aronson et al. 2003; Corcos & Pannequin 2011). Разумеется, данная универсализация также служит цели натурализации «принципа рациональности». В рамках этой перспективы человеческие формы оптимального (экономического) поведения являются просто наиболее сложными и совершенными, но лежащие в их основе закономерности — природные и не-собственно-человеческие.

Это закономерно подводит нас к вопросу о том, является ли нейроэкономика радикальной альтернативой стандарт-

ной экономической теории, пытающейся полностью заменить обществоведческие объяснения *естественнонаучными*, построенными на основе биологии и нейрофизиологии? Ведь в исторической перспективе это целиком вписывается в настойчивое стремление экономической теории соответствовать естественнонаучным стандартам и ведет к фактическому превращению ее в естественную науку – экспериментальное обоснование моделей; строгие причинные модели, естественнонаучный базис. Или все же ее главное достоинство в том, что она *позволяет натурализовать, превратить в «естественные»* как экономические законы, так и такие ключевые концепты экономической теории и социальных наук, как «рынок», «обмен», «рациональность», «выбор», «экономический агент», «экономическое поведение» и т.д.

## 2. Нейроэкономика и новый онтологический фундамент: перезагрузка Homo oeconomicus

В предыдущих главах, мы неоднократно отмечали, что в исторической перспективе развитие экономической теории отмечено резким углублением формализма и абстрактных предпосылок, так как ключевой целью экономического анализа стало создание мощных математических инструментов для анализа социальной действительности. Репрезентация и описательные инструменты еще сохраняются в рамках многочисленных эмпирических и исторических исследований, однако теория, будучи высоко абстрактной, формализованной и дедуктивистски ориентированной, давно опирается на формальные онтологии, которые дополняются (в интерпретации моделей) многочисленными метафорами, заимствованными из естественных наук. Все сказанное в полной мере касается ключевой онтологической конструкции экономической науки Homo oeconomicus (Биггарт 2001. С. 54). При этом, если в случае с моделями, изучающими конкретные аспекты экономики, пересобранной как набор статистических показателей и множества операций, обозначенных как экономические и абстрагированных от остальной социальной жизни,



их нереалистичность можно игнорировать, ссылаясь на то, что целями моделей является планирование, прогнозирование, проектирование, они выполняют роль экспериментов (или мысленных экспериментов) и аналогий и т.п., то в случае с «экономическим человеком» такая аргументация не совсем проходит. Во-первых, потому что концепт Homo oeconomicus это не только конкретная модель, пусть и очень универсальный и выступающий как инструмент анализа поведения человека, но не претендующий на его синтетическое видение (Автономов 1998. Р. 48). Вместе с тем, это также набор предпосылок и допущений, образующих *онтологическое* ядро неоклассической экономики (стандартной экономической теории). Отсюда закономерно вытекает тенденция смешивать «экономического человека» как аналитический конструкт и как определенный антропологический тип. Иначе говоря, по этой причине происходит онтологизация и реификация этого исходно методологического инструмента и по этой же причине он (в качестве социотехнического устройства, способствующего распространению и воспроизводству калькулятивности) обладает значительными перформативными возможностями (Callon 2005; Юдин 2008).

Во-вторых, потому что «экономический человек» как часть онтологии экономической теории интуитивно, на уровне здравого смысла и наших повседневных практик и привычек мышления противоречит тому, что мы знаем, или какой мы видим природу человека (включая и его экономическое поведение в реальной жизни). Иными словами, Homo oeconomicus это эпистемологическая «ахиллеса пята» экономической науки – если статистические показатели благодаря естественнонаучной культуре и социальным бухгалтерским практикам могут выступать в качестве эмпирического базиса, наблюдаемых величин, репрезентирующих то, что называются «экономикой» (аналогично тому, как смесь наблюдаемых величин и эмпирических математических отношений, созданная к XVIII в. стала называться «Природой»), то нереалистичный конструкт «экономического человека» постоянно упирается

в вопрос, что он описывает и почему наука, изучающая рациональное поведение человека, не может работать с его более реалистичной репрезентацией<sup>62</sup>.

Представляется, что, несмотря на то, что почти все экономисты согласны с тем, что концепт Номо оeconomicus покоится на нереалистических предпосылках, имеется как минимум три ключевые причины — онтологическая, эпистемологическая и дисциплинарная, по которым экономическая теория *принципиально не может от него отказаться*. Экономическая теория по своей сути *агентоцентрирована* (в особенности, когда ее предметом стали не экономика или хозяйство, а именно экономическое поведение), таким образом, «экономический человек» (его рациональное/оптимизирующее поведение и выбор) *воплощает собой экономические процессы* (экономические закономерности). Фундаментальной предпосылкой для этого служит отождествление экономического с рациональным. Соответственно, большинство ключевых концептов экономической теории принципиально зависят от допущений, содержащихся в концепте «экономического человека», — таким образом, эти допущения с необходимостью будут воспроизводиться в экономическом знании, так или иначе. Более того, абстрактный и нереалистичный Номо оeconomicus столь устойчив к любой критике, поскольку представляет собой «объект», идеально репрезентируемый математическими средствами, которые стали не только основным средством исследования/проектирования экономической (социальной) реальности, но и формируют формальную онтологию экономической теории. Поскольку принятая модель экономического человека идеально соотносится с доминирующей формой репрезен-

---

62. Здесь важно отметить, что модель Номо оeconomicus вводилась в духе статистического эмпиризма как нечто «среднее», т.е. традиционно «использовалась экономистами для объяснения не индивидуального, а усредненного, типического, массовидного поведения больших групп — для объяснения результирующей, которая возникает из переплетения множества решений, принимаемых отдельными людьми» (Капелюшников 2020. С. 13). Это необходимое условие формулирования законов и закономерностей.

тации знания в дисциплине — математическим моделированием, она по сути подпирает и защищает все здание экономической теории. При этом, по-прежнему, не решается только одна проблема — привязка концепта *Homo oeconomicus* к реальности, необходим эмпирический базис под эту модель.

В этой связи закономерно, что попытки постепенно приблизить «экономического человека» к реальности основаны на рассмотрении принципа рациональности как эмпирического суждения о поведении. Между тем, в действительности такие поправки, прежде всего, нацелены на то, чтобы никоим образом не затронуть и не снизить уровень формализации и использования продвинутых математических инструментов, который достигнут стандартной экономической теорией. В результате модель экономического человека становится лишь более сложной, корректирующей некоторые упрощающие предположения. Примером может служить модель ограниченной рациональности Г. Саймона (Simon 1987). Однако на этом пути техника моделирования становится более сложной и изощренной, поэтому большинство экономистов предпочитают следовать прежнему концепту экономического человека. Иными словами, они продолжают (явно или неявно) опираться на предположение о рациональности *Homo oeconomicus*, поскольку это позволяет им строить более простые и более работоспособные операционные модели и успешно тестировать их.

Таким образом, с одной стороны, нереалистичность концепта *Homo oeconomicus* очевидна. Но с другой стороны, эта нереалистичная репрезентация чрезвычайно удобный для экономистов инструмент анализа, который к тому же, несмотря на свой статус методологического регулятива и аналитического средства (Автономов 1998), является *частью онтологического ядра* экономической теории, то есть, является определенным представлением о человеческой природе, о том, как человек устроен. Именно из этого вырастает неустранимая проблема — вопрос о реалистичности описания человеческого поведения концептом «экономического чело-

века». И именно поэтому критика экономического человека не прекращается и по сей день, даже внутри самой экономической теории, которая пытается скорректировать это представление с помощью новых направлений (поведенческая экономика, экспериментальная экономика) или даже субдисциплин, таких как нейроэкономика.

Поведенческая экономика, которая отвергает стандартную модель рационального выбора как адекватное описание экономического человека, в то же время сохраняет ее в качестве *нормативного стандарта* (Капелюшников 2013). Всякий раз, когда поведенческие экономисты обнаруживают существенный разрыв между результатами реальных решений, принимаемых экономическими агентами, и предписаниями рационального выбора, их рекомендации сводятся к приближению поведения обычных людей к нормативному идеалу совершенной рациональности (Leonard 2008. P. 257<sup>63</sup>). Экспериментальная экономика это не столько новый концепт экономического человека, сколько новая практика изучения предположительно типичных случаев экономического поведения посредством экспериментов (которыми называются игровые симуляции) в лаборатории или в стенах университетов с участием студентов. Эксперимент в экономике, как и в общественных науках в целом, не в состоянии обеспечить субстанциональную тождественность экспериментальной реальности и собственно реальности (моделируемой с помощью эксперимента), иными словами, в экономическом эксперименте исследователи де-факто работают с объектом, который радикально меняется в ходе эксперимента (Кошовец, Вархотов 2015). Как только субъект узнает, что он вовлечен в эксперимент и поме-

---

63. Как верно отмечает Р.Капелюшников (Капелюшников 2013), признание на основе эмпирических наблюдений) людей ограниченно рациональными существами подразумевает, что самостоятельно они не в состоянии избавиться от имеющихся у них когнитивных ошибок. Помочь им в этом призвана специфическая политика «подталкивания», активно продвигаемая поведенческими экономистами (Thaler, Sunstein 2008). Таким образом, можно сказать, что признание ограниченной рациональности и сохранение в качестве нормативного стандарта идеала полной рациональности фактически имеет целью теоретически обосновать политику «подталкивания», а не снабдить нас более реальной моделью экономического человека.

щен в игровые условия с жестким набором искусственных правил и инструкций, он с неизбежностью меняет свое поведение, приспосабливаясь к игровой ситуации. Таким образом, естественность и реалистичность подобного экономического поведения остается под большим вопросом.

Итак, ключевые понятия экономической теории фундаментально зависят от модели Homo oeconomicus, предполагающего человека как рациональную (логическую) машину. Попытки отказаться от нее в итоге привели к тому, что принцип так или иначе сохраняется (по крайней мере, в неявном виде или в виде эпистемологического и нормативного ориентира). Смогла ли нейроэкономика решить эту проблему лучше? Будучи новой экономической дисциплиной с серьезным естественнонаучным бэкграундом, опирающейся на новейшие методы исследования естественных наук и продвинутое техническое приспособление, нейроэкономика обещает не только радикально пересмотреть экономическую теорию в узких местах, но и революционизировать стандартную модель экономического агента, которая рутинно полагает, что люди действуют рационально (Glimcher 2003; Camerer, Loewenstein, Prelec 2005; Camerer 2007). Однако насколько в действительности обоснованы претензии нейроэкономики на то, чтобы снабдить экономическую науку более реальным «экономическим человеком» и способен ли при этом экономический агент не быть рациональным? Чтобы ответить на этот вопрос, далее мы проведем эпистемологический анализ репрезентации экономического агента в нейроэкономике — это позволит нам поставить иной вопрос, возможно ли в принципе переделать модель экономического человека и сделать ее более реалистичной. Насколько такая перестройка не только будет успешна, но и осуществима?

В предыдущем параграфе уже отмечалось, что в рамках нейроэкономики де-факто существует две значительно различающиеся исследовательские программы. Эта разница затрагивает и экономического агента. По факту мы получаем два разных онтологических конструкта. Ключевые эписте-

мологические элементы обеих программ, существенные для построения ими модели экономического человека, представлены в нижеследующей таблице.

Таблица

	Поведенческая экономика в сканере (ПЭС)	Нейро клеточная экономика (НКЭ)
Материнская теория, когнитивная база и инструментарий	Поведенческая экономика и экспериментальная психология	Нейрофизиология и нейронауки
Исследовательская и методологическая задача	Привнести в исследование экономического поведения нейробиологические методы, концепты и экспериментальную базу, чтобы лучше (реалистичнее!) интерпретировать поведение.	Внедрение экономической теории в нейронауки и ее применение с целью прояснить посредством экономического инструментария нейронные механизмы, перенастроить то, как нейробиологи думают о механизмах мозга, лежащих в основе поведения и его нейронной активности. Экономическая теория, полагая себя универсальной теорией о человеческом поведении, и на основе созданного ею обширного модельного инструментария, предлагает себя в качестве грандтеории нейронаукам.
Онтология	Последовательное проведение принципа биологического редукционизма	Ключевые объяснительные схемы (онтологически значимые причинно-следственные механизмы) пытаются не только расширить на чужое предметное поле, но и перепределить с их помощью онтологического ядра другой дисциплины.

Однако, чтобы ответить на вопрос, действительно ли нейроэкономика предлагает нам более реалистичную модель экономического человека, мы должны обратиться к ключевым онтологическим предпосылкам, лежащим в основании обеих нейроэкономических исследовательских программ. Забегая вперед отметим, что именно здесь обнаруживается их общность, так как обе они методологически основываются на тотальном биологическом редукционизме. Действительно, онтологическая конструкция любого нефроэкономического исследования предполагает три уровня:

1) поведение (индивидуальных акторов), в том числе выбор. Принципиально наблюдаемо;

2) ментальные (психические) состояния и процессы (мотивы, предпочтения, ожидания и т.п.). Принципиально ненаблюдаемое. По сути это внутренняя сторона предыдущего уровня, находящаяся с ним в причинных отношениях. Несмотря на то, что объекты этого уровня не наблюдаемы, они имеют свою репрезентацию в теории в виде математических конструкторов.

Следует отметить, что отношения между первым и вторым уровнем это основное поле противоречий между стандартной экономической теорией и поведенческой экономикой, соответственно, эти проблемы наследуют и «поведенческая экономика в сканнере».

3) нейроны (состояния и процессы, субстанции). Это материальный – биохимический и физиологический – базис двух предыдущих уровней, который принципиально можно измерить и который находится в причинных отношениях с двумя верхними. Объекты этого уровня в сравнении с предыдущими весьма гетерогенны (нейротрансмиттеры, гормоны, нейронные пути, области мозга).

Посмотрим, к примеру, что происходит с ключевым для нейроэкономики понятием «выбор», когда он перемещается по этим уровням. На уровне поведения выбор – это то, что мы можем наблюдать (человек съел яблоко или грушу). На втором уровне происходит попытка определить, чем обусловлен этот выбор. Например, «оптимальным решением», которое нам сложно определить в психологических терминах, но которое прекрасно репрезентируется математическими средствами («выбор» – один из ключевых элементов формальной онтологии экономической теории, а формализованное представление «выбора» отождествляется с ним самим). На уровне нейронной активности «выбор» по сути отождествляется с наблюдаемыми электрическими и биохимическими процессами в мозгу (Krajbich et al. 2014; Rangel et al. 2008). Это позволяет сделать проведенная с «выбором» на предыдущем уровне трансформация из социальной вещи в математический объект и затем в биохимический импульс, поскольку

сами нейронные процессы исследуются посредством измерений и формализуются.

Стандартная экономическая теория работает с уровнем поведения и частично привлекает второй уровень для объяснения первого уровня. Возникает ключевой вопрос, а что дает третий уровень (нейроны) для объяснения экономического поведения. Для нейроэкономистов ответ один – причинность, которая всегда идет от нейронных структур мозга к психическим состояниям и поведению. Это подразумевает отождествление социального и биологического и редукцию поведения (психических процессов за ним стоящих) к нейронной активности мозга, а также принципиально меняет взгляд на поведение. Однако значит ли это, что оно перестает быть рациональным?

Итак, онтология и «поведенческой экономики в сканнере», и нейроклеточной экономики основывается на тотальном редукционизме. Однако, поскольку как эпистемологические стратегии они существенно различаются не только в том, как в них осуществляется междисциплинарный синтез, но и по своей методологии, то в результате мы имеем *два возможных типа субъекта*, т.е. Homo neuroeconomicus. Рассмотрим их последовательно и постараемся показать, в чем их фундаментальная схожесть.

Как видно, из таблицы выше, задача нейроклеточной экономики понять нейронную активность мозга, обращаясь к стандартной экономической теории, подразумевает, что концепт «экономического человека», а точнее его ключевая характеристика «рациональность» переносится в нейронауки в качестве универсальной объяснительной схемы, то есть, не определяя и не исследуя, что такое «рациональное» объясняет через рациональность любое поведение, действие, взаимодействие, в данном случае определенную нейронную активность мозга. Последняя в результате приобретает новое онтологическое качество быть рациональной. Однако тут возникает ключевой вопрос, где локализуется эта рациональность, иначе говоря, чьим в действительности свойством она явля-



ется. Объект исследования в НКЭ подразумевает последовательную редукцию от социального к биологическому через цепочку — сведение человека к поведению, поведения к мозгу и мозга к нейронам и сложным биохимическим процессам в нем. На этом пути экономический человек, да и человек вообще, утрачивается, поэтому вполне закономерно, что его можно легко заменить в исследовании любым животным (Kalenscher, Wingerden 2011).

Нейроэкономисты делают это весьма охотно, исходя из предпосылки о том, что, если экономическое поведение по существу определяется не социально, а биохимически, то логично предположить, что животные также обладают таким поведением. Подобные допущения, как мы отмечали выше, разделяются большинством нейроэкономистов и представлены множеством исследований (Gan et al. 2009; Louie and Glimcher 2010). Однако поскольку вся наблюдаемая нейрофизиологическая активность интерпретируется с помощью аппарата экономической теории, то необходимо возникает и обратное движение — от биологического к социальному, с которым возвращается и *Homo economicus*. В проекте одного из ключевых представителей нейроклеточной экономики П. Глимчера эту функцию воскрешения выполняет математическое моделирование и математическое по своей сути понимание выбора, что с неизбежностью приводит к интерпретации социального как рационального. Однако поскольку интерпретацию осуществляет исследователь, исходя из знания, что поведение и конкретные действия строго обусловлены наблюдаемыми объективными мозговыми процессами, то по сути право атрибуировать «рациональность» делегируется именно ему, — в ходе своих наблюдений и последующей интерпретации он определяет и решает, когда поведение рационально.

Какого в результате мы получаем субъекта? Эту разновидность *Homo neuroeconomicus* можно определить как неодушевленную материальную субстанцию, нечто, подобное «вольту» или «голему», т.е. существам полностью лишен-

ным субъектных, сознательных и волевых характеристик, а также и рациональности, которая возникает, лишь когда подобное существо приводится в движение своим творцом (наделяется им рациональным выбором). Таким образом, любое поведение (человека, обезьяны, кошки, коралловой рыбки) становится рациональным (и экономическим), если наблюдатель придает ему свойство рациональности. На этом пути нейроэкономика как бы открывает общие глубинные законы любого поведения (общие для всех), а рациональность де-факто становится частью Природы, одним из ее скрытых механизмов. Рациональность поведения и выбора не только сохраняются, но и усиливается, более того, обретает материальную форму и новую локализацию на уровне нейрофизиологии всего живого, перемещаясь с уровня социального в природный порядок (Koshovets, Varkhotov 2019). В целом «экономизация» наук о жизни и, в частности, мозговой активности подразумевает подмену биологических механизмов экономическими (рациональными).

Теперь обратимся к модели экономического агента в другой исследовательской программе нейроэкономики – «поведенческая экономика в сканнере». Это направление по сути расширение в область нейробиологии поведенческой экономики, которая, в свою очередь, является разновидностью бихевиоризма. Поэтому, как и поведенческая экономика, оно наследует ключевую эпистемологическую интуицию бихевиоризма о сознании как «черном ящике», но при этом видит своей амбициозной задачей вскрыть его содержимое (нейрофизиологические и биохимические взаимодействия – это ключ к поведению) (Sanfey et al. 2006; Camerer 2007). Фундаментальной предпосылкой этих амбиций выступает убежденность в том, что такие инструменты, как функциональная магнитно-резонансная томография или диффузионная тензорная томография в перспективе могут обеспечить доступ к структурам субъективности (Rangel et al. 2008). Соответственно, цель ПЭС – радикальные изменения в экономической теории за счет выявления и наблюдения

«материального субстрата» поведения и определяющих его ментальных процессов. Решает эту задачу ПЭС, последовательно проводя принцип биологического редуционизма (но без возвратного движения, как в случае НКЭ). Для этого определяющий поведение «черный ящик», т.е. ненаблюдаемые ментальные процессы предварительно редуцируются к нейронным и биохимическим взаимодействиям и затем отождествляются с ними (Vromen 2010). В результате сложные социальные поведенческие акты по сути подменяются изучением чисто моторной активности или инстинктивных (рефлекторных) действий. Вместе с тем, в результате такие социальные по своей сути явления как «экономическое поведение», «рациональный выбор» и т.п. натурализируются, ведь рациональность понимается как свойство нейронов. Это же происходит и с концептом «экономического человека», коль скоро он сводится к нейрофизиологическим процессам и биохимическому субстрату, определяющим его поведение и ментальные процессы. Натурализация экономического поведения, выбора и рациональности делает их не только естественными, но уже неотъемлемо принадлежащими порядку Природы (т.е. свойственными всему живому) (Koshovets, Varkhotov 2019).

Вместе с тем, попытка переопределить и заместить социальную семантику этих понятий и концептов нейрофизиологическим описанием с необходимостью ведет к потере описываемых этими понятиями объектов. Это в полной мере касается и экономического человека, если его выбор может быть задан электрической стимуляцией определенного участка мозга, то это уже не выбор, а разность импульсов активации и торможения, простейшая реакция на раздражение рецепторов (Fumagalli 2016). Более того, если имеется возможность механически предопределять выбор (или любое другое социальное действие), то перед нами не человек. Скорее, мы имеем дело с автоматом, в данном случае биохимическим, а его субъектность — это всего лишь побочное явление, эпифеномен (каковым сознание является в бихевио-

ризме). Обладает ли такой биохимический автомат свойством быть рациональным?

ПЭС закономерно продолжает линию поведенческой экономики на критику рациональности человека и утверждает, что человек действует на основе эмоций (Camerer, Loewenstein, Prelec 2005). Однако де-факто, как и поведенческая экономика сохраняет рациональность экономического человека как нормативный стандарт. В этой связи, как мы уже отмечали выше в рамках нейроэкономических рассуждений «эмоциональное» объявляется разновидностью рационального (Sanfey, Rilling et al. 2003; Corcos & Pannequin 2011). Для этого сначала вводится ложная оппозиция «эмоциональное» (животное) — «рациональное» (человеческое). Затем на основе приспособления одной из версий оптимизационной теории рациональности (которая объясняет поведение в эволюционистских понятиях) вместо оппозиции «эмоциональное — рациональное» вводится различие разновидностей «рационального» и, соответственно, новая оппозиция: «размышляющий (deliberative) — эмоциональный». При этом под первой разновидностью рационального понимается наличие определенного временного промежутка между стимулом и действием, тогда как эмоциональная реакция — это немедленное, инстинктивное действие. В рамках такой трактовки «эмоциональных» реакций реальное эмоциональное поведение человека, как и сам он, закономерно утрачивается. В итоге эмоциональное состояние рассматривается как коррелят объективного нейрофизиологического (материального) состояния, которым «субъект» (а точнее изучаемый нами биохимический автомат и механизмы, определяющие его активность) строго детерминирован.

Следует подчеркнуть, что, как и в случае с НКЭ, наблюдаемый агент остается полностью рациональным для экспериментатора, имеющего доступ к его нейрофизиологической системе, — его поведение полностью прозрачно и понятно, ибо осуществляется строго в соответствии с заложенным алгоритмом, соответственно, при необходимости в него можно

вмешиваться и направлять его. Это отсылает нас к одному из ключевых практически и политически ориентированных концептов поведенческой экономики «подталкиванию» (Thaler, Sustein 2008). Таким образом, несмотря на кажущееся, на первый взгляд, радикальное расхождение с классической моделью экономического человека (само залезание в черный ящик подразумевает, что исследователь покидает область рефлексивного и рационального), на практике тезис о рациональности в рамках ПЭЖ также, как и в случае с НКЭ, многократно усиливается. Таким образом, Homo oeconomicus и нейроэкономический агент оказываются более чем совместимы, — при внимательном рассмотрении обнаруживается, что нейроэкономика полностью разделяет со стандартной экономической теории ключевые эпистемологические принципы в понимании поведения<sup>64</sup>.

Между тем, фундаментальные онтологические характеристики нейроэкономического агента и его поведения обнаруживают свои корни (как и все основные представления нейронауки) в ключевом концепте новоевропейской культуры — церебральном субъекте. Об этом специфическом способе мыслить человека, подразумевающим его редукцию к мозгу, мы говорили в первом параграфе этой главы. Здесь же отметим, очевидное родство «революционно нового» нейроэкономического агента с элиминативным материализмом XVIII в. в части представлений о ментальных состояниях и внутренней жизни субъекта (ненаблюдаемое). Основные идеи, высказанные в одном из наиболее репрезентативных текстов этого философского направления, знаменитом трактате Ж.О. Ламетри «Человек-машина», можно свести к следующему тезису: люди — это просто сложные животные, и поэ-

---

64. К таким же выводам приходит Р.И. Капелюшников относительно поведенческой экономики: «распространенное мнение, что поведенческая экономика «похоронила» модель рационального выбора, ошибочно. Вместо того чтобы перестать ею пользоваться, поведенческие экономисты начали ее модифицировать и усложнять за счет включения в нее разнообразных когнитивных «поломок». В результате никакой целостной альтернативной модели человека ими предложено не было (если, конечно, такая цель ими вообще ставилась)» (Капелюшников 2020. С. 36).

тому не существует резкого перехода от животных к человеку. Такие представления о человеке и животных основывались на двух типах преэмптиивности. Первый предполагает, что люди и животные состоят из одних и тех же вещей, но организованы по-разному («ибо как познать природу человека, если не сопоставить его строение со строением животных?» (Ламетри 1998)), второй, — что психология и поведение людей и животных не так уж сильно различаются (и те, и другие являются машинами, следующими законам природы).

Такой поворот в трактовке рациональности от разума к природе (через мозг как опосредующее звено) не должен нас удивлять. Исторически тезис о рациональности поведения человека (экономического агента) развивался из идеи о рациональности познавательной деятельности, понимаемой как «калькулятивная рациональность» (законы поведения внутри субъекта). Идея рациональности Природы по сути происходит из той же эпистемологической традиции и основывается на идее того, что в основе ее постижения лежит измерение и исчисление, которые позволяют обнаруживать и выявлять законы (структурные инварианты). Лежащий в основе элиминативного материализма в качестве базовой причины схемы (нейро)физиологический детерминизм позволяет нейроэкономистам, основываясь на идее эволюционного развития мозга и мозговой деятельности, обращаться к более простым (примитивным) формам «экономического» (рационального) поведения, нежели человеческие формы, опираясь при этом на ключевой принцип редукционизма о возможности изучать сложное через простое (элементарные формы). Тот факт, что здесь возникает фундаментальная онтологическая проблема, частью нейроэкономистов осознается. Тем не менее, в своей исследовательской практике они склонны ее игнорировать.

Однако между биологическим и социальным существует непреодолимый онтологический разрыв, поскольку у нас отсутствует содержательная теория, описывающая переходные и промежуточные уровни. Языки нейробиологии и социальных наук радикально отличаются по семантике, что

связано с разной онтологией объектов (Lacoff 1993). Такие понятия, как «выбор», «цель» или «субъективная ценность» не могут быть определены на языке (или техническими средствами) нейронауки, поскольку они уже подразумевают наличие сознательного субъекта. Попытка заменить «социологическую» семантику нейрофизиологическими описаниями приводит к исчезновению объекта. Таким образом, пересборка человека в нейроэкономике не достигает своей цели, определяемой установкой на реализм. Нейроэкономический агент, возможно, значительно менее абстрактен, чем стандартный Homo oeconomicus, представляющий как логическая машина, однако он онтологически значительно дальше от человека как социального существа, чем модель экономического агента мейнстримной экономической теории (где он сохраняет свою автономность и разумность).

### **3. Нейроэкономика и эмпирический базис экономики: проект создания новой естественнонаучной онтологии**

В последней четверти XX в. фактический тупик в развитии экономической теории и выраженный дисбаланс между теоретическим и эмпирическим компонентами в экономической науке в целом привели к поиску компенсирующих недостаточность эмпирики инструментов. Это выразилось в т.н. «эмпирическом повороте», который мы обсуждали в первой главе. Экспериментальная и поведенческая экономика, т.н. «революция достоверности», обозначившие резкое охлаждение к построению «теорий» (универсалистских моделей), а также нейроэкономика представляют собой попытки вернуть экономическую теорию на прочную эмпирическую базу. При этом все эти направления жестко остаются в рамках раз и навсегда взятого экономической наукой курса на «натурализацию» (онтологическую и эпистемологическую), таким образом, все они продолжают решать проблему эмпирического базиса дисциплины в соответствии со стандартами естественных наук. Между тем, как мы отмечали в первой

главе, все новые экспериментальные направления в рамках экономической науки развивают естественнонаучный стандарт производства знания с *методологической и инструментальной* точки зрения. В свою очередь, нейроэкономика представляет интерес как уникальная попытка создания для экономической науки новой естественнонаучной онтологии, которой в свое время не смогла стать физика. Мы частично рассмотрели этот вопрос в предыдущем параграфе, анализируя ключевой онтологический конструкт нейроэкономики — нейроэкономического агента. Здесь мы хотим затронуть другие самые радикальные обещания нейроэкономической дисциплины — по сути, сделать на основе нейрофизиологии и эволюционной биологии то, что в свое время не удалось на базе физики, а именно дать предмету экономической науки полноценное редуктивное объяснение физикалистского типа (Glimcher 2011). Речь идет о трактовке экономических законов как биологических законов с выведением их из надежных материальных экспериментов, т.е. не просто в соответствии с естественнонаучным стандартом, но и как, в конечном счете, естественнонаучных, — как *законов самой Природы*.

В этом контексте наиболее репрезентативным является проект кардинального обновления основ экономической науки, который был разработан нейробиологом П. Глимчером, — создателем наиболее перспективной, по мнению большинства философов, экономики (Marchionni, Vromen 2010; Harrison, Ross 2010), программы нейроэкономических исследований. Он последовательно развивает радикальную версию биологического редукционизма применительно к предмету экономики, а, по сути, к системе социальных наук в целом, поскольку его проект предполагает конвергенцию наук о человеке на базе концептов обновленной экономической теории, в которой *сохранится развитый неоклассической теорией математический аппарат, а эмпирическое содержание обеспечит нейронаука*.

Прежде чем мы перейдем к анализу проекта Глимчера, посмотрим на эпистемологическую карту нейроэконо-



мических исследований, с целью понять, каким образом в ней осуществляется междисциплинарные заимствования. Возможное сочетание или даже синтез основных элементов наук, вовлеченных в проекты нейроэкономики, — экономики, нейробиологии и психологии — ставит вопрос о том, какие средства исследования, концептуализации, объяснения и представления предпочтительны. Вклад каждой из этих дисциплин в нейроэкономические исследования в целом представлен в таблице ниже с особым акцентом на онтологию, эмпирическую базу и эпистемологию.

Легко заметить, что нейронаука и экономика привносят монотипичные — с методологической точки зрения — компоненты в построение нейроэкономики. Обе дисциплины предлагают модели, которые отвечают за объяснение и предсказание. Однако в одном случае речь идет о моделях, предполагающих объектность естественнонаучного типа (нейронные структуры, химические вещества и т.д.), а в другом — о моделях, предполагающих объектность социального типа (агенты, принимающие решения, мотивами, ценностями и т.д.). Поэтому неизбежно возникает вопрос о возможных формах сотрудничества между этими семействами моделей с онтологически различными объектами.

Аргумент Гуля и Песендорфера о том, что вскрытие «черного ящика» не имеет отношения к делу, также подчеркивает это «онтологическое различие» и непреодолимое концептуальное расстояние между двумя областями. Таким образом, чтобы обзавестись эмпирическим базисом нейроэкономика должна решить проблему наведения концептуальных мостов между изначально концептуально несводимыми областями, а также продемонстрировать, что эти различия преодолимы. Нейроэкономический проект Глимчера принимает этот вызов. Между тем, из таблицы также видно, что предметная область нейронаук формируется конкретными экспериментальными практиками. Напротив, предметная область экономического знания, по крайней мере, его большая теоретическая часть, формируется априори, предполагая «существенную гипоте-

Таблица

	Нейронауки	Экономика	Психология
Онтология (объект исследования и аксиоматическое ядро)	Мозг в лаборатории. Нейрофизиологические состояния и биохимические процессы, которые являются истинными объектами исследования, а не поведение человека/животного. Т. е., по сути, предполагается редукция агента к вышеупомянутым состояниям. Экспериментально сформированный объект с огромной ролью устройств, обеспечивающих доступ	Экономический человек, (реальное) экономическое поведение. Предполагается, что экономическое = рациональное и рациональное -универсально, а также сведение человеческой деятельности к индивидуальному поведению. Это привело к превращению реального поведения в абстрактное. Априорный и дедуктивно сформированный объект	Психические состояния, включая эмоции (не поддаются непосредственному наблюдению, скорее теоретические постулаты), лабораторное поведение, когнитивные процессы (предполагает наличие мозга как устройства обработки информации). Экспериментально и эмпирически сформированный объект
Эмпирический базис (способы доступа)	Экспериментальные практики и устройства для наблюдения за объектами	Статистические величины, эконометрический анализ. Модели и основные концепции, формирующие объект (рациональный выбор и т.д.)	Экспериментальные практики и эмпирические модели с психологическими и институциональными переменными. Набор опросных данных Теоретические инструменты для исследования поведения
Эпистемология (модели и стратегии объяснения, базирующиеся на аксиоматическом ядре)	Теоретические (математические) модели, используемые для формализации и предсказания активности сложных нейрофизиологических структур. Нейронные состояния = «механистическая основа» выбора	Теоретические (математические) модели, используемые для формализации, объяснения и предсказания экономического поведения / ментальных состояний. Ментальные состояния = теоретические постулаты = математическая конструкция (например, предпочтения представлены функцией полезности)	Участствует в формировании / дальнейшем развитии объекта экономики в той мере, в какой он понимается как индивидуальное поведение. Помогает трактовать принцип рациональности как эмпирическое предложение о поведении. Предлагает модели, позволяющие включить результаты нейронауки в концепцию познания / поведения. Ментальные состояния = эмпирическая конструкция = математическая конструкция

тическую природу выявленных предпочтений» (Caplin 2008). Поэтому опять встает вопрос о преодолении разрыва между данными о выборе в экономических моделях и нейробиологическим (а также психологическими) данными. Проект Глимчера пытается решить и эту проблему путем построения единой науки и основывается на предположении, что когнитивные процессы и лежащие в их основе нейронные состояния являются *математическими структурами*, т.е. все естественнонаучные дисциплины (и экономика сюда очевидно включается) по сути говорят *на одном языке* Природы.

Таким образом, нейроэкономическая программа Глимчера в методологическом плане представляет собой радикальный подход к довольно старому вопросу об отношениях между математикой, естественными науками и различными социальными науками (прежде всего, психологией и экономикой) и предполагает возможность обмена моделями и концепциями внутри этого мозаичного единства различных дисциплин, составляющих гипотетически целостное здание науки. Следуя физикализму «третьей позитивистской волны», Глимчер предполагает, что это гипотетическое единство имеет *природный* характер и что математика каждой дисциплины, независимо, естественной или социальной, является тем же *языком природы*, о котором возвещал Галилей, и о котором в рамках структуралистского общенаучного поворота, рассмотренного нами во второй главе, говорили логические позитивисты и математики (Carnap 1967). В результате математика (выявляемые с ее помощью структурные инварианты) превращается в онтологию, что идеально соответствует формальным онтологиям, доминирующим в экономической науке, и позволяет определять понятия, такие как «выбор» в экономике и психологии или же «нейронные состояния» в нейронауке, как структурные инварианты. Лишенные субстантивного (содержательного) элемента, эти структурные инварианты можно легко переносить туда и сюда на основе аналогичной или очень близкой математической формализации. При этом никто из участников экспериментального

движения в экономической науке, похоже, не задается онтологическим вопросом «*формализация чего*». Считается, что математическая модель (формализация) объекта — это как раз то, чем этот объект является, тогда как онтологические вопросы — это «малополезные метафизические аргументы» (Guala 2012).

Теперь рассмотрим проект Глимчера подробнее. По сути его можно описать следующим образом<sup>65</sup>. НЭ как «новая научная дисциплина возникла на границе социальных и естественных наук» (Glimcher 2011. XI) и это положение «на границе» имеет важное значение. Дело в том, что Глимчеру нужно дистанцироваться от масштабной критики Ф. Гуля и В. Песендорфера (Gul, Pesendorfer 2008), саркастично назвавших нейроэкономические исследования «безмозглой экономикой в сканере», а также откеститься от непосредственного использования нейробиологических измерений для определения и предсказания экономического поведения (выбора, который делают экономические агенты). Глимчер учел методологическую критику, в рамках которой было убедительно показано, что непосредственное использование данных нейробиологии и экспериментальных устройств вряд ли поможет *понять* такие социальные явления, как экономический выбор; что нейронные и ментальные (или, шире, психические) факты не совпадают, а также, что «соответствия между нейронным и ментальным, о которых сообщают нейроэкономисты, едва ли могут выполнять функцию доказательного свидетельства...». В лучшем случае «они могут иметь эвристическую функцию» (Antonietti 2010. P. 217). Поэтому вместо прямого использования сканеров, Глимчер выдвигает проект создания полноценной междисциплинарной науки, такой как биохимия стала для биологии и химии (его собственный пример).

Таким образом, нейроэкономика должна стать новым звеном в надежной и прочной цепи, простирающейся от

---

65. Представленная здесь эпистемологическая реконструкция проекта П.Глимчера опирается на идеи Т.Вархотова. (см.: (Кошовец, Вархотов 2020)).

физики до химии и от биологии до социальных наук и объединяющей различные предметные области и локальные методологии в одну универсальную науку. При этом Глимчер прямо апеллирует к физикалистскому редукционизму логических позитивистов и предлагает ту же самую пирамидальную конструкцию. В ней теории высокого уровня опираются на теории низкого уровня, и, в конечном счете, все сводится к единственному языку и единственному типу эмпирических данных, — и, как следствие, к одним и тем же универсальным законам Природы. Для успешного создания этого проекта необходимо простроить «связи» между экономикой, нейробиологией и психологией и произвести «частичную редукцию» экономики к психологии, и соответственно, психологии — к нейробиологии (Glimcher 2011. P. XV). Итак, конвергенция дисциплин и их концептуальных языков, с целью обеспечения экономической науки эмпирическим базисом, осуществляется следующим образом: 1) если у нас есть одинаковые математические модели и 2) *возможно*, одинаковые понятия (например, «выбор», которым оперируют и в экономике, и в психологии, и в биологии), то 3) мы можем объединить эти понятия, объявив, что они имеют одну и ту же природу (онтологически), и 4) мы можем объединить другие содержательные элементы дисциплин, руководствуясь идеей единства науки. Если понятие «выбора» в биологии, психологии и экономике имеют почти одинаковый смысл, то мы можем взять экспериментальную базу из нейронауки (и отчасти биологии и психологии) и добавить ее к экономической теории выбора.

Ключевой вопрос, который возникает при решении задачи *построения «связей»* между экономикой, нейробиологией и психологией и их «частичной редукции» одного к другому, это — как эти «связи» могут быть установлены. Во-первых, если редукция действительно является «частичной», а не полной (т.е. речь не идет о замене содержания высокоуровневого концепта низкоуровневым). И, во-вторых, если мы согласны с тем, что данные нейробиологии (и, шире,

естественных наук) сами по себе не могут «выполнять функцию доказательного свидетельства» и должны быть каким-то образом адаптированы и интерпретированы для встраивания в предметное поле общественных наук. Идея Глимчера состоит в том, чтобы «непосредственно включить концептуальные объекты из общественных наук в структуру естественных наук» (Glimcher 2011. P. XV). Для этого им вводятся *структурные инварианты* (а они всегда, как мы помним, выражают отношения, а не объект), которые и выполняют функцию протраивания связей, — Глимчер обозначает их как «логические примитивы». Ожидаемо, ключевым таким структурным инвариантом, который может быть беспроблемно включен в любую из онтологий объединяемых дисциплин, тут становится «выбор». Главная цель, которую при этом решает Глимчер — поместить «логические примитивы» экономики непосредственно в нейробиологию. Он демонстрирует, как это работает, на примере последовательного объяснения сексуального поведения с позиций экономики, психологии и биологии, показывая, что во всех трех случаях объяснение строится на основе анализа «выбора» (т.е. одного и того же «логического примитива»), который просто по-разному концептуализируется. Таким образом, перед нами три локальных объяснения, *эпистемологически совместимые*, полученные с помощью *идентичного инструмента* и, следовательно, дополнительные (Там же. Pp. 5–15).

Суммируя рассуждения Глимчера, мы можем выделить следующую методологическую схему (в четыре этапа).

Во-первых, производится редукция «социального» к наблюдаемому поведению («бихевиоральному») — это позволяет объединить все направления исследований, содержащие концептуализацию человека, и проигнорировать все различия между биологическим человеком (животным) и социальным человеком.

Во-вторых, подбираются концепты, подходящие для моделирования наблюдаемого человеческого поведения и не зависящие от каких-либо конкретных «социальных» средств

интерпретации. Концепт «выбора» идеально подходит, потому что в своей формализованной математической форме, т.е. как *структурный элемент формальных онтологий*, он не предполагает каких-либо *содержательных*, т.е. субъективных, «внутренних», скрытых от наблюдения компонентов, таких как «смысл», «моральная ценность» и т. п. Единственное, в чем он нуждается, это всего лишь две альтернативные возможности со статистически наблюдаемыми вероятностями (математическими весами). Понятый таким образом «выбор» (который не определяется ценностями субъекта, а, наоборот, объясняет и предсказывает ценности в терминах статистики предшествующих и вероятности последующих «выборов») может быть инкорпорирован в биологию или любую другую дисциплину как *способ математического моделирования* поведения человека. Для Глимчера этого достаточно, чтобы утверждать, что экономика, психология и биология одинаково объясняют сексуальное поведение как специфический случай «выбора» и дают, хотя и разные, но связанные ответы на конкретные вопросы, при помощи которых моделируется проблема сексуального поведения.

В-третьих, демонстрируется, что различные варианты адаптации и интерпретации одного и того же концепта — «выбор» — *не изменяются по существу* (онтологически) и лишь приобретают каждый раз новое, дополнительное содержание, соотносящееся с соответствующей предметной областью (психологией, экономикой и т.д.). Подчеркнем, такой концепт *должен быть формально-онтологическим* (т.е. структурным инвариантом, созданным математическими средствами), это гарантирует его неизменность. При любом другом — т.е. субстантивном понимании — мы сразу же заметим, что, несмотря на сохранение концепта и обозначающего его термина, содержательно его смысл (при переходе из одной предметной области в другую) кардинально изменился.

В-четвертых, проводится аналитическая реконструкция иерархии различных уровней реализации концепта,

в которой теории высокого уровня основаны на низкоуровневых теориях («естественные виды более высокого уровня», в конечном итоге сводятся к низкоуровневым естественным видам, иногда с некоторым нередуцируемым остатком) и совершенствуют их результаты.

Следует особо отметить, что Глимчер чрезвычайно острожно обозначает претензии редукционистского ядра своего проекта. Он утверждает, что «метафизически» у нас нет надежных критериев, чтобы решить, сводится ли все знание более высокого уровня к теориям низкого уровня. Однако на практике, несмотря на «неполноту редуктивных связей между нейробиологией и экономикой (преимущественно через психологию)» «только подлинный экстремист мог бы сегодня настаивать, что никакие соответствия такого рода никогда не будут найдены» (Там же. Р. 31). Хотя Глимчер не формулирует это явным образом, однако его аргумент не оставляет сомнений в том, что поиск редуктивных объяснений и универсальных законов природы является для него регулятивным идеалом. При этом, будучи подчеркнуто аккуратным при обсуждении амбиций собственной редукционистской программы, Глимчер гораздо более бесцеремонен и резок в своей полемике с М. Фридманом по поводу «как если бы» (as if) теорий. Так, он категорически отрицает инструментализм, являющийся наиболее радикальной версией защиты «экономической теории без эмпирических оснований», и утверждает, что мы должны создать «сильную теорию» (hard theory) экономического поведения, своего рода «потому что-теорию» (because theory) и заменить ею слабые «как если бы» теории экономической науки (Там же. Р. 132). Такая «сильная теория» «стремится объединить нейробиологические, психологические и экономические объяснения поведения» и может быть создана путем «тестирования на нейробиологическом и психологическом уровнях» (Там же. Р. 133). Это означает, что мы можем превратить «как если бы» теорию в «потому что-теорию» с помощью экспериментальной проверки и средств, предлагаемых низ-



коуровневыми спутниками экономики — нейробиологией и психологией.

Мечты о «сильной теории» (наряду с «окончательной теорией» и т.п.) представляются самой мощной и расхожей альтернативой инструментализму. Однако по-прежнему остается открытым вопрос — действительно ли мы получим эмпирически обоснованную, правильно объясняющую мир теорию, опирающуюся на реалистическую онтологию? Или же все, на что мы можем рассчитывать, это очередная правдоподобная басня? Несмотря на попытки Глимчера назвать нейроэкономику не только радикальным, но и революционно новым проектом, который мог бы стать лекарством для всех общественных наук, эпистемологическая структура этой дисциплины и ее истинные амбиции оказываются гораздо более архаичными.

Внимательный взгляд на нейроэкономику и исследовательский проект Глимчера показывает, что они эпистемологически зависимы от классической концепции научного эксперимента в духе механической объективности XIX в. Пока не предложено никаких принципиально новых, адаптированных для экономики экспериментальных практик, реализуется лишь старая идея Р. Карнапа о сводимости всех знаний к «чувственному опыту» (Там же. Р. 19). Сканер, доставляющие новые виды эмпирических данных, является новым как конкретное техническое устройство, но как эпистемологическая практика он очень стар. В свою очередь, концепция «выбора» в той форме, в которой она развивается в нейроэкономике не подразумевает какого-либо социального (то есть разумного, морального или хотя бы даже инстинктивного) человекоподобного агента. «Выбор» здесь — просто набор вероятностей с количественными весами, в нем нет ничего, что могло бы быть за пределами статистически наблюдаемых событий (т.е. подсчетов и измерений), в которых реализуется та или другая вероятность. С этой точки зрения у нас нет никакой возможности отличить человека от произвольного устройства — любая биохимическая

мическая машина (или даже просто механизм) с не менее чем двумя степенями свободы может «делать выбор»<sup>66</sup>.

Пример НЭ показывает, что за заявленной междисциплинарностью и декларируемой новизной новейших исследовательских проектов скрыты старые эпистемические нормы, которые требуют универсализма предметного поля и выявленных закономерностей, физикалистских редуктивных объяснений и избавления от субъективности. Несмотря на все попытки «наладить связи» между естественными и социальными науками на основе натурализации предмета последних, де-факто мы имеем подмену социальных концептов естественнонаучными, и наоборот, а феноменальная толерантность математических моделей и лежащих в их основе формальных онтологий к содержанию, заимствованному из других предметных субстантивных онтологий, успешно помогает замаскировать эти подмены. Таким образом, попытка нейроэкономики вдохнуть жизнь в экономическую науку, используя новые типы эмпирических данных и экспериментальных практик, в результате приводят лишь к хорошо знакомому проекту универсальной науки о Природе, которую с момента ее создания в XVII в. раздирает конфликт между рационализмом и эмпиризмом.

---

66. Выше мы отмечали, что как аналитический конструкт *Homo oeconomicus* – это не антропологический тип, а «среднее». Между тем, как верно отмечает Р.И. Капелюшников, в поведенческой экономике в рамках ее критики теории рационального выбора происходит важный онтологический сдвиг. Если раньше экономисты занимались объяснением и описанием массового (а значит, *закономерного*) *усредненного* рыночного поведения, пусть и производимого индивидуальными субъектами, то теперь они исследуют *индивидуальное* поведение (Капелюшников 2020. С. 36). Нейроэкономика свою предметную область также видит как множество отдельных индивидуальных решений. Отправной точкой является единичный агент, который реализует или даже сводится к цепочке единичных выборов. Совокупность таких «выборов» и есть «экономика».

## Выводы

Таким образом, нейронауку можно охарактеризовать как особую систему по производству дискурсивных практик (и соответствующих риторических приемов), формирующих и воспроизводящих *специфический стиль редукционистского мышления* и видения, опирающийся на натуралистическую эпистемологию и имеющий в качестве *объясняющего инварианта* — *мозг*. Итого нейроэкономика провалилась в своем стремлении заменить экономику. Она осталась локальной, и поэтому проблема онтологии решается иначе. Потому что как дискурсивная практика нейронаучный дискурс оказался сильнее и нейроэкономика не вышла из поля нейронаук. если нет развития интерпретативного контекста и не проходит новая естественнонаучная онтология, то тогда онтология создается дискурсом извне.

## Глава V

## ЗНАНИЕ И ВЛАСТЬ. О ДВУХ ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

### 1. Измерять и править. Экономическое знание и квантификация как управленческая и социальная технология

Проблема нереалистичности экономической теории (моделей), ее чрезмерной упрощенности и оторванности от экономической действительности является ключевой темой методологии экономики не одно десятилетие. Основная вина за такое положение дел возлагается на математическую изолированность и чрезвычайную формализованность экономической теории. Это результат ее дисциплинарного положения в системе знания и ее дисциплинарного статуса, определяемого стандартами математизированного естествознания, а также исторической траектории. Вследствие маржиналистской революции в начале XX в. экономическая теория не только сменила название с политической экономии на *economics*.

Прежде всего, она усвоила естественнонаучные стандарты производства знания и произвела адаптацию своей онтологии к естественным наукам, — в результате пошла в своем развитии по пути превращения в «чистую», дедуктивную науку естественнонаучного типа. По итогам структуралистской и формалистской революций она превратилась в территорию формальных онтологий, — это определяет возможные траектории дальнейшего развития дисциплины. Первый путь —

превращение в универсальный «ящик с инструментами», нечто подобное техническому, инженерному мастерству, но с претензией на универсальный подход, пригодность для работы с любым материалом, который будет дополняться дискурсивными практиками («историями», «баснями»), формирующимися за пределами академической сферы. В их рамках производятся субстантивные (содержательные) онтологии («картины мира»), которые определяют и способ мыслить «экономическое» и способ его определять и, в конечном счете, интерпретацию и применимость моделей. Другим путем является заимствование или адаптация естественнонаучных онтологий, подходящих к сложившемуся формальному аппарату и создание на их основе исследований технонаучного типа, т.е. таких, в которых работа с объектом определяется инженерными стратегиями и задачей получить продукт, технологию. В таких исследованиях объект порождается самим знанием и является артефактом, его существование определяется не практической пользой, а возможностями стать товаром, поэтому реалистичность лежащих в основе технонаучных исследований онтологических интуиций не существенна. Примером такого знания в экономике является дисциплина нейрoэкономика.

В этой главе мы хотели бы обсудить ключевую онтологическую проблему экономической науки с менее привычного ракурса, а именно в контексте взаимоотношений экономической теории с государственным управлением, однако здесь нас не интересует классический вопрос об адаптации и использовании конкретных идей экономистов в государственной политике<sup>67</sup>. Мы хотели бы сосредоточиться на той особой роли, которую базисные практики административ-

---

67. Существует большой массив литературы, посвященной теме отношений экономического знания и государства, в том числе истории статистики в различных национальных контекстах. В частности, адаптации и использованию экономических идей правительствами Великобритании и США см. (Furner, Supple 1990), в США, Великобритании и различных странах Европы — (Wagner 1991). По Германии XIX в. и в первой половине XX в. см. (Lindenfeld 1997; Невский 2021).

ного управления, связанные с использованием знания для создания и расширения объекта управления и решения целого ряда управленческих задач, сыграли в развитии и закреплении тренда на формализацию экономической теории. Речь идет о количественных практиках, учете и *квантификации*. Эти практики, по сути, являются «технологиями управления» (Rose, Miller 1992. P. 183), механизмами, с помощью которых государственные программы формулируются и приводятся в действие.

В рамках данной работы нет возможности анализировать весь этот крайне сложный и долгий процесс, в котором важную роль сыграли такие «реперные точки», как формирование и институционализация эконометрики в 1930-х гг. (Lozcá 2007), перемещение после Второй мировой войны центров производства эталонной экономической науки в США, экспансия в экономику математиков, которые занимались вопросами вооружений (Weintraub 2002), и сложившийся в силу целого ряда институциональных причин высокий и особо привилегированный профессиональный статус экономистов, который во многом обеспечивается математизированностью дисциплины (Fourcade, Ollion et al. 2015). Здесь нашим основным интересом будет идея о формировании и развитии (вне зависимости от национального контекста<sup>68</sup>) *двух относительно автономных эпистемических культур* в рамках системы экономического знания: научной, развивающейся в академической среде, и административно-экспертной, воспроизводящейся в системе государственного управления. Эти культуры формируют два различных типа экономического знания, чье различие, однако, определяется, прежде всего, *местом*, где функционирует и воспроизводится знание, а также *субъектом*, который его производит, и его *целями* («профессиональным этосом»). Нас также интересует та роль,

---

68. Проблема автономии экономического знания и его отношения с государством и бизнесом в институциональном и культурном контексте и их влияние на эпистемическую культуру экономического знания на примере Франции, Великобритании и США освещены в (Fourcade 2009).

которую квантификация и «техническое искусство» — прикладной математический инструментарий и формализованные техники — играют в развитии этих двух эпистемических культур и их взаимной конвергенции (Кошовец 2021, см. также: (Кошовец 2019с)).

Как отмечает М. Морган, в западных традициях у экономики всегда было два взаимосвязанных лица. В XVIII в. наука политэкономии А. Смита и в XIX в. искусство экономического управления Дж.С. Милля. Первая из них была направлена на описание функционирования экономики и раскрытие ее регулирующих законов, а вторая — на использование этих знаний для формирования экономической политики (Morgan 2008. Рр. 274–275). В XX в. в рамках философии науки эти два аспекта чаще противопоставлялись как позитивная и нормативная экономика, а в рамках позитивистской методологии описываются как теоретический и прикладной аспекты науки. Такой ракурс позволяет сохранять презумпцию единства знания и развития его вокруг исключительно научных практик в строгом соответствии с идеальными когнитивными схематизмами, это взгляд на науку изнутри нее самой в рамках *нормативных* описаний научной деятельности, который игнорирует рассмотрение самих сложившихся режимов производства знания. Вместе с тем, создаваемая историей экономических учений *преемственность* этих двойных интересов в развитии экономического знания также помогает скрывать различия в том, как реально формировалась и практиковалась экономика с конца XIX в. и в XX в., *когда, как, и благодаря чему* эти два аспекта экономики стали особым образом интегрироваться.

Два крыла экономического знания, изначально представлявшие собой дискурсиво выраженный свод научных доктрин и связанных с ними политических искусств, в XX в. стали более тесно связаны между собой *благодаря использованию комплекса технологий*, регулярно и широко применяемых в экономической практике, как в научной, так и в политической областях. Это привело к созданию особого

феномена *западной технократической экономики*, сильно отличающейся по стилю и содержанию от экономической науки предыдущих столетий. Фактически, речь идет о том, что *economics* XX в. — это *разновидность инженерной науки*, подразумевающей техническое искусство (Morgan 2008. Pp. 275–276). Традиционно такая траектория развития экономической науки в XX в. связывается с развитием дисциплины в соответствии с идеалами и стандартами математизированного естествознания, начиная с маржиналистской революции. Однако нам представляется, что не меньшее значение здесь имеют практики и режим производства знания, сложившиеся в государственном аппарате, и предъявляемые государством запросы к экспертному знанию. Подчеркнем, что речь здесь идет о *формальных*, а не содержательных запросах государственного аппарата к экономическому знанию, то есть о том, какое (в какой форме) экономическое знание помогает функционированию и воспроизводству государственного аппарата, конституированию (конструированию) им самого объекта управления, социальных и экономических отношений и контроля над ними. Такое знание должно быть обязательно представлено *в количественной форме*. Таким образом, решающее значение приобретает практики *квантификации* и складывающиеся на их основе социальные, научные и управленческие практики и технологии.

Анализ генезиса экономического знания показывает, что первичным является *донаучное* экономическое знание, развивавшееся как искусство управления богатством при дворе государя (Hont, Ignatieff 1983; Tribe 1988). Иначе говоря, экономическое знание исторически формируется в рамках *других* практик, нежели научные, но при этом *чрезвычайно важных для его конституирования и воспроизводства*. По этой причине то экономическое знание, которое производится учеными (научными институциями), всегда оказывается *неполным*, каким формально высоким ни был бы его статус, а потому, чтобы быть востребованным, оно необходимо *достраивается* в рамках актуального взаимо-



действия с другими сферами, где оно в той или иной степени потребляется. Ключевой из них является сфера управления государством. Как показывают многочисленные исторические исследования, главное, что интересовало и привлекало чиновников в научных практиках по мере привлечения науки к государственному управлению — это *возможность получить числовые данные* (Porter 1988; Porter 1995; Desrosières 1998). В свою очередь, ученые, взаимодействуя с государством, хотя и получали возможности для развития теории и фундаментальных знаний, прежде всего, были заинтересованы в приобретении *статуса привилегированных экспертов*. Так, последние десятилетия перед Французской революцией ознаменовались альянсом математиков и бюрократов (администраторов) во Франции, — самые передовые инструменты теории вероятности использовались для оценки населения Франции, динамики смертности и потенциальных преимуществ инокуляции против оспы (Brian 1994). Взаимодействие между наукой и государственным управлением оформляется в рамках связки «государство — знание — статистика» (которая, в свою очередь, трансформируется из науки, описывающей богатство и ресурсы государства, в методы проведения количественных измерений и получения количественных показателей и оценок). Статистика и квантификация (количественная оценка) являются и необходимым элементом формирования технической рациональности «государственного взгляда» и связующим звеном взаимодействия между двумя эпистемическими культурами экономического знания на этапе их формирования и обособления.

Как показывают в своих работах М. Фуко и Дж. Скотт (Foucault 1994, 2004; Scott 1998), новый тип государственной власти в форме управления (государство модерна), который кристаллизуется в XVIII в., основан на *знании* как ключевом элементе воспроизводства власти. Конкретнее говоря, он предполагает постоянное наблюдение (получение знания об) «управляемого объекта» и оптимизирующее вмешательство в его жизнь (функционирование), которое опирается

на понимание (знание) о том, как лучше, т.е. подразумевает преобразовательную (модернизирующую) деятельность. В результате формируется особый тип политической рациональности и особый когнитивный стиль государственного аппарата, основанной на *количественном учете и оценке* (Miller 2001), а также подразумевающий значительные упрощения и гомогенизацию «управляемого», что *создает сам объект управления* и обеспечивает единообразность управления. Появившаяся в XVIII в. особая наука о государстве — статистика, — несмотря на то, что была построена на ограниченном измерении, все же носила дескриптивный характер и подразумевала *репрезентацию* управляемого, поскольку была знанием о состоянии и ресурсах территориального государства, а не наукой о числовых показателях и методах работы с ними. Тогдашние «статистики», говоря о методе, всегда упирали на солидность *числовых фактов* самих по себе и исчерпывающие подсчеты, — число как бы говорит само за себя. В результате инструменты анализа не обсуждались, что вполне соответствовало административным практикам (Porter 2008. P. 240). В рамках новой дисциплины политической арифметики основной целью был учет населения, т.е. получение общих демографических показателей. Однако дальнейшее развитие статистики и количественных оценок — через альянс с теорией вероятности, породившей методы расчёта премий по рентным облигациям и страхованию жизни (Brian 1994), — пошло по пути совершенствования измерительных и расчётных процедур и инструментов, а также различных манипуляций с ними. Это во многом стало заслугой тогдашнего научного сообщества. Масштабное применение теории вероятности в статистике стало способом решить проблему *повышения стандартов* статистической практики. Вместе с тем, такая траектория развития статистики имела и практически значимую для государства ориентацию — позволяла *значительно расширить то, что можно было бы учитывать*, например, включить «моральные характеристики индивидов» (склонность жениться, разво-

даться, совершать преступления, самоубийство и т.п. (Porter 1988. Ch. 2). Новая количественная наука стала развиваться с 1820—1850 гг., ее ключевым объектом стал массовый «средний человек», а фундаментальным принципом мышления понятие «среднего» (Hacking 1990. Ch. 14), которое позволяет описывать изучаемую предметную область в целом («граждане», «потребители»), но не конкретный случай<sup>69</sup>.

Итак, ключевой характеристикой познавательной деятельности государства становится превращение «управляемого» в предмет количественных измерений. Количественная оценка позволяет делать «управляемое» ресурсом, оптимально его использовать и эффективно управлять (рассчитывать правильное решение) (Miller 2001). Выполняющая такие задачи количественная оценка — это уже не только научная практика. В системе госуправления это — особая социальная технология<sup>70</sup>, которая помимо прочего позволяет планировать, а, следовательно, и проектировать будущее, а затем и формировать (любую) социальную действительность.

Обратимся теперь к тому, как складывалась эпистемическая культура экономического знания в рамках системы госуправления, а именно ее ключевая характеристика — количественное измерение и те функции, которые оно выполняет в отношении объекта и субъекта познавательной деятельности. Далее мы на примере Франции XIX в.<sup>71</sup> проиллюстри-

---

69. «Среднее» предоставляет возможность формировать статистические закономерности, которые существуют в «превращенном уровне» реальности, однако предстают как причинно-следственные связи. В действительности же они описывают структурную причинность (корреляционные зависимости), которые благодаря работе с «усредненными данными» чрезвычайно устойчивы к эмпирическим опровержениям.

70. Под «социальной технологией» мы здесь понимаем в общем смысле применение научного знания к социальным объектам и процессам с целью их преобразования, получения контроля над ними и извлечения их них пользы.

71. Франция выбрана нами, поскольку представляет собой парадигмальный образец государства с особо развитым административной и бюрократическим аппаратом и одновременно страны, которая одна из первых стала активно инкорпорировать научное знание в системы государственного управления и создала систему элитного высшего образования (*écoles supérieures*) для подготовки административной и управленческой элиты. В этих крайне престижных учебных заведениях математика является одной из ключевых системообразующих образовательных дисциплин.

руем, как в инженерных практиках, связанных с решением больших инфраструктурных проектов государства, формируется *идеал количественного государственного управления*, а определяющим условием эффективной государственной политики становится *опора на количественные факты и статистику* (как технику измерения и прямого расчёта оптимальных правильных решений), в том числе и потому, что они позволяют *планировать*.

Как показывают исследования (Grattan-Guinness 1990; Etner 1987) как минимум с начала XIX в. (а, по-видимому, с конца XVIII в.) количественные измерения и статистика рассматривалась как альтернатива или, по крайней мере, незаменимое дополнение к абстрактной теории в экономике. При этом ключевыми сторонниками этого подхода были ученые естествоиспытатели и в особенности *инженеры*. Так, в Англии в первой трети XIX в. помимо экономиста Ричарда Джонса статистическую экономику активно продвигали физик-астроном и геолог У. Хьюэлл (он и Р. Джонс были в числе первых членов Лондонского статистического общества) и профессор инженерного дела в Эдинбургском университете Ф. Дженкин<sup>72</sup>. Большинство естествоиспытателей, и не только в Англии, писавших тогда по экономическим вопросам, полагали, что «эффективное вмешательство государства в экономические дела, зависело от опыта, который доказал свою *эмпирическую* адекватность, и поэтому однозначно предпочитали статистику формальной, дедуктивной теории» (Porter 1995. P. 54). Во Франции, в свою очередь, формируется целая традиция инженерной экономики вокруг практик измерения объема работ и других величин, а также сопоставления и соизмерения физических параметров с затратами на те или иные работы при строительстве

---

72. Во Франции участие физиков и инженеров в принятии экономических решений широко практиковалось в рамках деятельности Академии наук и, в особенности, в Высшей Политехнической школе, в рамках учебных практик которой был осуществлен синтез математики, физики и инженерного дела (Grattan-Guinness 1990). Один из первых подсчетов национальных ресурсов Франции был осуществлен А.Лавуазье.

дорожной инфраструктуры и ее последующем техническом обслуживании (Divisia 1951. Р. х)<sup>73</sup>. Политехническая школа и Школа мостов и дорог — лучшие высшие учебные заведения Франции, готовившие *инженеров для государства*, культивировали свою собственную *практическую* экономическую традицию, которая почти ничего не заимствовала у тогдашних французских теоретиков-политэкономов. Именно поэтому в 1819 г. Совет Политехнической Школы принял решение о введении нового курса под названием «Социальная арифметика», чтобы дать будущим инженерам представление о страховании, амортизации, займах, активах и научить их оценить вероятные выгоды и затраты (Ambroise 1837. Р. 350). Этот курс ожидаемо преподавали *физики*, так как основными умениями предполагались *эффективность и оптимальность* при планировании и реализации *общественных работ*.

Вовлеченность инженеров в решение экономических вопросов и в экономическое планирование государства является весьма закономерным для периода промышленной революции на Западе и перехода к новому индустриальному типу общества. В свою очередь, привлечение к экономике физиков, не связанных с практическими вопросами, обусловлено интенсивным контактом физиков и инженеров, который сохранялся на протяжении большей части XIX в. по причине того, что ключевой проблемой тогдашней физики и машиностроения являлись тепловые двигатели и затем электричество. На протяжении всего XIX в. отношения между термодинамическими и экономическими идеями были весьма тесными, что отражалось в заимствованиях понятийного аппарата и использовании термодинамических метафор экономистами. Хотя, как показывает Ф. Миrowsки (Mirowski 1989), в теоретическом плане economics как научная дис-

---

73. Показательным примером тут может служить деятельность Ж. Дюпюи — французского инженера, завоевавшего прочную репутацию и в сфере экономики. В 1842 г. он получил две золотые медали от Корпуса Мостов за *инженерные работы*: первая за расчёт силы, необходимой, чтобы тянуть вагоны по рельсам в зависимости от типа вагона и нагрузки; вторая — за минимизацию расходов на содержание дорог (Porter 1995. Р. 59).

циплина строилась на заимствованиях из термодинамики, в практической сфере, в том числе в сфере государственного управления экономические и физические идеи развивались вместе и в общем контексте, при этом ключевым тут был *когнитивный стиль, формируемый бухгалтерским учетом*. Так, к примеру, с экономической точки зрения, идея *балансировки* энергетических счетов посредством трансформаций и обменов сформировала центральную метафору термодинамики (Porter 1995. P. 55). В свою очередь, выдающийся образец современного типа бухгалтерского учета был создан знаменитым французским физиком, государственным инженером и главой Корпуса мостов К.-Л. Навье в ходе практик расчета сравнительной выгоды при использовании различных локомотивных двигателей (Navier 2012). Н. Уайз (Wise 1989) выделяет еще одну важную сферу, где экономические и физические (термодинамические) представления развивались совместно, способствуя квантификации экономических знаний (причем не в теоретическом, а в *практическом* плане). Речь идет о так называемой «экономике энергии», которая по сути представляла собой *экономику измерений*, поскольку основной ее задачей была оценка производительности труда в сравнении с абсолютным стандартом<sup>74</sup>. Это позволяло соизмерять труд машин, животных и людей (их работа мерилась с точки зрения затрат энергии). Таким образом, формировалась особая экономическая практика, которая позволяла судить о производительности машин и рабочих, измерять их труд и совершенствовать оборудование<sup>75</sup>. Еще важнее то, что

---

74. Во Франции для тех же целей использовалось физическое понятие «работы» – действие силы на расстоянии, наиболее легко измеряемое как произведение веса и высоты, на которую она поднимается. При этом французские инженеры имели в виду, что это также и мера рабочей силы (см.: (Lindqvist 1990; Grattan-Guinness 1984)).

75. Буквальные отождествления между физическими понятиями «энергия», «труд» и расчетными величинами «производительность», «эффективность» видны на примере, появившейся тогда новой практики публикации для бедных сравнительных таблиц питательной ценности (калорийности, посчитанной как энергетическая единица) тех или иных продуктов с целью оптимизации затрат на обеспечение энергией рабочей силы человека (Wise 1989). Аналогичную цель преследовал знаменитый «суп Румфорда», имевший, по мнению его создателя, наибольший коэффициент полезного действия в плане энергетической ценности.

эти измерительные практики позволяли инженерам получить *количественное выражение эффективности* (за счет четкого различия между полезным трудом и расточительством) и определять *оптимумы* в использовании ресурсов (количество машинного и человеческого труда). В рамках этих практик кристаллизуется когнитивный стиль, где количественные оценки и статистика играют важнейшую роль, *особенно для административного аппарата управления*, помогая направлять деятельность инженеров и реформаторов производства<sup>76</sup>. Ценность для управления, в частности, проявляется, прежде всего, в том, что «экономика энергии» осуществляет квантификацию экономического знания *именно в практическом плане* и параллельно развитию другого привычного способа количественной оценки экономической деятельности — деньгам. Важнейшее отличие состоит в том, что в рамках этих «энергетических» расчётов физиков и инженеров формируется количественное измерение *в стандартных, сопоставимых единицах*, а это позволяет оценивать эффективность (Wise 1989).

К середине XIX в. работы К.-Л. Навье и другого знаменитого инженера Ж. Дюпюи фактически сформировали идеал *количественного государственного управления*. Несмотря на то, что Ж. Дюпюи придерживался либеральных экономических взглядов, он также последовательно отражал общую для эпохи точку зрения о том, что политика должна перестать быть наукой о морали, а стать, заимствуя методы математического анализа и геометрии, точной, а ее доводы убедительными. Роль политэкономии при этом заключается в том, чтобы *стать «математической»*, ибо определяющее условие для эффективной государственной политики — опора на *количественные факты* политэкономии. В развитие своих идей Ж. Дюпюи строил графики спроса как функции цены,

---

76. В свою очередь, для инженеров квантификация и измерения, по-видимому, являлись, прежде всего, средством поднять свой социальный престиж, так как позволяли привнести в инженерное дело физическую теорию и за счет этого поднять его на уровень науки (т.е. перестать быть простым мастерством) (Grattan-Guinness 1990).

при этом он был уверен в том, что, если строгое решение невозможно по практическим причинам, количественные оценки все равно необходимы как средства аппроксимации, и в особенности, если данные относительно неполны или неточны (Dupuit 1844). К концу XIX в. эти аргументы составили основу стратегий количественной оценки для системы управления и планирования общественных работ. Внедрение в бюрократический оборот статистических карт и графиков (а также использование графических методов для решения задач оптимизации) во Франции — заслуга другого видного инженера Э. Шейссона. Его деятельность — воплощение происходившего в последней трети XIX в. *слияния практик административного управления, модернизаторских реформ, экономики и статистики*. Последнюю он видел именно в качестве средства эффективного управления. Разработанная им геометрическая статистика продвигалась как достаточно универсальный количественный инструмент для решения практических проблем в государственных делах, позволяющий *напрямую «рассчитать правильное решение»* (Cheysson 1886). Подчеркнем еще раз, обращение к математике инженеров при решении экономических проблем, которые сводились ими к экономическим расчётам, это, прежде всего, *задача квантификации, количественной оценки*. Эта деятельность носила подчеркнуто *эмпирический* характер. Более того, в рамках тогдашней эпистемической культуры статистика мыслилась (математиками и инженерами) как сугубо эмпирическая наука, аналог экспериментальных практик в физике для общественных наук.

В свою очередь, принципиальный отказ тогдашних «чистых» экономистов-теоретиков, таких как Л. Вальрас, от разработки собственных практических экономических инструментов и концентрация инженеров-экономистов на задачах квантификации в практических целях свидетельствуют о том, что, несмотря на единый тренд на математизацию экономического знания, осуществлявшийся в инженерных практиках и в «чистой науке», разность решаемых ими



практических, институциональных и эпистемологических задач вела к формированию двух относительно автономных эпистемических культур в рамках экономического знания. Одна из них стала развиваться и воспроизводиться в административных, а другая в научных целях. Соответственно, для административной (исходно инженерной) эпистемической культуры ключевым элементом экономического знания была статистика как инструмент измерения и средство рационализации принятия решений. Измерение в рамках этой эпистемической культуры было не столько связующим звеном между практикой и теорией, сколько *технологией управления и контроля*, ключевым элементом *этоса* инженерных и управленческих практик. В свою очередь, в эпистемической культуре «чистой науки» статистика выполняла, прежде всего, онтологическую функцию — пересборка объекта — «экономики» как совокупности агрегированных показателей и операций. Репрезентация объекта в исчисленном и измеренном виде позволяла в дальнейшем перейти к моделированию отношений (причинных связей, корреляций) между количественными сущностями /показателями/ параметрами.

После институционализации экономики как научной и учебной дисциплины на рубеже XIX–XX вв., решающее воздействие на дальнейшее развитие ее эпистемической культуры также оказало тесное взаимодействие с властью в рамках перехода государства к новому типу *технократического управления* и массового привлечения экономистов в систему управления. По-видимому, поворотной точкой сращивания научных практик производства экономического знания и государственной власти нужно считать проекты первой половины XX в. по реорганизации общества на рациональной основе. Наиболее показательным в этом плане является проект «Эконометрика-1930» — деятельность по реформированию экономической науки в соответствии с представлениями группы экономистов, составивших костяк Эконометрического общества о научном знании, способах его получения и о роли экономической науки в современном

мире. Перестройка экономической науки в наиболее перспективном с их точки зрения направлении подразумевала ее «движение в сторону математизации и квантификации, а также утверждение принципа верификации экономической теории» (Белянова, Макашева 2020. С. 158). Реализация этой цели предполагала альянс математики, экономической теории и статистики, а также международное распространение и утверждение такого стандарта сознания. Этот проект, будучи выражено естественнонаучно и сциентистски ориентированным (квантификация экономического знания на теоретическом и эмпирическом уровне и его перестройка на основе синтеза с математикой и статистикой, декларативный отказ от оценочных суждений, политических, финансовых и иных интересов), при этом *имел явную конструктивистско-инженерную интенцию*. Ключевым являлся *отказ от репрезентации в пользу преобразовательного отношения к реальности* и формирование соответствующего этой задаче нового типа экономического мышления. Важно подчеркнуть, что этот проект стал ответом тогдашнего экономического сообщества на запрос госуправления на профессиональную экспертизу (Louçã 2007). Как показывает Д. Бреслау (Breslau 2003), сама «экономика» как объект управления была впервые создана как политико-экономическое отношение между экономическими агрегатами и государственными интервенциями посредством применения макроэкономической теории государственными институтами к обществу. В конечном счете, по мнению А. Десрозьера (Desrosières 1998), даже «государство», а не только «экономика», становятся результатом комбинации статистики, эконометрики и макроэкономики. Примерно с этого времени экономическая теория развивалась не только как фундаментальная наука, которая подразумевает поиск истины, объективных законов и создание наиболее полной и точной репрезентации объекта, сколько в прикладном инженерном ключе, как *эффективная теория*, которая предполагает производство верифицируемого (десубъективированного) знания, позволяющего делать

предсказания и управлять объектом знания по заданным параметрам. Именно такая эффективная теория привлекается для целей государственного управления, — но в процессе взаимодействия с ним она неизбежно подвергается серьезной деформации, связанной с целями бюрократа /политика.

Развитие экономического знания как академической практики в исследовательских институтах и университетах и вместе с тем в системе государственного управления в форме инженерной /научной / авторитетной экспертизы фактически привело к формированию *двух относительно автономных эпистемических культур* — научной и экспертно-административной (и соответствующих типов знания). Первая формируется в рамках деятельности научного сообщества и воспроизводства различных академических и образовательных практик и определяется «научным этосом» и институциональными особенностями функционирования академических институтов и системы образования. Вторая обусловлена принципиально иными условиями развития в системе госуправления, т.е. подчиняется целям и задачам, не имеющим отношения к науке, и встраивается в практики, обусловленные бюрократической и административной (а затем и бизнес) логикой. Развитие экономического знания сначала частично (а затем и во все большей степени) *за пределами* собственно академической сферы ведет к формированию промежуточной, а затем и полностью автономной формы — экспертного знания со своей собственной эпистемической культурой и своим собственным «профессиональным этосом» (Кошовец 2008). Вместе с тем, несмотря на отличия в эпистемических характеристиках, эти два типа экономического знания находятся в состоянии взаимной конвергенции и диффузии, пытаясь определить и переопределить друг друга и формируя единое трансэпистемическое пространство. Ключевой точкой их схождения, обеспечивающей условия и возможности для их взаимодействия, коммуникации и относительного дискурсивного единства (включая общий когнитивный стиль), являются *квантификация*

как ключевая эпистемическая практика, обеспечивающая производство и воспроизводство экономического знания, и *математическая формализация* (как форма представления знания и основной способ мыслить «экономическое»), а также формируемый ими новый *идеал объективности*, который составляет основу «профессионального этоса» обеих эпистемических культур. Онтологическим фундаментом для развития этих практик в обоих типах экономического знания является *статистика*, которая, выполняя роль поставщика эмпирического материала, отвечает за формирование особого превращенного уровня реальности, являющегося конечной данностью и для экономистов, ученых и экспертов, и для чиновников, поскольку объект экономического исследования всегда предстает преимущественно (или только) исчисленным и измеренным. В последующих параграфах мы последовательно рассмотрим функционирование экономического знания в рамках экономической профессии (или на стыке экономической науки и профессии), а именно: особенности экспертного знания, функционирование экономического знания как трансэпистемической области и трансформацию ключевого научного регулятива, эпистемической добродетели «объективности» под влиянием двустороннего источника формализации экономического знания и наличия в нем двух относительно автономных эпистемических культур.

## **2. Конструирование «экономики» как объекта управления и глобализация экономического знания**

В этой главе нашим основным интересом будет рассмотрение связи «знание-власть» в применении к работе государственного аппарата, осуществляющего управление экономикой, и затем к международным организациям, берущим на себя функции государства и производство знаний об экономике и «экономическом». Это позволит нам в дальнейшем поставить вопрос о том, какое знание, и в частности, экономическое знание востребовано в административном

управлении и как практики, связанные с обеспечением функционирования государственного аппарата, влияют на производство экономического знания и его ключевые эпистемологические характеристики.

Однако сначала мы хотели бы обозначить тот концептуальный контекст, в рамках которого мы понимаем «власть» в рамках данной работы. Речь не идет о привычном понимании власти как власти политической и монополии на легитимное насилие (Вебер), иными словами, нас здесь не интересует, что такое власть, какова ее природа, а лишь только то, *каким образом она осуществляется*. В таком понимании «власть» — дискретна и не привязана к носителям политической власти, это «множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конструктивны для ее организации» (Фуко 1996а. С. 192), а ее *конститутивным элементом является знание* (и иерархия знаний). Иначе говоря, такая власть осуществляется и реализуется посредством (властного) дискурса, т.е. коммуникативных и социальных практик, которые конституируют нашу реальность, наше представление о мире, эта система понятий, с помощью которой мы осваиваем мир, обговариваем его и также правила этого обговаривания, т.е. соответствующие мыслительные конструкции (Фуко 1996b; 2002).

Предпосылкой формирования нового (современного) типа государственной власти является описанный М. Фуко переход от «государства юстиции» Средних веков (власть в форме суверенитета) к *административному* государству (власть в форме управления), которое начало развиваться в XV–XVI вв. (Фуко 2011. С. 161–162) и, в конечном счете, оформилось в совокупность институтов, техник и расчетов (прежде всего, связанных с политической экономией и опирающихся на инструменты безопасности), посредством которых создается «население» и осуществляется власть над ним (Там же. С. 69). Ключевым средством конституирования «населения» как объекта становится особый тип знания о государстве, развивающийся с XVII в. — *статистика*,

которая позволяет перейти от модели «семьи» и связанных с ней представлений о руководстве, регулировании и экономике к анализу государства с точки зрения многообразия его качеств и соответствующих измерений, а также *рационализировать* процедуры отправления власти. «Население» и затем «экономика» (государственное хозяйство) становятся конечной целью (объектом) управления, а не само управление или могущество верховных правителей. Более того, «население» становится не только целью, но и основным инструментом управления.

Новый тип власти в форме управления, как показывает М. Фуко (Там же. С. 449–451), институционализируется во многом усилиями экономистов (создателей политической экономии) в XVIII в. Однако их новое искусство управления определяется не только государственными, но и экономическими интересами — при этом экономический интерес не заменяет государственный, а *сообщает ему новое содержание в форме рациональности*, так как основан на рациональном, оптимальном, разумном решении. Иначе говоря, речь идет о таком знании, которое не рождается непосредственно из локальной управленческой практики, — это знание *внешне* по отношению к системе управления и основано на прикладных математических практиках (по видимому, возникающих в рамках бухгалтерского учета). Опирируя «населением», представленным *количественными* характеристиками (рождаемость, смертность, доходы, семейный статус), субъект управления принимает *оптимальное* решение о тех или иных мерах (например, инокуляция от оспы или установление цен на продовольствие) на основе количественного сопоставления и анализа различных вероятностей их успеха (удачи) или неуспеха (неудачи) (например, объемы антикризисных выплат населению для стимулирования спроса против размера дефицита бюджета).

Таким образом, те или иные административные практики (продовольственные карточки, вакцинация, введение карантинных мер) становятся рациональными за счет того,

что купируемая ими опасность (риск) рационализируется (*объективируется и контролируется*). Во-вторых, рациональность управления (оптимальность управленческого решения) – это его *экономическая целесообразность*: цена борьбы с преступностью против цены ущерба, наносимого преступлениями, цена усиления налогового администрирования против объема недополученных от налогов доходов. В-третьих, рациональность управления подразумевает установление *оптимальных* показателей (уровня приемлемости / неприемлемости) того или иного явления, например, преступности, смертности, продовольственного обеспечения, налоговых поступлений. Оптимальность показателей фиксируется как *нормальность*, из которой, в свою очередь, выводится *норма*. Норма выступает в качестве *модели* того, что должно имплементировать.

Итак, отличительной чертой этого нового способа правления (управления, администрирования, регулирования) является *рациональность*, то есть речь идет о разумном (наилучшем) управлении, основанном на *знании*, ключевым элементом которого является статистика и соответствующие прикладные математические методы. Статистика, этимологически, это знание о государстве, а точнее обо всех его элементах, которое позволяет государство сохранять и развивать. Причем ключевая особенность статистики и связанной с ней совокупности технических знаний о государстве в том, что *они характеризуют саму «реальность государства», конституируют его* (Фуко 2011. С. 358).

Наша задача далее определить когнитивный стиль административного управления, который кристаллизуется в XVII–XIX веках вместе с почти повсеместным утверждением в Европе государства нового типа, – он подразумевает привлечение профессионалов и специалистов (обученных людей) и основывается на научном знании. Исходная и основополагающая функция управленческого (бюрократического) аппарата государства как института, которая является его конституирующим элементом и устойчиво воспроизводится

на протяжении всего его развития, — это необходимость постоянно *видеть* — *наблюдать* — *знать*, что происходит в государстве (на управляемой территории). То есть помимо функции исполнения указов высшей власти, взимания налогов и т.п. еще одной важной функцией управления становится *познание*, а соответственно, формируется и *аппарат познания*. В результате его деятельности постоянно производится и воспроизводится специфическое *знание*, которое является неотъемлемой частью управленческой власти, так как оно появляется в процессе реализации самого управленческого акта и с ним соотносится.

Опираясь на идеи Дж. Скотта (2005), который поставил сам этот вопрос, *как видит* государство, что государство обладает собственной точкой зрения и именно эта оптика позволяет ему осуществлять свои властные функции на обширной территории, мы конкретно в применении к интересующей нас теме управления экономикой далее поставим вопрос о том, как и какую информацию получает административный аппарат, как она интерпретируется, какая в итоге этих манипуляций получается *репрезентация* экономической системы и можно ли вообще в данном случае говорить о репрезентации. На богатом эмпирическом материале Дж. Скотт показывает, что специфика взгляда государства (мы полагаем, что правильнее говорить, *управленческого аппарата* государства) в том, что он видит окружающий мир *схематично и упрощенно*. Это значит, что пытаясь получить точную (на конкретный момент) репрезентацию управляемого, этот взгляд *искажает*, — точнее, видит лишь определенные аспекты наличной реальности, все остальное остается неразличимым. Более того, управленческий аппарат в принципе не имеет дела с реальностью, сложной или упрощенной, он имеет дело с *артефактами, которые являются для него данностью* и именно с ними он работает: статистические показатели, карты, переписи, кадастровые списки и стандартные единицы измерения. Дж. Скотт выделяет пять основных характеристик данных, на которые опирается государство при принятии решений, из



этих характеристик видно, как устроен «взгляд» государства, каков его «когнитивный стиль» (Скотт 2005. С. 104).

Первое, данные *должны быть полезными*, иначе говоря, отражать, репрезентировать только интересующие управленческий аппарат аспекты управляемой реальности. Полезность данных определяется теми функциями, которые выполняет система управления: сбор налогов, выплата пособий и т.п., или целями (целевыми показателями), которых необходимо достигнуть (уровень рождаемости, прожиточный минимум и т.п.). Второй важный аспект — данные должны быть зафиксированы тем или иным способом: записаны, задокументированы, оцифрованы. Ключевую роль здесь играют статистические бюро и агентства, которые регулярно собирают и формализуют данные по множественным классификаторам, таблицам и в различных отчетах. *Без фиксации данных не формируется объект управления.* В результате зафиксированные данные и отчетность *становятся той предельной реальностью*, с которой работает и с которой соотносится чиновник. Третье — собираемые и тщательно фиксируемые (документируемые) факты *принципиально статичны*, так как любые данные собраны на определенный момент времени: то, что случилось между наблюдением А и наблюдением В, остается неизвестным, — эта «дыра» прикрывается простым соединением любых двух последовательных моментов сбора данных (Там же. С. 107, прим. 79).

Далее большинство проводимых управленческим аппаратом измерений не затрагивают единичные, конкретные объекты, это *агрегированные* показатели, и, добавим от себя, как мы отмечали выше, агрегация тесно связана с нормализацией (и установлением нормы) — отсюда, «среднее», «уровень» (приемлемый/неприемлемый), например МРОТ, средняя продолжительность жизни и т.п. Пятая, важная характеристика, которую выделяет Дж. Скотт, — это принципиальная возможность сравнивать, т.е. *сравнимость данных*. Из этого требования вытекает необходимость стандартизации, разработка всевозможных критериев, шкал и т.п., кото-

рые позволяют как *создавать норму*, эталон, так и сравнивать с ним все имеющиеся данные. Отсюда следует весьма важное следствие, в том числе для экономики: норма (эталон, модель) обладает для управленческого аппарата *онтологическим приоритетом*, иначе говоря, объекты реальности должны соответствовать ей, в той или иной мере подходить. И если объект (в нашем случае экономика или сектор экономики) не подходит под выработанное нормативное (эталонное) представление, то значит, этот объект *подлежит преобразованию*, модернизации и в этом есть главная цель управленческого аппарата в отношении объекта, более того, *в самом акте этого преобразования управление (власть) реализуется*. Дж. Скотт отмечает закономерность такого преобразовательного усилия, вытекающего из способа «государства» «видеть», познавать реальность: «от упрощенного описания общества к его проектированию и манипуляциям с ним во имя его совершенствования — шаг небольшой» (Там же. С. 120). Еще одна важная черта когнитивного стиля административного аппарата государства — это *гомогенизация* управляемого объекта, его характеристики должны быть простыми, однородными и регулярными, — в противном случае управление невозможно, — разнородность мешает управлять (Tilly 1990. Рр. 100–126). Следующим закономерным шагом в этом направлении становится *создание стандартизированных абстракций*. При этом важно отметить, что гомогенизация и стандартизация имеют сугубо утилитарный характер, определяемый целями управляющего аппарата. Дж. Скотт характеризует их как «административная сетка наблюдений» (Скотт 2005. С. 100).

Исходя из приведенного выше анализа когнитивного стиля современного аппарата управления государством и его ключевых эпистемологических характеристик, следует поставить вопрос, *чем* сформирован такой взгляд на «управляемый объект». Выше мы отмечали, что основополагающая черта современного типа государственной власти это рационализация процедур отправления власти и, что новый тип

власти в форме управления институционализируется в том числе усилиями экономистов, которые наделяют государство, представляющее как владельца различных обширных ресурсов, *утилитарным интересом* и предлагают ему рациональный (оптимальный) подход к распоряжению ими. В результате оптимальность управленческого решения выражается в его экономической целесообразности (ключевым прототипом которого, по-видимому, является бухгалтерская запись).

Приводя в качестве наиболее впечатляющей метафоры «государственной оптики» научное лесоводство в Германии XVIII–XIX в., Дж. Скотт отмечает, что «логика управляемой государством лесной науки оказывалась практически идентичной логике коммерческой эксплуатации» (Там же. С. 32). Способность управления и планирования возрастает в той степени, в которой с ресурсами (включая население) можно обращаться как со стандартизированными единицами, а все объекты и задачи управления перевести в ясное *количественное* представление: «экономика достигает своей огромной разрешающей способности, переводя все, что иначе было бы качественными проблемами, в количественные задачи с единой системой измерений и в конечном итоге, сводя их к вопросу: прибыль или убыток?» (Там же. С. 388). Иными словами, любой *управляемый объект* — это ресурс или набор ресурсов, который необходимо сделать наблюдаемым (поставить под контроль), правильным (эффективным) образом использовать, чтобы извлекать из него пользу (прибыль), а, следовательно, все, что находится за пределами этой задачи, не представляет познавательного интереса и *не отражается* в создаваемой управленческим взглядом «картине» реальности.

Справедливость этого утверждения хорошо видна на примере развития *других управленческих практик*, аналогичных государственным, речь, прежде всего, идет о больших предприятиях. Очевидно, что сначала эти процессы происходили на корпоративном уровне в управлении бизнесом в ходе превращения национальных корпораций в транснациональные. Дж. Скотт, говоря об упрощениях, позволяющих *наблю-*

*дать* управляемый объект, отмечает, что «эта привилегированная позиция удобна для тех учреждений, где важнее всего управление и контроль сложной человеческой деятельности... заводские корпуса и административная бюрократия (производственная или общественная) выполняют много функций, подобных государственным, и часто подражают его структуре знаний и осведомленности» (Скотт 2005. С. 107).

Между тем, наиболее показательный пример являют собой международные организации и институты развития, поскольку они изначально создаются по образцу государственного управления и подражают ему, но в своем развитии все больше и больше руководствуются чисто экономическими интересами, которые позволяют формировать новый наднациональный политический уровень. Примерно до середины 1980-х годов международные институты представляли собой продолжение государственной власти (отдельных стран) на международном уровне, по сути *это были межгосударственные органы*. Однако с конца 1980-х — в начале 1990-х годов ситуация изменилась. Начался процесс институционализации наднационального, глобального управления на основе развития дискурса «глобальных дел» (общечеловеческих вызовов). При этом совершенно закономерно, что международные организации, постепенно развиваясь в *автономную* систему глобального управления (*global governance*), стали аккумулировать все больше управленческих функций и трансформироваться в наднациональные экономические институты. Эти институции также (и даже в большей степени, чем государственный административный аппарат) подчинены экономической логике контроля и управления ресурсами и предполагают когнитивный стиль, основанный на наблюдении, рационализации, упрощении, схематизации, гомогенизации и стандартизации (нормализации) управляемого объекта. Так, аналогичные (описанной Дж. Скоттом «оптике» государства) «взгляд» и эпистемические практики работы с управляемым объектом обнаруживаются в деятельности бюрократических аппаратов МВФ (Broome, Seabrooke 2007;

Moschella 2012), Всемирного банка в отношении, например, бедности (Vetterlein 2012), ВТО в отношении регулирования международной торговли (Mortensen 2012), ОЭСР в отношении налогов (Sharman 2012), Банка международных расчётов в отношении международных финансов (Ozgercin 2012). Ключевым в деятельности всех этих институтов является формирование *экспертного знания*, направленного на нормализацию (стандартизацию) социально-экономической политики (а по сути систем управления) государств-членов и контроль (*наблюдение*) за этим процессом, что позволяет формировать единую систему управления. Т.Г. Вайсс, бывший главный редактор журнала *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* определяет «глобальное управление» как обращающееся к конкретным механизмам решения проблем, многие из которых все в большей степени вовлекают не только ООН, но и другие аналогичные наднациональные структуры, а именно «международные секретариаты и другие негосударственные субъекты». Иными словами, под глобальным управлением понимаются, прежде всего, *сами способы* управления «глобальными делами» через бюрократический аппарат (Thakur, Weiss 2010). Как показывают исследования, международные организации выступают в качестве «локомотива» идей для структурных реформ на национальном уровне, отслеживаемые ими в статистических показателях процессы и предписываемые ими институциональные изменения формируют «когнитивную власть» в определенных сферах экономической политики (Broome, Seabrooke 2007. P. 1), иначе говоря, становятся общепризнанными центрами производства экономического знания для всего мира.

Вместе с тем, у производимого международными институтами глобального экономического знания *есть одно существенное отличие* от государственного управления. Государственный аппарат хотя бы на начальном этапе формирования знания имеет интенцию получить некоторую исчерпывающую (пусть и упрощенную) репрезентацию управ-

ляемого объекта. Между тем, международные институты развития собирают и упорядочивают информацию, согласно разработанным ими упрощенным схемам, прежде всего для того, чтобы *диагностировать дисфункции* и предписать разработанные ими интервенции для *улучшения и нормализации* ситуации (Mittag 2005. P. 384). Для этого, в частности, создаются стандартизированные абстракции (объекты управления), такие как вышеупомянутые «глобальные дела» — борьба с бедностью (Charnock 2006), «системный финансовый риск» (Kranke, Yarrow 2018), «экологическая проблема», «устойчивое развитие» и даже «экономический рост» (Wagyu 2018), которые требуют, в свою очередь, формирования соответствующей «глобальной административной сетки наблюдения» (которая неявно содержит в себе нормативные представления/знания о том, как должно).

Иными словами, познавательная деятельность глобального экономического управления изначально *конструктивистская* по своей интенции, ее не интересует, как *есть* (адекватная репрезентация реальности) — задача в том, чтобы *сконструировать норму* и предложить ее в качестве модели для имплементации. «Когнитивный авторитет» международных (наднациональных) организаций определяется тем, насколько разработанные ими классификации, категоризации и схемы принимаются и включаются в повседневные практики управления национальными бюрократическими аппаратами различных стран и насколько твердо их придерживаются.

Из предыдущего анализа возникает ключевой вопрос, а с чем связан конструктивистский, игнорирующий сложность объекта и почти не интересующийся его действительным состоянием когнитивный стиль государственного управления и затем глобального управления. «Административная сетка наблюдений» государства и «глобальная единая стандартизирующая сетка» международных институтов имеет в качестве ключевой причины своего формирования деятельность, так или иначе направленную на *преобразование реаль-*

ности в соответствии с ней. Последнее, однако, вызвано не только особенностями знания, которое требуется и которое производится аппаратом государственного (глобального бюрократического) управления.

Ключевым здесь являются *сами практики*, конституирующие управленческую деятельность, — а именно организация, *изменение и улучшение* (модернизация, реформирование, оптимизация) управляемого объекта. Масштабные модернизационные проекты (возникающие в рамках перехода от традиционного — аграрного — к современному — индустриальному и затем постиндустриальному — типу общества) продолжают появляться до сих пор. Однако теперь их агентами выступает не только административный аппарат государства, но преимущественно институты глобального управления. Вот, к примеру, документ Всемирного банка середины 1990-х годов, разработанный для стран Латинской Америки: «ускорение роста при сокращении масштабов нищеты и неравенства требует активизации некоторых уже проводимых реформ ... Новые реформы должны будут изменить макроэкономические и политические стимулы; они должны будут укрепить институты, перестроить государство, основательно реформировать административную систему управления и модернизировать судебную систему. Короче говоря, они должны будут создать рамки, которые позволят инвесторам и рабочим работать эффективно и гармонично, и в то же время позволят им успешно конкурировать в мировой экономике» (Burki, Sebastian 1996. P. 11).

Последним примером тут может служить такой новый модернизационный по своей сути проект, как глобальная цифровизация экономики и социальной сферы. На основе показателей ОЭСР, а также ряда других индикаторов Всемирный экономический форум и Всемирный банк разработали несколько индексов, отражающих развитие цифровой экономики (ЦЭ) в той или иной стране. Например, международный индекс сетевой готовности (Baller, Dutta Lanvin 2016), который измеряет, насколько хорошо экономика

страны использует цифровые технологии для повышения конкурентоспособности и благосостояния, а также оценивает различные факторы, влияющие на развитие ЦЭ. Данные индексы являются своеобразным инструментом, направляющим развитие ЦЭ в нужное русло. В частности, международные институты продвигают в развивающихся странах программы по развитию ЦЭ, прежде всего, нацеленные на повышение места страны в разработанных ими рейтингах. Итоговый документ саммита G-20 за 2015 г., сформулированный на основе таких рекомендаций, индексов и рейтингов развития ЦЭ, также дает весьма четкие рекомендации развивающимся странам в отношении того, как им следует осуществлять цифровизацию (Ganichev, Koshovets 2019).

По мнению П. Кэммака, запущенные Всемирным банком в 1999 г. система показателей и рекомендаций «Комплексные рамки развития», «представляют собой глобальную архитектуру управления, за пределами международной финансовой архитектуры» (Sammas 2002. P. 50). При этом нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, бывший главный экономист банка, в рамках решения этой задачи активно выступают за переход от «мелкого интервенционизма» технических предписаний в рамках различных глобальных проектов/программ Всемирного банка к «глубокому интервенционизму», направленному на фундаментальное преобразование общества и институтов в странах – членах международных структур (Charnock 2006). На уровне дискурса это оформляется в широко ныне распространённый и хорошо известный российскому экономическому сообществу тезис о *необходимости институциональных реформ*<sup>77</sup>. В частности, это предполагает копирование *эталонных* (т.е. нормативных) институтов, чаще всего так называемых институтов глобального стандарта (Chang 2011). Деятельность международных институтов развития и разрабатываемых ими показателей

---

77. Как видно из исследования (Charnock 2006), национальные программы реформ в Латинской Америке имеют поразительное дискурсивное и логическое сходство с флагманскими отчетами Всемирного банка и содержащимися в них рекомендациями по преобразованию экономики.



и рекомендаций («глобальная единая стандартизирующая сетка») по определению перформативна, она направлена на *преобразование реальности в соответствии с ней, так как на этом зиждется и «когнитивный авторитет» институтов «глобального управления», и универсальность производимого им экономического знания.*

### **3. Фигура эксперта и воспроизводство знания за пределами научных институций**

В этом параграфе мы рассмотрим ключевую форму экономического знания, формирующегося и функционирующего за пределами академического мира науки — экспертное знание как основу профессии экономиста. Традиционно эксперт — специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса, основанное на его собственной компетенции. Такое представление о функциях эксперта связывается у нас с процедурой экспертизы, под которой понимается проведение аналитических и технических операций с целью вынесения оценки для последующего принятия решений. И действительно, экспертиза применяется в самых различных областях, которые обслуживают соответствующие эксперты, выступая как особый тип высококвалифицированного специалиста-профессионала. Однако в последние десятилетия эксперт стал чем-то значительно большим, а именно одним из субъектов системы публичного воспроизводства власти. Власть эксперта особого рода — она основана на потребности государственного аппарата в профессиональном знании, и это способствовало превращению эксперта во влиятельную фигуру в отношении политического пространства, и в частности в сфере экономической политики государства. Теперь эксперты не только готовят решения для нужд государственного аппарата, но и легитимируют их в публичном пространстве, оказывая таким образом воздействие на «общественное мнение» и «помогая» ему принять эти решения и оценки как должные (Элюль 2003). Между тем, соприкосновение эксперта с масс-медиа превратило его в одну из ключевых фигур

публичного пространства. При этом содержание экспертных функций претерпело существенные изменения — вместо профессиональной начали выдвигаться *иные типы компетентности*, поэтому появились эксперты по сути другого типа. И действительно, сейчас экспертные оценки и комментарии сопровождают любой вопрос, который обсуждается в средствах массовой информации — от экономической политики и социальных проблем общества до кулинарии и моды. В результате эксперт стал и одним из важных субъектов *воспроизводства масс-медиа*. Однако изменения произошли не только с экспертом, но и с источником его компетенции — знанием (Лиотар 1998). Современное понятие «эксперта» тяготеет к расширению и размыванию границ своего обозначения, и в целом стало синонимом понятия специалист. При этом оно указывает на такого специалиста, который участвует в процессе принятия решений, имеет в силу компетенции «весомое» мнение и обладает на этом основании правом судить, высказывать оценку.

Чтобы подойти к пониманию социального феномена, который обозначается понятием «эксперт», представляется необходимым задаться вопросом, как исторически появляется такой субъект, как эксперт, каковы условия существования этого «места» (позиции) в социальном пространстве в дальнейшем. Далее мы постараемся выделить исторически сложившиеся формы эксперта и обозначить поле его функционирования. Это подразумевает обращение к анализу объективаций и типов социальных взаимодействий, способствовавших появлению эксперта и являющихся условием его воспроизводства. Мы полагаем, что *таких общественных сферы три*: политическое поле (госаппарат и различные властные структуры), средства массовой информации и экономическое поле. В них же происходит и потребление создаваемой экспертами продукции — экспертного знания. Между тем, есть еще одна не менее важная сфера, которую, однако, стоит выделить особенно — это наука. Эксперт (по крайней мере, в своей классической форме) является специфици-

ческим типом работника интеллектуального труда. Выше отмечено ключевое качество делающего эксперта экспертом — это *профессиональная компетенция, основанная на знаниях* в той или иной области. Знания эксперта имеют два источника, придающих им общественную ценность и легитимность: профессиональная деятельность или научная деятельность. Причем наука и высшее образование, в конечном счете, с XIX в. становятся безусловным основанием этих типов деятельности, порождающих знание. Однако применение экспертом знаний всегда носит *прикладной характер*. А это, в свою очередь, означает, что производство, потребление и применение экспертного знания в основном происходит *вне сферы научной деятельности* и не направлено непосредственно на воспроизводство самой науки. Тем не менее, эксперт очевидным образом связан с системой науки (а зачастую и с различными научными институтами), которая опосредованно участвует в его воспроизводстве через образование, контакты с научным сообществом или институтами, но главное, поскольку является *источником и средством поддержания его компетенции*. В этой связи интересна еще одна социальная тенденция, связанная с возрастающей ролью экспертов — стремление экспертов заменить собой ученого (исследователя), поскольку они неизбежно конкурируют за одни и те же ресурсы, источники финансирования, а также и за «символический капитал» (авторитет и социальное признание).

Исторически появление фигуры эксперта связано со следующими важными процессами:

- формированием мировоззренческой роли науки (заместительная функция в отношении религии), которая получила «символическое» преимущество, участвуя в усвоении и воспроизводстве индивидом научной картины мира через всеобщую систему образования начиная с конца XIX в.;
- профессионализацией, институализацией, а также значительным усложнением научного знания;

- научно-технической революцией (НТР), когда наука стала мощной производительной силой, что изменило ее статус в социальном и экономическом пространстве;
- капитализацией научного знания и системы образования;
- качественным усложнением и расширением системы государственного управления, бюрократизацией и технократизацией власти;
- потребностью государства и субъектов политического поля в рамках демократического дискурса легитимировать свою «точку зрения», деятельность, принятие тех или иных решений;
- широким распространением массовых коммуникаций и формированием специфической роли масс-медиа в современной культуре.

Первый этап сращивания науки с интересами власти и промышленного капитала, которые через систему организационного и финансового воздействия подталкивали развитие научного знания и институтов в направлении обособления прикладных исследований и превращения ряда научных специалистов в государственных служащих для обслуживания госаппарата и экономических субъектов. Централизованная государственная власть способствует структурированию научного сообщества. Под ее воздействием последнее *про- низывается отношениями власти*, в результате чего формируется особая научная элита, доминирование которой в научном сообществе поддерживается за счет тесной системы отношений с государством. Эти отношения реализуются *в двух направлениях*: оказание консультационных услуг по тем или иным ключевым аспектам управления (прежде всего это обороноспособность и военная промышленность, затем экономическая политика, и, в конце концов, взаимодействие с масс-медиа) и участие в системе финансирования научных исследований. Консультирование развивается по мере развития и расширения функций государства, в результате чего происходит серьезное усложнение системы управления.

Именно поэтому появляется потребность в широком круге экспертов — специалистов, задействованных в подготовке тех или иных проектов и решений, принимаемых государством. Яркий пример финансовых отношений — появление упорядоченной и целенаправленной системы финансирования науки для нужд государства — научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Государство всегда рассматривалось как орган принятия решений национального масштаба, однако в эпоху НТП происходит значительное усложнение управленческих функций государства, сопровождающееся разрастанием административных органов (различных ведомств, бюро, служб и пр.), что приводит к умножению и *профилизации* центров принятия решений, а также появлению посреднических (связующих) учреждений. С одной стороны, это явление вполне закономерно, если учесть, насколько сложны проблемы и задачи, стоящие перед современным государством и сколь колоссален объем подлежащей переработке и анализу информации и документации в каждом конкретном секторе, отвечающем за определенную социальную или экономическую сферу. При этом каждый озабочен тем, чтобы его сектор хорошо функционировал и в результате каждый знает свой сектор и не знает целого. С другой стороны, это приводит к тому, что в иерархическом плане государственный аппарат начинает распадаться на два основных сегмента: *политический* (иногда называемый также бюрократия<sup>78</sup> или номенклатура) и *административный*<sup>79</sup>. Вторая группа в западной литературе обозначается по-разному (зависит от проблематики, автора и концепции):

---

78. В данном случае понятие «бюрократия» понимается в исходном смысле, т.е. как часть политической элиты, которая находится у власти (руководит государством), иными словами, это — функциональная иерархическая власть.

79. В современной французской традиции это разделение также бывает представлено несколько иначе: администрация и эксперты. Таким образом, здесь в структуре администрации не различаются политические функции (реализуемые правящей политической элитой) и сугубо технические, управленческие. Эксперты же противопоставляются административной группе на основании своих консалтинговых функций, которые они выполняют внутри аппарата или в результате привлечения извне (De Munagorri 2002).

технократы, техническая администрация, техницисты или эксперты, однако эти понятия семантически связаны.

Современная административная структура построена на основе специализации и рационализации. Специализация задач и разделение функций с целью достичь максимальной *компетентности* и *эффективности* во всех областях — это одна из основных причин усложнения госаппарата. Следовательно, в административной структуре можно выделить две подгруппы в виду различия функций: одну часто называют *технической администрацией*, поскольку речь идет об участии в управлении, исполнении решений, вторую — *экспертами* (техницистами), которые выполняют, прежде всего, консультативные функции в сфере управления, готовят решения или оценивая предложения. Одни действуют на основе эффективности и несут ответственность, другие — на основе компетенции и формально ответственными не являются. Однако объединяет их *общий профиль, сфера компетенции*, поскольку каждое бюро или служба имеют свою «компетенцию» — т.е. область, за которую они отвечают (часто, но не всегда членов обеих подгрупп в каждом конкретном секторе могут объединять и общие специализированные знания и навыки). Между тем, в первой половине XX в. административный слой в целом обозначали как технократов (т.е. буквально осуществляющих власть на основе технических знаний) и противопоставляли их политикам в рамках более общей оппозиции: власть традиционная, связанная с функционированием политической сферы, и власть новая — *менеджмент*, который осуществляет управление на основе знаний и социальных технологий и дистанцируется (или самоустраивается) от политики. В свое время еще М. Вебер отмечал, что профессионально компетентная бюрократия необходима и производству, и государству (Вебер 1990). В рамках подобных представлений технократ всегда руководствуется только рациональными установками, максимальной эффективностью, использует прикладные знания и формализованные техники (Meunaud 1964). Технократы появились и в экономике, в системе организации деятельно-

сти предприятий и промышленных комплексов и т.п. Однако, в конечном счете, в бизнесе сфера управления полностью обособилась, и менеджмент стал универсальным и повсеместным явлением. Причина тому, что под управлением стало пониматься не организация производства (всякий раз разного и имеющего существенную специфику в зависимости от отрасли), а контроль над финансовыми потоками предприятия, ведь только в этом случае возможна универсализация функций менеджмента (костяк которого составляют финансисты и маркетологи). В свою очередь, объективация функций управления (т.е. по сути финансового управления) приводит постепенно и к обособлению экспертных и консультативных функций, возникает самостоятельная сфера — консалтинг, который преимущественно распространен в сфере финансов, рекламы и маркетинга. В многочисленных инвестиционных компаниях и фондах трудятся множество «консалтеров», каковыми, например, являются финансовые аналитики. На основе своей компетенции и применения разного рода формализованных процедур они высказывают свое экспертное мнение относительно рынка, субъектов рынка или оценивают движение акций. Оценки используются как в управлении активами клиентов, так и в качестве комментариев в продукции средств массовой информации.

Постепенно консалтинговые услуги в виде продажи «пакетов готовых решений» для целей менеджмента начинают объективироваться и распространяться и на другие сферы, так на Западе наблюдается растущий спрос на управленческий консалтинг в системе государственного управления, особенно в период проведения каких-либо реформ. Наиболее распространенной формой потребления консалтинговых услуг стал аутсорсинг. В рамках государства это подразумевает формальное выведение экспертных функций вовне, за пределы функционирования госаппарата. Экстернализация экспертных функций может проводиться в рамках реализации идеи сокращения госаппарата, либо же из-за желания ряда политических деятелей вывести эти функции из под-

чиняющихся ему формально служб (а в действительности не подчиняющихся, поскольку они функционируют по собственному замкнутому циклу). В рамках этой же объективной логики возникают различные экспертные или экспертно-аналитические центры и фонды: они аккумулируют информацию, составляют на ее основе «объективную картину» того или иного фрагмента экономической или социальной сферы (в виде аналитических отчетов и докладов), выполняют «независимую» экспертизу и готовят рекомендации и т.п. Иными словами, они представляют собой самостоятельный информационный, аналитический и экспертный ресурс.

В рамках деятельности независимых экспертных центров появляется по сути новая форма эксперта, которую мы условно обозначим как «*публичный эксперт*» — поскольку во всех трех случаях деятельность экспертов имеет *выход в публичную политическую сферу*. Представляется, что эту форму, в свою очередь, можно подразделить на два типа: «*независимый эксперт*», занимающий позицию компетентного судьи и выполняющий функцию предоставления независимого мнения или оценки (этот тип мы как раз только что рассмотрели). Второй тип — *эксперт-идеолог*, ему ставится иная задача: не столько оценки, сколько *легитимации* в «общественном мнении», принимаемых государством решений. Что касается самих «независимых» экспертных центров и фондов, то следует понимать, что они всегда кем-то финансируются или выполняют чьи-то заказы: органов власти разного уровня, конкретных политиков или различных общественных и коммерческих организаций. Поэтому сколь бы ни был в действительности самостоятельным тот или иной центр, *степень независимости и неангажированности его самого или его экспертов или, в конечном счете, его продукта всегда под вопросом*. Ведь общая цель всей работы — не только создать *альтернативное* авторитетное и компетентное мнение по тому или иному вопросу, но сделать это с *учетом видения ситуации (или пожеланий) заинтересованной стороны* (заказчика) и затем предоставить (продать) его ей.



Поскольку специалист-технократ (управленец или эксперт), а вслед за ним «независимый эксперт» или «консалтер» это необходимый элемент развитого бюрократического государства, то функционирование этой фигуры нельзя не проанализировать в связи с феноменами этатизации и последующей политизации общественных отношений. Под этатизацией здесь понимается постоянный рост влияния государства. Иными словами, поскольку государство является надорганизмической системой, то оно стремится к расширенному воспроизводству и в результате этого пытается вобрать в себя все остальные общественные сферы, которые также в ходе своего развития увеличиваются и все более и более усложняются, постоянно выходя за границы контроля. Но власть и управление невозможны без оценки и контроля, поэтому государственный аппарат пытается регулировать все большее и большее количество сфер, а потому ему нужно все большее число специалистов в самых различных областях. В результате административная система еще более расширяется, при этом множатся разного рода консультационные органы: советы, экспертные группы и т.п., они существуют и при президенте, и при правительстве, и при различных министерствах и ведомствах и т.д. Это способствует дальнейшему разрастанию госаппарата, что, в свою очередь, как уже было отмечено, ухудшает управляемость, поскольку каждая административная структура стремится к обособлению и дальнейшему увеличению.

Однако нарастающая этатизация общественных отношений означает не только проникновение государственного контроля в самые разные сферы, но и взаимодействие государственного аппарата с разного рода субъектами — участниками этих сфер, будь то институты, организации, предприятия или просто индивиды. Целью этого взаимодействия является коммуникация, при посредстве которой не столько сообщается о деятельности высших государственных чиновников, проводимой ими политике или о принятии конкретного решения, сколько «навязывается» их определенное восприятие.

Следовательно, закономерным является и расширение функций экспертов до *посредничества*, а затем и расширение самого круга привлекаемых государством экспертов. Теперь эксперты (госслужащие или представители независимых центров) не только выносят компетентные заключения или готовят решения, но должны их разъяснять, прокомментировать, дать им публичную оценку, т.е. в конечном счете, легитимировать в «общественном мнении». Перемещение эксперта, работающего на государство, в публичное пространство, где с его помощью осуществляется идеологический уровень взаимодействия государственного аппарата со своим объектом, в конечном счете, порождает ответное взаимодействие (уже в рамках процесса политизации): различные общественные субъекты также начинают прибегать к экспертам (независимых центров, фондов, академических структур) для трансляции своего мнения. При этом трансляция этих мнений в обе стороны обязательно носит *публичную* форму, т.е. осуществляется в медиуме, которым и являются по своей сути СМИ.

В чем смысл этого посредничества, почему обычное использование субъектами государственной власти СМИ становится недостаточным? Ответ нам представляется следующим. Госаппарату (равно как и другим общественным субъектам) нужно не только навязать свое видение тех или иных своих действий (что к тому же не всегда возможно), но создать им широкую поддержку, признание среди других общественных субъектов. Речь идет не только о том, чтобы что-то стало общественным мнением, но чтобы оно стало буквально общим (всеобщим, универсальным), т.е. принималось в качестве такового, разделялось всеми как нечто естественное, закономерное. Самым эффективным господством является скрытое господство, которому удалось принять вид естественной всеобщности. В этой ситуации как раз и становятся необходимыми эксперты, которые становятся выразителями того или иного общественного мнения, выполняя новую для себя функцию легитимации. Их задача состоит в том, чтобы заставить признать некий «символический продукт» (к примеру,

определенную экономическую теорию и связанную с ней политику). Таким образом, исполнение экспертами функции идеологической легитимации возможно не столько потому, что они являются носителями компетенции (в техническом смысле), сколько потому что они являются носителями *научного авторитета* («символического капитала»). Изначально этот авторитет основан на научной или профессиональной компетенции, которая является валидной, ввиду общественного признания науки, выполняющей, в свою очередь, с эпохи Просвещения мировоззренческую роль, а затем и ряд идеологических функций. И действительно, социологи науки не раз отмечали тот факт, что в рамках европейской культуры (после XVII в.), в том числе и в моделях рациональной эпистемологии, *сам факт научного утверждения заявляет о себе как о чем-то естественно истинном* (Блур 2002). Однако, поскольку, как мы отмечали выше, масс-медиа в силу своих структурно-функциональных особенностей стремятся к максимальному расширению аудитории, более значимым становится авторитет, основанный на имени, а не высокий уровень научной компетенции (слишком сложной и специфичной для поля СМИ). В рамках этой логики научный авторитет начинает заменяться институциональным авторитетом, а затем и административным. В последнем случае речь идет о появлении государственных интеллектуалов — экспертов, чья легитимность и авторитет основаны на политической и административной власти, *чью проблематику или видение они формулируют в научных терминах*. При этом интеллектуальный потенциал институционального и административного авторитетов вполне может быть достаточно слабым.

Неизбежным результатом становится подчинение экспертов закономерностям функционирования медийной сферы. Важным следствием этого подчинения является выдвижение *иных*, нежели профессиональный, типов компетентности. Если все субъекты общества прибегают к услугам экспертов, чтобы распространить и легитимировать свою точку зрения, при этом все привлекают в союзники авторитет науки, то

в конечном счете, превосходство одного авторитетного имени над другим (а имплицитно и одной компетенции над другой, а также и этого видения проблемы над конкурирующим видением) начинает определяться в медийном пространстве. Более авторитетным становится тот, кто более известен — т.е. чаще других появляется в СМИ, упоминается или цитируется ими. Одним словом, *имеет имя* (и определенный публичный имидж). Таким образом, с экспертом происходит еще одна важная трансформация — собственно экспертом в медийном пространстве может выступать любой, кто привлекается в качестве эксперта как *знатока* или *авторитета* в данном вопросе. Поэтому в СМИ присутствуют два типа экспертов: собственно эксперты (во всех своих разновидностях) и все те, кто лишь *позиционируется как эксперт*, при этом профессионально им не являясь. Иными словами, их «экспертная идентичность» конституируется в самом медийном дискурсе и для него.

Итак, эксперты начинают выполнять идеологические функции, поскольку:

- государству (а затем партиям и другим субъектам политического поля) нужна широкая легитимация своих действий в публичном пространстве в вопросах экономической политики, социальной политики, внутренней и внешней политики (избирательно). Это подразумевает обращение к *экспертам* — *представителям общественных и гуманитарных наук* (экономистам, политологам, социологам, специалистам по public relations и т.д.). Характерно, что «навязывание» мнений или «борьба» мнений становится особенно интенсивной в период экономических и социальных реформ или избирательных кампаний;
- интеллектуальная автономия экспертов меняется в зависимости от занимаемой позиции. Иными словами, они всегда вынуждены выражать чей-то интерес, который, однако, надо представить как нечто естественное, истинное, само собой разумеющееся,

а значит, и общее всем. Следует также подчеркнуть, что дискурс общественных наук и так испытывает трудности по части автономности по отношению к политической власти, однако в случае экспертов эта автономность минимальна, если вообще наличествует. В этой связи говорят об *ангажированности* экспертов:

- основным каналом распространения тех или иных мнений и оценок является средства массовой информации, которые формируют с помощью экспертов «общественное мнение» по тому или иному вопросу;
- основным средством легитимации публичных экспертных суждений является авторитет («символический капитал») эксперта, имеющий дифференцирующую, дистанцирующую ценность. Сначала авторитет основывается на компетенции эксперта, однако затем на его *имени (имидже)*. Поэтому основным стремлением становится «сделать себе имя».

Ниже приведена обобщенная схема, на которой представлены различные формы эксперта. Схема представляет собой экспертное поле в его взаимодействии с четырьмя основными объективациями, участвующими в воспроизводстве экспертов: наука, экономика и финансы, СМИ и государство.

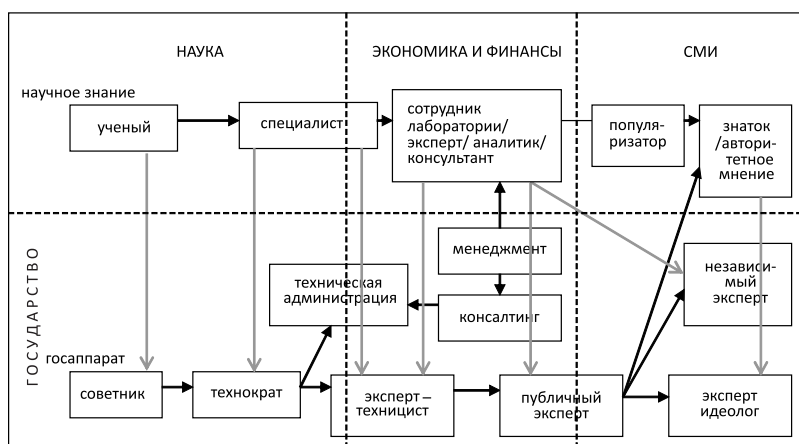


Рис. Экспертное поле: типы эксперта

На схеме нижняя цепочка, помеченная указателем «госаппарат», отражает ряд последовательных трансформаций происходящих с экспертом в рамках взаимодействия всех остальных общественных сфер с госаппаратом, в результате чего появляются все новые формы эксперта: от советника и до эксперта-идеолога. Верхняя цепочка, помеченная указателем «научное знание», отображает трансформации, происходящие с научным знанием в ходе его взаимодействия с экономической и финансовой сферой и СМИ, в результате чего появляются новые формы носителей научного знания. Эти формы репрезентируют собой различные типы эксперта или промежуточных фигур, появившихся в результате процессов профессионализации, капитализации и идеологизации знания. Гипотетическая связь между различными формами экспертов, участвующими в функционировании госаппарата, и другими формами экспертов – носителей различных форм знания – представлена светлыми вертикальными стрелками.

Итак, воспроизводство экспертов связано с политическим полем, (государственным аппаратом), «мануфактурами знания» (лабораториями, экспертными центрами, консалтинговыми фирмами и пр.) и публичными коммуникациями (осуществляемыми в СМИ), поэтому очевидно, что они оперируют капитализированными и «медиалогизированными» (идеологизированными) знаниями. При этом если деятельность экспертов на «фабриках знания» можно охарактеризовать как производство знания, то их деятельность в публичном пространстве не что иное, как интеллектуальный сервис. По этой причине эксперт должен демонстрировать не столько знания, сколько умение формировать особое (необходимое в данном случае) мнение на их основе, а также знать, какое знание ценится (в том числе, и с какой стороны его подать, чтобы оно было оценено). В конечном счете, это дает ему право решать, какими знаниями нужно обладать, а какими не стоит, что необходимо знать (а необходимо знать именно то, что сообщает эксперт), а также, что признавать знанием, а что не считать таковым. Иными словами, он полу-

чает власть определять, какое мнение или оценка являются ценными, существенными/несущественными и полезными (практически применимыми, относящимися к делу). Знание (и даже информация), лишенное этих свойств, несет на себе печать недостоверности и необязательности. Таким образом, одной из наиболее важных характеристик экспертного знания является навык инкорпорирования оценочных суждений в само знание, что отнюдь не сводится к редуцированию знания до мнения, оценки.

Следует отметить, что в эпистемологическом плане экспертное знание в общественных науках (экономики, социологии и пр.) фактически репрезентирует собой легитимацию недопустимого с точки зрения классического научного идеала субъективного оценочного суждения. Тем не менее, это становится возможным, поскольку оно функционирует вне «научного этоса» и его классических эпистемологических идеалов и ориентируется на инструменталистский, прагматический подход, пришедший из других систем: бизнеса, масс-медиа и государственного управления. Субъективизм — а в публичном пространстве это называется ангажированностью — и стоящие за ним ценностные предпочтения иногда пытаются преодолеть с помощью разного рода ухищрений, как правило, связанных с аргументацией с помощью количественных данных. Однако чаще всего на передний план просто выдвигается авторитет компетенции или имени. Кроме того, следует отметить, что эксперт никогда не существует в одиночку и это в особенности касается публичного пространства. В этой связи оценки и мнения экспертов *никогда не являются частными*. Именно поэтому в публичном пространстве экспертное мнение неизменно предстает самой возможностью мнения как такового, точнее авторитетного мнения. Таким образом, оценка эксперта носит одновременно и *индивидуальный, и общественный характер*. В первом случае мы имеем дело с мнением, основанным на авторитете имени, во втором случае, всякое экспертное мнение анонимно, поскольку его задача конституировать некую общность мне-

ний (точнее мнений, определенных некоторым видением, позицией). Когда усилиями многих экспертов определенное видение (и стоящие за ним интересы) становится общим, например, идеологема о необходимости ограничения роли государства в экономике, из него уже может вырастать любая частность, т.е. любое личное экспертное мнение, которое своим авторитетом лишь будет подкреплять это общее анонимное мнение.

В современном мире экспертное знание становится доминирующей формой существования и функционирования научного знания, поскольку наука, система образования, равно как и система государственного управления, а также масс-медиа постепенно подчиняются закономерностям воспроизводства капитала. В конечном счете, это делает экспертов востребованной фигурой, которая начинает включаться в воспроизводство других общественных объективаций как их необходимый элемент. Закономерным следствием становится процесс объективации и самого экспертного сообщества и его продукта экспертного знания. Став однажды необходимым элементом функционирования ключевых общественных систем, экспертное сообщество стремится сделать их зависимыми от себя. В случае экономического знания и экономической профессии это проявляется с особенной силой ввиду специфических и при этом привилегированных условий функционирования институтов, участвующих в производстве и воспроизводстве экономического знания. Это мы рассмотрим в следующих параграфах.

#### **4. Экономическое знание как трансэпистемическая область. Экономическая наука и экономическая профессия**

Как мы отмечали в первом и втором параграфе этой главы, экономическое знание исторически формируется в рамках других практик, нежели научные, но при этом чрезвычайно важных для его конституирования и воспроизводства. Ключевой из них является сфера управления госу-



дарством (Lindenfeld 1997). Эта ситуация лишь усиливается по мере формирования экономической профессии, профессионализации экономического знания и массового выпуска экономистов, большинство из которых работают за пределами научных институтов, — в государственном управлении (Dezalay, Garth 2006; Lebaron 2000), бизнесе, корпорациях (Dezalay, Garth 1996), в банках, на фондовых рынках (Knorr-Cetina, Bruegger 2002), в масс-медиа, экспертных центрах, в том числе консультирующих правительства (Curtie 1981), в НКО и крупных фондах (Berman 1983), в наднациональных и международных институтах развития (Baldwin 1986; Vockman, Eyal. 2002). Все они тоже производят экономическое знание, которое может включаться, а может не включаться, может взаимодействовать, а может не взаимодействовать с экономической наукой (академической сферой) (Балацкий 1997). Между тем, по мере капитализации множества общественных сфер возникает ситуация, когда экономисты повсюду (Markoff, Montecinos 1993), поэтому граница «экономического» становится все более подвижной и все более расширяется (Breslau 1997; Callon 1998), — отсюда возникает перформативный эффект экономического знания.

Таким образом, на современном этапе для понимания особенностей функционирования экономической науки и происходящих в ней процессов, как связанных с трансформацией эпистемологических принципов и эпистемических практик, так и институциональных изменений, следует ее рассматривать в более широком контексте сложившихся режимов производства и воспроизводства экономического знания. Двумя системообразующими элементами экономического знания являются «экономическая наука» (воспроизводится в научных и образовательных институциях) и «экономическая профессия» (воспроизводится за пределами академической сферы). Связующим звеном этих практик является *сфера образования*. Особенность ее развития в последние десятилетия определяется глобализацией, стандартизацией и унификацией экономической профессии при ведущей роли

американских и отчасти британских и европейских университетов и профессиональных бизнес-школ, которые задают образовательные стандарты, программы и практики (Либман 2010; Maesse 2015b). Более того, они функционируют по сути в качестве элитных лицензионных институтов экономической профессии для остальной части мира (Fourcade 2006. P. 152). Так, в международных институтах развития и экономических организациях, о которых мы говорили во втором параграфе этой главы, а также в крупнейших банках места занимают только те экономисты, которые получили докторскую степень в США и Великобритании (Evans, Finnemore 2001). Они же, как правило, значительно чаще и легче получают посты в престижных университетах, а также в правительствах и органах управления развивающихся стран (Valdes 1995).

Анализ институционализации и распространения экономического знания во всем мире в течение XX в. также показывает, что логика профессионального развития в сфере экономики все в большей степени определяется в глобальных терминах. Как показывает М. Фуркад (Fourcade 2006. Pp. 158–159), три ключевых фактора способствовали институционализации экономической профессии в мировом масштабе: формирование в рамках экономической науки особой *риторики, которая настаивает на универсальном характере экономических знаний* (дискурс «глобальных дел», «общечеловеческих вызовов»); превращение экономического знания в технологию политической и бюрократической власти, и, наконец, выстраивание разветвленных транснациональных сетей, в которых доминирующее место занимают США (американские корпорации, фонды, НКО и т.п.). Вместе с тем, М. Фуркад (Fourcade 2006. Pp. 149–150) также выделяет три основных механизма распространения и расширенного воспроизводства экономической профессии: 1) формирование профессионального общего рынка; 2) экспансивное развитие международных юрисдикций и распространение транснациональных регулирующих органов (см. также: (Dezalay and Garth 1996)) и 3) распространение определенного набора

норм и практик через систему международных консультантов и советников.

На этом фоне дальнейшая трансформация экономического знания все в большей степени определяется сложными транснациональными механизмами. При этом основным таким механизмом, за счет которого осуществляется глобализация и расширенная экспансия экономической профессии является международная циркуляция капитала, корпоративного, частного и государственного. Транснациональные корпорации, правительства стран, имеющие обширные инвестиционные программы в других странах или в рамках различных соглашений и партнерств, а также международные финансовые институты, инвестируя средства в экономику той или иной страны, одновременно с этим направляют в нее большие группы консультантов (экономистов и юристов). По сути то, чем они занимаются, можно назвать *нормативным конструированием* – перед ними стоит задача привнести новые нормы и стандарты, используя свое *видение* реальности, ценности и концепты, стиль мышления (Finnemore 1993), а также адаптировать к ним «объект управления», произвести его «пересборку» в нужном направлении и подготовить кадры, которые будут эту новую конструкцию поддерживать, – для чего *нужны универсальные формальный инструментарий и технологии*, язык и стиль мышления (Freidson 1986).

В этом контексте понимание того, чем по существу является современная экономическая наука, значительно меняется и требует переопределения. Современная экономическая наука это не научная практика, не чистая сфера академической деятельности, не изолированная эпистемическая культура. Это лишь часть экономического знания, которое, в свою очередь, конфигурируется как трансэпистемическое поле, расположенное на границе между академическим миром, масс-медиа, политической сферой и бизнесом. На рисунке ниже, слева представлено обычное нормативное позитивистское представление (в рамках пары фундамен-

тальное – прикладное знание), предполагающее доминирующую роль экономической науки в обществе, которая производит и поставляет экономическое знание в другие сферы. Справа представлено функционирование экономического знания как трансэпистемического поля, в рамках которого академическая сфера (экономическая наука) лишь небольшая часть этого динамичного целого, другие части которого представлены «экономической профессией».

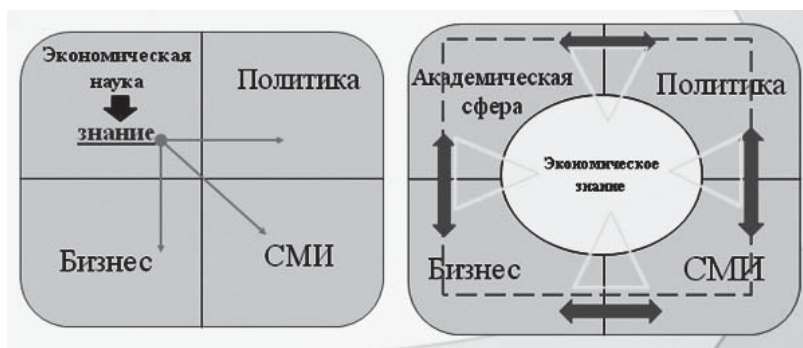


Рис. Разрушение монополии науки как института производства экономического знания

Засилье профессиональных экономистов, которых можно обнаружить в современном обществе практически повсюду, ведет к своеобразной депрофессионализации экономической науки (и других общественных и гуманитарных наук тоже). Перепроизводство специалистов с высшим образованием, с одной стороны, и раздвигание границ «экономического» в рамках маркетизации и экономизации все большего числа сфер социального мира ведет к тому, что большая часть специалистов, получивших экономическое образование, не остается внутри научного сообщества, а локально воспроизводит сходные практики в рамках различных социальных сфер, отраслей экономики и рынков, в узкоспециализированных исследовательских комплексах и т.п. Все они решают проектные технологические задачи, ориентированные не на познавательные и образовательные, а на производственные задачи (Jamison

2012). Эта проектная деятельность преемственна по отношению к науке и опирается на ее результаты, как мы показали в параграфе 3, но при этом она подчинена иной ценностной и эпистемологической логике и разворачивается за пределами научного сообщества (Вархотов 2020). С одной стороны, это создает иллюзию нового этапа в прогрессивном развитии общества (аргументом служат технологические результаты), а с другой стороны — девальвирует экспертный статус ученого (Gibbons et al. 1994). Девальвация экспертного статуса ученого происходит и за счет масс-медиа, как мы отмечали в предыдущем параграфе. Необходимым условием этого является размывание границ научного сообщества за счет разросшейся роли «коммуникативной прослойки» и медийной инфраструктуры. В результате журналисты, с одной стороны, постепенно замещают ученых в качестве инстанции доступа к «науке», а с другой стороны, активно включаются в производство информации об «экономическом», которое все больше вытесняет профессиональную точку зрения и собственно научное знание (Пэнто 1996; Жэнгра 2017).

Как видно на схеме, трансэпистемическое поле экономического знания это динамическое целое с подвижными и прозрачными границами. Между мирами, которые его конституируют, постоянно происходят обмены, обращение «товаров» и символов, а также дискурсивная реартикуляция, в рамках которой формируется сеть взаимодействия и определяется место каждого из этих миров в рамках подвижного целого (Maesse 2016). Важную роль в этих сетях играют структуры, которые складываются вокруг институтов формирования и управления экономической политикой — советов, министерств, центральных банков, экспертных центров. Их роль — проведение дискуссий, в рамках которых ученые-экономисты, которые включены в эти структуры, могут занять соответствующую экспертную позицию в отношении определенной идеи и в рамках определенного дискурса, сформировать единое с политиками мнение, получить / упрочить свой символический капитал, которые затем могут ретранслироваться по всей

цепочке и воспроизводиться в СМИ, конструируя в рамках социальной реальности согласованное представление об «экономическом». Отсюда следует ряд важных выводов.

Первое – ученые (экономисты) в этой сети выступают как носители «научного качества» (объективности, гарантируемой формальными инструментами) и «научной эффективности», но не как носители истины или каких-то теоретических гипотез (знания об объекте) (Lebaron 2000). В трансэпистемическом поле экономического знания любое неинструментальное знание из академической сферы не может стать ресурсом или работать на формирование «академического капитала». В этом смысле значение имеет именно методы, инструменты, технологии, которыми владеет экономическая наука и которые обещают эффективность и результативность. Кроме того, знание, представляемое в форме расчётов, математических моделей, графиков, а также принципиально «технологичное» знание (в качестве базового технического средства выступают статистика и эконометрика) имеют в современном обществе и в рамках сложившейся культуры наиболее высокий уровень доверия. Вместе с тем, в него легче инкорпорировать оценки (это происходит при отборе материала, выборе проблем и в ходе интерпретации), при этом они как бы десубъективируются.

Второй важный вывод, вытекающий из представления об экономической науке как части трансэпистемического поля экономического знания, это то, что современное экономическое знание по большей части воспроизводится и функционирует за пределами академического сообщества, – причем за счет процессов глобализации экономической профессии эта тенденция усиливается. Такой особый характер функционирования экономического знания означает, что, с одной стороны, оно подчиняется закономерностям развития других сфер, нежели наука, следовательно, классический «научный этос» утрачивает свое значение. С другой стороны, это позволяет различным элементам экономических теорий (как правило, формализованным «универсалиям», образующим аксиоматическое ядро») и техникам встраиваться в реальные экономические процессы

и становятся частью оборудования, «которым экономические агенты и обычные граждане пользуются в своих повседневных экономических взаимодействиях» (Фуркад, Ольон, Альган 2015, см. также: (MacKenzie, Millo 2003)).

В-третьих, в контексте глобализации экономической профессии и унификации по всему миру стандартов обучения экономике экономическое знание становится частью «управляющей рациональности», с помощью которой все «экономизируется» (ищет экономическую выгоду и постоянно стремится улучшить свои экономические показатели) (Hirschman, Rorr Berman 2014). «Экономизация» существования (и превращение экономического знания по сути в науку о жизни) подразумевает экспансивное распространение квантифицирующих и калькулирующих практик, которые становятся и инструментом государственного и надгосударственного управления, и основным ресурсом корпоративного и делового администрирования, и ключевым средством репрезентирующим экономики в масс-медиа (так, ВВП становится «числом-иконой» экономики). В трансэпистемическом поле экономического знания познание экономических процессов, подразумевающих их объективную репрезентацию в рамках научного производства, замещается мышлением с помощью инструментов и итоговых показателей, которые становятся и средствами управления и проектирования, и одновременно самореференциальными онтологизированными объектами: как посчитать, увеличить, уменьшить тот или иной показатель (ВВП, инфляцию), сколько стоит тот или иной курс действий, какова финансовая отдача от инвестиций.

В-четвертых, в экономическом знании, функционирующем как трансэпистемическое поле, ключевой фигурой является не ученый, а эксперт, который определяет, что и как считать «экономическим», и активно включен в воспроизводство систем власти, бизнеса и СМИ. Экономисты выступают экспертами практически по всем вопросам государственной политики и уверенно наращивают свое влияние в бизнесе и правительстве, зачастую занимая ключевые политические

посты (Markoff, Montecinos 2009). Благодаря глобализации экономической профессии за счет все большей экономизации социального возникает монополия экспертов на экономическое знание, поскольку и потому, что оно выступает активным инструментом конструирования и преобразования реальности. Так, функционирование национальных экономик втискивается в модели и систему показателей, которые должны контролировать и легитимировать реформы, в свою очередь, ведущие к расширению юрисдикции экономической профессии и экспертного знания (Earle, Moran, Perkins 2018).

Несмотря на то, что основным источником и ресурсом экспертного знания является наука, воспроизводство экспертов не связано с научным производством и в большей степени ориентировано на предоставление интеллектуального сервиса. По этой причине эксперт должен демонстрировать не столько знания, сколько умение формировать особое (необходимое в данном случае) мнение на их основе, а также знать, какое знание ценится (в том числе, и с какой стороны его подать, чтобы оно было оценено). В конечном счете, это дает ему право решать, какими знаниями нужно обладать, а какими не стоит, что необходимо знать (а необходимо знать именно то, что сообщает эксперт), а также, что признавать знанием, а что не считать таковым. Знание, лишенное этих свойств, несет на себе печать недостоверности и необязательности.

Одной из наиболее важных характеристик экспертного знания является навык инкорпорирования оценочных суждений в само знание, что отнюдь не сводится к редуцированию знания до мнения, оценки, потому что необходимым условием такого умения выступает инструменталистская позиция, возможность технологизировать знание. Между тем, в эпистемологическом плане экспертное знание в общественных науках фактически легитимирует недопустимое с точки зрения классического «научного этоса» субъективное оценочное суждение. В общественных науках и так уже содержится ценностное понимание действительности, которое предопределяет и выбор проблем исследователем, и спо-



соб образования теории как таковой (например, фокус на экономическом росте или индивидуальной полезности в качестве центральных точек анализа является результатом ценностных суждений, а не научных доказательств). Однако в экспертном знании эти ценностные позиции уже носят мировоззренческий характер и определяются в большинстве случаев не предпочтениями экспертов, а потребителями их продукта или институциями, в которых они производят свои знания. При этом, если в государственном управлении, международных институтах развития и бизнесе субъективизм вуалируется процедурами квантификации и формализации, то в масс-медиа на передний план выдвигается авторитет, который связан не столько с компетенцией, сколько с имеющимся у эксперта символическим капиталом, источником которого может быть его положение в научной среде.

В современном мире экономическое экспертное знание становится доминирующей формой функционирования научного знания в обществе и в публичном пространстве, а эксперты-экономисты все больше включаются в воспроизводство других общественных систем как их необходимый элемент (Coats, Durham 1981). Этот процесс усиливается под влиянием международной циркуляции капитала и инвестиций транснациональных корпораций в разных странах, а также за счет формирования мировой повестки «глобальных дел» ("общечеловеческих вызовов») международными институтами развития — все эти процессы сопровождаются экспансией экономистов-экспертов, которые активно участвуют в проектировании экономической среды по всему миру (Fourcade 2006). В результате институциализируется новая форма власти и влияния — эконократия, которая подразумевает преобразование всех социальных сфер и управление ими на основе экономических приоритетов и стандартизированных экономических знаний, которыми владеют эксперты, так как любая проблема формулируется как экономическая, квантифицируется и переводится на технический экономический язык (Earle, Moran, Perkins 2018).

Параллельно с этим возрастает ценность всего того, что поддается измерению, за счет того, что не поддается измерению, что усиливает эффект экономизации и его перформативное воздействие — *экономическое знание становится активным компонентом экономики и в качестве такого начинает преобладать как система производства реальности*. Вместе с тем, в самом экономическом знании (и среди экспертов, и в академической среде, и в системе образования) возникает эффект «схоластического эпистемоцентризма» (П. Бурдье), то есть «приписывание объекту того, что на самом деле принадлежит способу его рассмотрения». Это возвращает нас к центральному вопросу, который резко актуализировал кризис 2008–2009 гг. — соответствуют ли знания экономистов той реальности, которую они пытаются постичь и беспокоит (и в принципе может ли беспокоить) экспертную эконократию то, что такого соответствия может не быть. Если сформулировать на языке эпистемологии, то вопросы будут звучать так, *может ли экономическое знание быть объективным, в каком смысле и что собой представляет эта объективность*. Ответ на эти вопросы, в свою очередь, отсылает к двум другим вопросам, может ли (и за счет чего и насколько) экономическая наука (ученые-экономисты) изменить сложившийся в дисциплине образ мышления и «картину реальности», а также желательна ли экономическая колонизация человеческого мышления, поведения и жизни.

## 5. Квантификация и проблема объективности экономического знания

Тема данной главы — понятие объективности в связи с существованием двух эпистемических культур экономического знания и его положением трансэпистемического поля, а также в связи с той ролью, которые эксперты все больше и больше занимают в экономике (Earle, Moran, Ward-Perkins 2018). Эта тема уже обсуждалась в литературе, но преимущественно в контексте этических проблем (Martini, Boumans 2014). Мы, в свою очередь, хотим коснуться эпистемологи-

ческих и онтологических проблем. Ряд авторов, особенно среди экономистов-методологов, справедливо отмечали, что основные методологические дебаты экономической науки *по своей сути являются дебатами о понятии объективности*. Иначе говоря, о том, насколько объективной наукой может и должна быть экономика (Reiss 2014), а мы добавим от себя — экономическое знание в целом с учетом того, какую важную роль оно играет в обществе.

«Объективность» всегда была одной из краеугольных категорий научного знания, его эмблемой и одним из конститутивных элементов интерналистского образа науки. В качестве эпистемологического регулятива «объективность» во многом отвечала за то, что делает научное знание научным, обуславливает степень доверия ему и его высокий социальный статус. Многочисленные исследования, предпринятые в рамках исторической эпистемологии, поставили под вопрос самоочевидность этого идеала научного знания, которое на протяжении истории науки Нового времени существенно менялось в зависимости от материальных практик осуществления познавательной деятельности (Daston, Galison 2010). Историоризация и закономерно связанная с этим релятивизация статуса «объективности» это не только важный элемент исследования реальных научных практик в рамках исторической эпистемологии (Шиповалова 2014), но, прежде всего, отражение тех трансформаций, которые происходят с самой наукой (сначала на уровне институциональном, а затем и эпистемологическом) в процессе капитализации научного знания, пересборки науки как по преимуществу экономического порядка.

Во-первых, под воздействием процесса капитализации производство знания *выходит за пределы* собственно научных институтов, — ученые работают в тесном взаимодействии с инженерами, бизнесменами и государственными структурами, — именно *это взаимодействие определяет их когнитивные стратегии и цели работы* (Forman 2007). Капитализированное научное знание, как и частично академическая наука, начинают все более и более приспособ-

сабливаться к условиям и целям воспроизводства других социальных сфер, соответствовать правилам и нормам их функционирования, их «этосу» и формирующим его практикам (Кошовец, Фролов 2020. С. 29). Постепенно взаимодействие с «внешней средой» (с другими социальными сферами) начинает приобретать решающее значение, в результате чего научная деятельность становится трансинституциональной и как следствие *трансэпистемической* практикой, поэтому закономерно *перестает ориентироваться на классический научный этос* и формирующие его практики, частью которых является «объективность» (Ziman 1998).

Во-вторых, следствием капитализации науки является изменение эпистемологического статуса субъекта научного познания, и как следствие, авторитетности и легитимности производимого им знания (Bensaude-Vincent 2008), которая во многом обеспечивалась таким свойством (и самого знания, и познавательных практик, и субъекта познания), как «объективность». В социальной плоскости это проявляется в утрате учеными особого положения в обществе и их привилегий на производство наиболее ценного знания, которое лежит в основе системы образования и формирует современное мировоззрение («научную картину мира»), — закономерно происходит размывание границ между различными видами знаний и субъектами, их производящими (Кошовец, Фролов 2020. С. 28–29). В естественных науках это отражается в формировании «инженерно-научной самости» и даже замещении научной самости инженерной (ибо «целью ученого не является создание инструментов или искусственных объектов/устройств» (Daston Galison 2010. Pp. 415–416), — а именно на это начинают ориентироваться естественные науки и производимое ими «капитализируемое знание»). В общественных науках на передний план выдвигается фигура эксперта, а эксперт-экономист вообще становится универсальной фигурой, ибо через призму экономики оцениваются все общественные проблемы, — везде можно сконструировать рынки и найти неявные цены и издержки.

Объективность наиболее часто используемая, крайне неопределенная и гетерогенная категория в философии науки и эпистемологии (Megill 1994). Тем не менее, представляется, что исторически «объективность» имеет как минимум две основные ипостаси, тесно взаимосвязанные. С одной стороны, — стороны субъекта познания — это *свойство познавательного акта*, совершаемого субъектом, и соответственно, и самого познающего субъекта («научной самости»). В терминологии Л. Дастон и П. Галисона — «эпистемическая добродетель» (Daston, Galison 2010), тесно связанная с этосом ученого, понимаемым как своеобразные техники работы над собой, требующие практиковать *определенный набор правил и норм*, которые приводят к достижению тех или иных «эпистемических добродетелей», в частности, объективности<sup>80</sup>. С другой стороны, — стороны объекта — «объективность» это онтологическая характеристика, некое свойство знания, напрямую связанное с *объектом*, с тем, *как он конституируется*, в каком виде (в том числе визуально или абстрактно инвариантно) предстает в познавательном опыте и отображается в знании. Это особое свойство в новоевропейской научной традиции формируется в рамках заботы о том, *«насколько верно мы схватываем реальное»*, а, следовательно, тесно связано с ключевым принципом классической науки — реализмом (поиском истинной реальности) и репрезентацией («объективное знание то, что репрезентирует объект») (Rorty 1991, см. также: (Шиповалова 2013; Малышкин, Шиповалова 2016)).

Современная технонаука (форма гибридизированной науки и инженерии), в которую преобразуется классическая наука в процессе капитализации научного знания и включения его в экономические порядки (Ylönen, Pellizzoni 2012;

---

80. Шире речь идет об «алгоритме» построения познающего субъекта, то, какой своей стороной, частью он входит в познавательные отношения (Романов 2003. С. 301–321). На уровне этики — это определенные негативные императивы (как веберовское требование воздержания от оценочных суждений), на уровне эпистемологии эту функцию выполняет метод (как регулятив научного познания), на уровне повседневного научного воспроизводства — различные практики (институциональные, материальные, технические, дискурсивные и т.п.).

Carrier, Nordmann 2011; Nordmann 2006), существенным образом отразилась на ценности «объективности» как ключевого принципа научных практик и фактически привела к ее эрозии и даже нивелированию<sup>81</sup>. Что касается онтологического аспекта объективности (презумпция реализма), это связано с замещением научных практик инженерно-научными, в рамках которых первостепенной задачей становится создание артефактов и технологий, производство сотворенной реальности. Репрезентация заменяется презентацией, чья функция сугубо инструментальна (Daston, Galison 2010. Pp. 363–416). Между тем, с «объективностью» как особым свойством субъекта познания, «эпистемической добродетелью» происходят более сложные и на первый взгляд не очевидные изменения, источником которых, по нашему мнению, является не только инженерные практики («инженерная самость»). Далее мы рассмотрим процесс трансформации научной «объективности» как части «научного этоса» ученых и конституирующих его практик на примере экономического знания.

Экономика как дисциплина представляет в связи с темой объективности особый интерес по следующим причинам. Во-первых, будучи формально общественной (об обществе) наукой (или даже в англосаксонской традиции гуманитарной — об экономическом человеке или о поведении человека), по сути она таковой не является. Как мы отмечали в предыдущих главах вся траектория ее развития в XX в. — это настойчивое *превращение в дисциплину естественнонаучного типа*, выстроенную по строгим лекалам математизированного естествознания. Усилившийся сначала в 1930-е годы и еще больше в 1950-х годах тренд на математизацию и формализацию знания во многом связан с трансформацией экономики в *разновидность инженерной науки*, которая подразумевает техническое искусство: проектирование объекта и создание инструментов, необязательно (или даже никак не) связанных с экономической реальностью, но зато, как полагают экономи-

---

81. О технологизации и инструментализации экономических исследований, см.: (Балацкий 2007).

сты, в своей *универсальности* пригодных для анализа любой социальной действительности и человеческой деятельности. Условием такого перехода стало «развоплощение» экономики, которая превратилась во множество операций и статистических показателей, обозначенных как экономические, которые были абстрагированы от остальной социальной жизни и воссозданы как объект (система структурных отношений), ведущий себя в соответствии со своей собственной логикой (Breslau 2003). Отметим также, что претензия на универсальность инструментов экономического анализа, которую озвучивают экономисты, — это и претензия на объективность, от отсутствия которой «страдает» социогуманитарное знание (и что определяет его «ущербный» научный статус).

Однако еще более важная причина, по которой именно экономическая теория представляет для нас интерес в контексте трансформации научной «объективности», это тот факт, что экономическое знание содержит в себе две относительно автономные и параллельно развивающиеся эпистемические культуры, о чем мы говорили в начале этой главы. Связующим звеном для этих различных практик производства экономического знания (научных и административно-экспертных) являются процедуры *квантификации* и основанное на них опосредующее знание в количественной форме — *статистика*, которая формирует *превращенную реальность* и выступает как исходная данность («объект»), с которой работает любое экономическое знание. Научное экономическое знание постоянно стремится встраиваться в практики государственного управления и соответствовать экспертно-административной эпистемической культуре. Воспроизводство в принципиально иной, нежели академическая среда сфере постепенно, но неизбежно ведет к утрате целей познавательной деятельности, определяемых «научным этосом» и это касается и «объективности».

Мы полагаем, что государственное управление технократического типа, опирающееся на знание как ключевой элемент воспроизводства власти (Foucault 2004), в значительной степени влияет на представление о том, что является объ-

ективным, и что такое объективность знания (в обоих указанных нами аспектах). Рассмотрим этот вопрос подробнее. Во втором параграфе этой главы мы подробно рассмотрели техники работы с реальностью, которые практикует управленческий аппарат государства, и их эпистемологические характеристики. Как отмечает Дж. Скотт, если ранее государь мог объехать свои территории и осмотреть их, то государственный аппарат эпохи модерна видит их за счет «воображаемого взгляда», формируемого статистикой и прочими манипуляциями по созданию «картины» управляемого — т.е. за счет переписей, систематизации, классификации и т.п. Дальнейшее получение знаний об объекте управления уже практически не ориентируется на получение объективной репрезентации, а определяется *проективными и конструктивистскими интенциями* (у государства редко бывает цель понять или объяснить объект, но практически всегда задача *изменить*, преобразовать, исправить). Реален ли валовой внутренний продукт или уровень безработицы или даже население той или иной страны? Это сущности, которые находятся *между сферами придуманного и обнаруженного*. С одной стороны, они являются порождением классификации и расчета, конвенций кодирования, моделирования и выборки. С другой стороны, они появляются (и иногда исчезают) в конкретных исторических обстоятельствах, которые не удовлетворяют обычным критериям прочности и постоянства для вещей в мире и объектов в естественных науках. Тем не менее, *статистические сущности обладают не только перформативным потенциалом, они способны менять мир* (Daston 2000).

Дж. Скотт неоднократно подчеркивает, что упрощения *создают* объект управления, позволяя его учитывать и классифицировать (Скотт 2005. С. 100–120). Причем ключевое значение тут имеет воображение того, кто классифицирует. В дальнейшем это наряду с модернизаторской логикой принципиально позволяет перейти к конструированию тех или иных категорий, чтобы не только учитывать управляемое, но и производить с ним необходимые манипуляции (в соот-



ветствии с модельными, нормативными представлениями)<sup>82</sup>. Развитие таких социальных объектов не просто предписывается и «правильно» направляется аппаратом управления, *знание встраивается во взаимодействие с конструируемым объектом* и обеспечивает его самовоспроизводство. По мере развития бюрократического управленческого аппарата появляется и другая задача, непосредственно не связанная с объектом управления, — это воспроизводство самой административной системы (органа). Важную роль в нем играют *артефакты*, являющиеся для бюрократа первичной данностью, а также постоянное создание новых артефактов и соответственно, разработка новых форм управления (показателей, отчетностей) — чтобы расширить (дифференцировать) «управляемое», поставить его под свой контроль и, таким образом, продемонстрировать свою эффективность в качестве единицы управления. Таким образом, онтологический *разрыв* с «объективной реальностью» формируется на самом начальном этапе процедур работы с объектом управления, ибо для этого он изымается из реальности и упрощается, как за счет того, что познавательная деятельность государства утилитарна, так и поскольку объект предстает лишь в исчисленном и измеренном виде и помещается в иную систему отношений, нежели его естественные связи, т.е. становится частью классификаций и категоризаций. Все, что не может быть формализовано — либо сильно преобразуется, чтобы стать измеряемым и учитываемым, либо просто выпадает из поля зрения.

Можно сказать, что артефакты, с которыми работает государственная бюрократия, подобны картам, — они создают картину управляемого объекта и одновременно «взгляд» на него. С эпистемологической точки зрения карты сочетают

---

82. К примеру, у нас может быть два пола, а может быть 10 различных гендерных идентичностей. В ходе управленческой деятельности, различных административных практик и воспроизводства самого аппарата управления они рано или поздно неизбежно реифицируются (так происходит, к примеру, если в паспорт ввести строку не «пол», а «гендерная идентичность», запретить записывать в свидетельство о рождении пол рожденного, пока он не определит свою идентичность сам, а в общественных местах сделать туалеты для всех без разделения по половому признаку). То же самое можно сказать, например, о дате рождения.

в себе элементы нормативного и дескриптивного. С одной стороны, карты, по определению, всегда претендуют на то, чтобы быть репрезентацией (местности), с другой стороны, в них всегда присутствует схематизация, абстрагирование, иерархия оценок (значимое/незначимое), т.е. система требований по интерпретации местности. Вместе с тем, прежде всего, карты решают задачу, не сводимую к отражению или предписанию, — они *фиксируют стратегию субъекта*, т.е. отражают не столько местность, сколько *способ ее использования актором*.

Как мы уже отмечали во втором параграфе данной главы, эта стратегия в случае с государственным аппаратом в целом сводится к тому, что общество нужно переделать, чтобы оно стало объектом управления: причем преобразование разворачивается и в эпистемологической плоскости, и в реальной модернизаторской (реформаторской) деятельности. Эти два вида деятельности, тем не менее, тесно взаимосвязанны. Особый взгляд на управляемый объект требует его выправления (изменения), — исправление, в свою очередь, улучшает «видимость» объекта. Однако это видимость специфическая: видится только то, так и настолько, насколько это «видимое» позволяет реализовывать акт управления. Кроме того, эта взаимосвязь фундируется установкой на квантификацию, которая реализуется в эпистемологической плоскости, а в реальной модернизаторской деятельности находит свое выражение в стратегии на деперсонализацию, унификацию и стандартизацию управляемых «объектов», превращения их в универсальные, гомогенные единицы (Porter 1992). Квантификация — это любимый инструмент инженеров, так как он позволяет проектировать. Закономерно, что количественная оценка (показатель) в итоге становится *социальной технологией*, которая предоставляет возможности не только планировать, но и формировать (любую) социальную реальность.

Между тем, реальная модернизаторская деятельность государственного аппарата подчинена экономической логике и тесно связана с переходом от традиционного к индустриальному обществу, что нашло отражение в так называемых

идеологиях «высокого модернизма» (Harvey 1989). Суть этих идеологий в том, что существующий социальный порядок, который более ранними государствами принимался как данность, впервые стал предметом активного управления, оказалась, что *можно проектировать* искусственное общество — не по обычаю, а согласно сознательным, рациональным, научным критериям (Скотт 2005. С. 152). Иными словами, высокий модернизм — это управление с притязанием на усовершенствование социального порядка и условий существования человека (от структуры семьи и места жительства до моральных ценностей и способов производства) от имени научного знания, которое позволяет их заново исследовать и спроектировать. Следует особо подчеркнуть, что научное знание здесь часть рациональности, отождествляемой с эффективностью, со способностью приносить видимые результаты, меняющие жизнь и служащие приумножению мощи государства. Таким образом, эта та часть науки, которая, прежде всего, *соотносится с инженерией, техникой и технологиями* — поскольку они выступают средствами *контроля (власти)* над природными (естественными) объектами и процессами. Поэтому в системе госуправления научное знание, от которого требуется, прежде всего, эффективность, в конечном счете, редуцируется до набора инструментов и социальных технологий — средств проектирования и контроля над социальными объектами и процессами (Rose, Miller 1992).

Как мы уже отмечали, объект инструментальной деятельности административного аппарата по сути является артефактом, компонентом превращенной реальности, при этом придание ему онтологического статуса (например, реификация искусственных статистических объектов) происходит в рамках воспроизводства самой управленческой деятельности. Ключевая особенность статистики в том, что она характеризуют саму «реальность государства», без фиксации данных не формируется объект управления (Desrosières 1998; Miller 2001). Работа с этими данными (отчетность) *становится той предельной реальностью*, с которой соотносится государствен-

ный аппарат. Какими бы ни были слабыми и условными категории и классификации, разработанные чиновниками, стоит их ввести, и они становятся чрезвычайно устойчивыми, стоит их объявить официальными, и они становятся реальными. Так статистические бюро собирают и обрабатывают числовые показатели на основании презумпции, что они являются *действительными*, и поэтому и ученые экономисты, и государственные служащие, и масс-медиа имеют весьма ограниченные возможности их оспорить (Porter 2003). В конечном счете, статистика (и формализованные методы) способны описать социальную реальность, поскольку они помогают ее определить (сделать видимой) и проектировать (создавать). Отсюда вытекает такая важная социальная функция количественных оценок и манипуляций в рамках государственных (и квазигосударственных) практик, как их способность выступать средством сравнения, рейтингования и стандартизации.

Иначе говоря, количественная оценка обладает способностью связывать правилами (нормами) или даже навязывать их. В свою очередь, нормативность как возможность сравнивать и стандартизировать исключает интерес к динамике (реальным механизмам развития) — государственный аппарат интересуют только принципиально статичные факты. Установление оптимальных показателей выполняет ту же функцию — фиксирует нормальность, из которой, в свою очередь, выводится *норма*, — то, что должно имплементировать (Porter 1992). Как следствие, установка на нормализацию и проектирование при работе с объектом, развиваемая в управленческих практиках, приводит к тому, что норма (эталон, модель) обладают для управленческого аппарата *онтологическим приоритетом*. Отсюда совершенно закономерен шаг к конструированию, и как следует из многочисленных исследований функционирования международных институтов экономического развития (структур, образующих так называемый *global governance*) (Broome, Seabrooke 2007; Kranke, Yarrow 2018), о чем мы говорили в третьем параграфе той главы, познавательная деятельность уже на следующем *надго-*

сударственном уровне «глобального экономического управления» изначально формируется как конструктивистская. Ее не интересует, как *есть* (это объект переделки, «модернизации»), гораздо важнее, как *должно быть* (как правильно).

Между тем, квантификация и статистика это не только особые эпистемические практики работы с объектом, но и определенная стратегия *субъекта*, а следовательно они будут отражаться и на понимании объективности как «эпистемической добродетели». Фундаментальная установка на квантификацию, общая для обеих эпистемических культур экономического знания — научной и экспертно-административной, делает возможной *постоянный переток* знаний из науки в бизнес и государственное управление и оттуда обратно в науку, и некоторую общую координацию производимого знания. Поэтому квантификация является основой когнитивного стиля и управленца/бюрократа, и ученого-экономиста (Crosby 1998). Числа, таблицы, графики — это и универсальный язык, обеспечивающий сообщаемость, а следовательно, понимание между субъектами экономического знания из разных сфер и общая стратегия коммуникации (в том числе и наглядная универсальная иллюстрация, понятная и специалистам, и неспециалистам)<sup>83</sup>. Вместе с тем, в рамках экспертного знания в системах административного управления квантификация выполняет и гораздо более важную функцию. Это *средство конституирования объективности* (в смысле ценностной нейтральности) суждения и удобный и *единственно валидный* способ обсуждать и аргументировать, — поэтому манипуляции с числами образуют ядро административного дискурса (Porter 2003). Как многократно отмечалось в литературе, «если политиков удастся убедить в пользе конкретной политики или программы для их избирателей, они могут быть готовы принять ее, особенно если результаты будут представлены как строгие и прозрачные» (Cohen and Easterly 2009. P. 18).

---

83. Б. Латур также отмечает, что схемы и графики являются такими научными образами, которые выступают как ключевые средства конституирования «объективности», понимаемой как сборка (привлечение) верных союзников (Latour 1986).

При этом еще раз подчеркнем, – статистические цифры и эконометрические расчёты в управлении бизнесом или национальной экономикой не являются *описаниями чего-то* в реальном мире. Их задача *сугубо инструментальна* – сообщить результаты в известном, *стандартизированном* виде (например, годовой ВВП) или же в универсально понятной всем форме объяснить (предписать), как может (должен) быть сделан тот или иной кусок работы (например, целевые индикаторы в количественной форме или KPI). Ключевое эпистемологическое достоинство квантификации для системы государственного управления в том, что знание в количественной форме – *инвариантно* и потому достойно доверия вне зависимости от личных познаний, ценностей и предпочтений его носителя. Как отмечает, А. Дезрозьер, долгие годы проработавший в ключевых государственных статистических организациях Франции, статистика может создавать и разрушать аргументы, режимы, даже такие прочные реалии, как богатство и бедность. Никакие разговоры о том, что данные можно подтасовать, а выводы исказить, не подрывают силу статистики в современном государстве и доверие к ней (Desrosières 2002).

Таким образом, квантификация, лежащая в основе статистики, это способ производить знание, не только полностью «*независимое*» от субъекта его производящего, но и обладающее чем-то близким к свойствам так называемой «структурной объективности» (Daston, Galison 2010. Pp. 253–262)<sup>84</sup>. Эту «независимость» обеспечивает строгое

---

84. Следует отметить, что квантитативные процедуры и квантификация как способы производить «объективность» обозначаются различными исследователями по-разному. Так, Т. Портер называет такую объективность «механической» и отмечает, что функции объективности начинает выполнять или даже воплощать стандартизация (Porter 1992, 2003). Другие исследователи (Megill 1994) используют термин «процедурная объективность» для того, чтобы обозначить идеи, выдвинутые Т. Портером. Мы, в свою очередь, соотнося практики квантификации и конституирование ими объективности в рамках государственного управления с научным идеалом «структурной объективности», выделяемым Дастон и Галисоном, хотим таким образом подчеркнуть ключевую черту этого типа «объективности» – инвариантность, которая наилучшим образом представлена числом. Вторая причина в том, что идеал «структурной объективности» нацелен на полное элиминирование субъекта и по возможности замену его имперсональным механизмом. То же мы наблюдаем в рамках развития практик государственного, корпоративного и надгосударственного управления.

следование тщательно разработанным и постоянно усложняющимся методикам и технологиям подсчета (таковы все административные системы взаимосвязанных показателей и классификаций, например, «система национальных счетов»). Причем в пределе они подразумевают полное устранение субъекта *вплоть до замены его машиной* и машинными алгоритмами. Аналогичную эпистемологическую функцию выполняют и изолированные эконометрические модели (типа DSGE или межотраслевого баланса), с помощью которых получают сложные расчётные или прогнозные показатели, — по сути это тоже «десубъективированные машины» по производству «объективного» знания, репрезентированного в количественной форме.

Ключевая онтологическая проблема, которая здесь возникает, причем в любой системе знания — административно-экспертной или научной, это то, что такой перекокс в сторону десубъективированных, формализованных методов получения нового знания вместе с тем также развивает и институционализирует практики манипулирования числами (которые *всегда осуществляет субъект*), а также работу с превращенными уровнями реальности. В рамках общественных наук такими является целый ряд ключевых объектов статистики, в частности, — такой статистический агрегат, как ВВП. Важно то, что ВВП — это результат сложного счета *с множеством конвенций и допущений* и сильно *зависящий от принятой методологии* (например, СНС-2008 при прочих равных условиях дает более высокую оценку ВВП, чем СНС-1993). Более того, этот показатель репрезентирует собой сумму всех учтенных произведенных благ в рыночных ценах как аддитивную величину и тем самым *подменяет* в знании отображение всего многообразия экономических явлений, созданных и использованных на определенной территории за год. Таким образом, когда мы прогнозируем рост ВВП, мы прогнозируем *именно число*, а оно — что принципиально важно — *связано не с объектом* (реальной экономикой), *а с методом* (т.е. в конечном счете, с субъектом познания).

Между тем, придание онтологического статуса (реификация) искусственных статистических объектов, подобных ВВП, в рамках публичного экономического дискурса и их неявное соположение с существованием объектов, независимых от человеческой деятельности, позволяет резко расширить область оперирования ими, то есть выйти за пределы собственно научной практики и легко переходить в другие сферы – госуправление и бизнес. В результате административный аппарат (который, как показывает Дж. Скотт, принципиально видит упрощенно и гомогенизировано) может не заниматься прогнозированием такой сложной объективации как страновая экономика, а заменить всё это на процедуру экстраполяции аналитической функции, характеризующей динамику показателя ВВП (или его структурных компонентов) в условном календарном времени. Вместе с тем, такие эконометрические техники дают агрегированные показатели и *повторяющиеся и сопоставимые* результаты, что важно для «взгляда государства» на «управляемое», его когнитивного стиля и формирования артефактов, с которыми работает аппарат управления.

Таким образом, в отличие от научного знания «объективность» знания в управленческих практиках практически *никак не связана с объектом*, с истинностью, точностью, адекватностью его описания. Помимо вышесказанного это также обусловлено тем, что *объект для управленческих практик всегда вторичен*, их цель и задача в создании и воспроизводстве *субъекта управления* и расширения его возможностей управлять. Именно поэтому в государственном управлении (тесно соприкасающимся с политическим полем) «объективность» – это свойство, связанное исключительно с субъектом (точнее говоря, с его познавательными актами и процедурами). Иначе говоря, «объективность» здесь это неангажированность, беспристрастность, ценностная нейтральность. Однако, как известно, эти свойства субъекта познания, исходно связанные с «научным этосом» (с самопрезентацией и саморефлексией ученых). В рамках административных



практик они трансформируются в *имперсональность* (в пределе подразумевающую полное устранение субъекта и замену его технической системой). В функционировании административных систем это важное новое свойство субъекта и знания имеет двоякую функцию.

С одной стороны, установка на имперсональность имеет логическое продолжение в тенденции связывать управление посредством квантификации и технологий (в широком смысле), а следовательно подразумевает соответствующего субъекта (технократа /техно-бюрократ), а в пределе его устранение и замену технической системой. С другой стороны, объективность как имперсональность — это крайне эффективная, по выражению Т. Портера, «технология дистанцирования» (Porter 1995. ix). Речь идет о переходе в рамках развития государственных управленческих практик к такой системе принятия решений, которые позволяют говорить: «это не мое мнение, так говорят, цифры, расчеты, модель». Причем речь идет не только об отказе от пристрастности и ценностной нейтральности, но и о *снятии ответственности*. Исторически стратегия имперсональности в управленческих практиках возникает в ответ на внешнее давление и имеет позитивную направленность (Там же. Рр. 89–148), т.е. выражается в отказе от решений на основе персональных (пристрастных) экспертных суждений. Например, мнение эпидемиолога-инфекциониста о необходимости карантинных мер *в пользу эксплицитных количественных критериев* (коэффициент распространения инфекции на данной территории выше/ниже некоторого нормативного показателя). Однако подобная квантификация (и вытекающая из нее стандартизация) любой проблемы (задачи) посредством введения повсеместных количественных индикаторов также принципиально позволяет вместо личной ответственности за конкретные факты выдвигать солидарную (и размытую) ответственность за общие, «средние» результаты.

Так, влиятельный специалист по экономическому праву, профессор Чикагского университета Р. Познер и вслед за

ним историк экономики Дж. Ходжсон, размышляя на тему, почему, несмотря на отдельные предупреждения о надвигающемся экономическом и финансовом кризисе 2008–2009 гг., никто не обратил на них внимания, отмечает, что в современных бюрократиях, чтобы быть услышанным, требуется количественная оценка риска. При этом никого не волнует, что в силу сложности и неопределённости, которые отмечают сами экономисты, такая оценка зачастую весьма затруднительна или невозможна. Так опасения Н. Рубини были проигнорированы отчасти потому, что у него не было достаточно авторитетной резервной модели (Posner 2009; Hodgson 2009).

«Объективность» как имперсональность, выражающая в «технологиях дистанцирования», позволяет эффективно *публично отчитываться* (в ответ на требования «общества», высшей власти, заказчика) и постоянно перераспределять ответственность. Вместе с тем, дистанцирование также проявляется и в прямом смысле, — объект управления *делается видимым* и еще более управляемым теми, кто сам не виден или непосредственно не присутствует (возникает эффект безличной системы, вездесущего государства). Итак, первоначально, востребованность статистики и измерительных практик государственным аппаратом определяется строгостью, прозрачностью и универсальностью математического инструментария. Однако дальнейшая их инкорпорация в системы знания и в когнитивный стиль государства обусловлена идеальным соответствием практикам социального управления и делового администрирования, а также той важной ролью, которую такие практики стали играть в воспроизводстве бюрократии. «Научность» знания, производимого и потребляемого административными системами, в действительности не является чем-то необходимым, *sine qua non* характеристикой. Исторически «научность» непосредственно связана с «научным этосом» и с объективностью как способностью знать вещи такими, какие они есть на самом деле (реализм). В принципиально иной, нежели академическая сфера среде, коей является государственное управление, научное знание

(и соответственно, «научность») приобретает совершенно иные функции. Сначала знание — это необходимое условие модернизации, неотъемлемый элемент прогресса, а затем лишь средство *легитимации*, обеспечение тех или иных действий субъектов управленческой деятельности символическим капиталом (авторитетом) науки.

Более того, государственный аппарат в значительной степени ориентирован не на научное, а на *инженерное* (по типу) знание, потому что ему нужны эффективность, результат и инструменты (технологии) управления. Все эти функции выполняет число (количественная оценка/показатель), поэтому квантификация — основа когнитивного стиля, когнитивных структур и дискурсивных практик государства. Число позволяет работать со сложными социальными объектами, упрощая, гомогенизируя и стандартизируя их. Поскольку производство чисел в административных практиках связано с методом (техниками его получения, в пределе завязанными на субъекта управления), то количественные оценки/показатели становятся и объектами, и средствами проектирования, манипулирования и конструирования. Такие самодостаточные «образы-инструменты» выполняют функции презентации себя, а не чего-то стоящего за ними.

Инженерный тип знания, доминирующий в государственном управлении, подразумевает, что «объект» будет создаваться в ходе самой управленческой деятельности. Постоянное расширение и усложнение формализованных техник и инструментов квантификации, а также различных способов преобразования «объектов»/артефактов ведет к возможности конструировать любой новый желаемый объект (уровень реальности). Как мы уже неоднократно отмечали выше, из этого закономерно вытекает развитие *нормативных* представлений об экономике (как должно, как хотелось бы), — при этом «как на самом деле» *устроена экономика, становится глубоко вторичным*. В результате научное экономическое знание, включаясь в оборот институтов государственного управления, начинает подстраиваться под

эти требования, утрачивая связь с «эпистемическими добродетелями», определяемыми научными практиками. С другой стороны, возникает тенденция автономного воспроизводства экспертного экономического знания в системе государственного управления, в рамках которого идеи, исходящие из научной среды, либо крайне тяжело принимаются, либо вовсе игнорируются (Sparsam, Pahl 2021).

Что касается *субъектов* познавательной деятельности государства, то их ключевая эпистемологическая характеристика — *десубъективация* производимого и используемого ими знания, схожая с идеалом «структурной объективности» и в пределе стремящаяся к «чистой объективности», подразумевающей полное исключение, отсутствие субъекта и его частной самости («взгляд ниоткуда», по выражению Т. Нагеля). Количественное измерение и оценка, обладая свойствами неизменности, инвариантности и формальной структурности, являются идеальными средствами исключить субъекта (его ценности и политические предпочтения) из знания. Между тем, это не означает «научной объективности». Исторически «объективность» приходит в государственный аппарат с научными практиками. Однако это, прежде всего, эпистемическая добродетель, тесно связанная с «научным этосом» и с методом построения познающего субъекта, которые *принципиально не воспроизводятся в системе государственного управления*, так как у нее совершенно иные, чем у науки и научного познания цели, задачи и практики. Поэтому по факту «объективность» начинает выполнять там совершенно иную функцию. Во-первых, это, как и в социальных науках, средство (технология) достижения /принуждения к *консенсусу*, необходимой предпосылкой которого является «десубъективированное знание», с которым нельзя не согласиться. Во-вторых, это технология *дистанцирования*, которая формирует новую «эпистемическую добродетель» — техническую, а в пределе «машинную имперсональность», которую превосходно воплощают собой модели. В этом контексте современное стремление внедрить в систему государственного управления

и принятия административных и экономических решений искусственный интеллект (машинные алгоритмы принятия решений), подобно тому, как это уже имеет место на фондовых рынках, представляется совершенно закономерным следствием.

Подводя итоги, можно сказать, что широко декларируемые экономистами тезисы о том, что «экономическая наука — это один из способов изучения общества с применением определенных инструментов» — аппарата математического моделирования и статистического анализа, а «не гипотезы или теории относительно экономики» и то, что «экономические методы можно и нужно применить помимо экономики ко многим другим сферам» (Rodrik 2015a. P. 7), это не только отказ от репрезентации в пользу универсальной (экспансивной) инструментальности. Прежде всего, это признание того, что современное экономическое знание, производимое в академической сфере, практически полностью *подчинено задачам функционирования других сфер*, нежели наука, т.е. регулируется «административным» (и экспертным), а не «научным этосом», и развивается в соответствии с интересами государственного управления или делового администрирования и возможностью инкорпорации в них. *Утрировав* этот тезис, мы можем сказать (вслед за Д. Родриком и М. Фуркад (Fourcade 2009)), что современная «экономическая наука» не только не связана с изучением экономической реальности, — прежде всего, это формализованное в количественной форме знание (универсальный метод), *позволяющее управлять и расширять сферу управляемого*. И поэтому оно *стремится стать* близким к тому типу знанию, что производится и востребовано административными системами (т.е. «знанием-властью»).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги нашему исследованию, мы можем вкратце резюмировать, что функционирование современного экономического знания определяют глобализированные экономическая профессия и образование, технократическая эпистемическая культура, формируемая национальными и наднациональными бюрократами, корпоративными управленцами, консультантами и экспертами, а также дискурсивное производство, за которое отвечают масс-медиа и эксперты. Большая часть экономического знания создается, функционирует и воспроизводится за пределами академической сферы, а это, в свою очередь, отражается на эпистемической культуре научного экономического знания, на установке на «научный реализм», на онтологиях, которые определяют мышление ученых-экономистов и на их «научном этосе».

В центре нашего исследования был ключевой вопрос экономической науки о реалистичности / нереалистичности моделей, производство которых является доминирующей эпистемической практикой в рамках текущего развития дисциплины. Иначе этот вопрос можно сформулировать как проблему онтологии экономической науки или вопрос об объективности экономического знания (в обоих смыслах — эпистемологическом и онтологическом), а, следовательно, и его статуса в обществе, его значения для общества и его отношений со всей сферой социального.

Считать ли возобладавшую новую стратегию оправдания нереалистичности моделей и засилья формализма в экономической науке на основе признания того факта, что она занимается развитием метода и инструментов, а не изучает экономическую реальность, кризисом или триумфом? Представляется, что ответ на этот вопрос лежит, во-первых, в рамках нашего понимания траектории развития современного экономического знания в целом как эпистемологической системы и как конгломерата важных социальных институтов (научных и находящихся за пределами науки, в других социальных сферах). Во-вторых, ключевое значение имеет ответ на вопрос, чем является современная экономическая наука по сути как социальный институт, производящий знание, и каково ее положение среди других институций, нацеленных на производство профессионального знания. Каковы необходимые элементы и условия текущего воспроизводства экономической науки, что определяет ее позиции в социальном пространстве? Наконец, как, чем и кем конституируется ее значение и польза для общества?

Принятие того факта, что экономическая наука — это моделирование, производство универсальных инструментов и «горизонтальное развитие» (также предполагающее экспансию) сулит дисциплине большие перспективы. Выраженный «техно-инструменталистский крен», окончательно превращающий экономическую науку в по сути инженерную дисциплину, подразумевает, что ее основная задача — что-то производить, причем технологически-ориентированное и по формальным признакам универсальное (то есть способное служить стандартом). То есть то, что потом можно будет применить для работы с реальностью по пути ее преобразования и создания чего-то нового (и требуемого). Производство все новых и новых моделей ("горизонтальный прогресс" экономического знания с целью создания универсальной библиотеки кейсов «на все случаи жизни», а не только для экономики) вполне отвечает этим целям, ведь в результате такого процесса может быть создана какая-то особо эффективная

технология (техника, инструмент). Это особенно востребовано на фоне нарастающих процессов инкорпорирования экономического знания в процессы государственного и корпоративного управления и экономизации (маркетизации) социальной действительности. Этому служат глобализация профессионального экономического знания. Вместе эти процессы ведут к стандартизации, унификации и гомогенизации понимания экономической действительности, одновременно постоянно двигая границы того, что определяется или понимается как «экономическое».

В такой перспективе экономическая наука становится ресурсом по разработке и поставке инструментов для экономической профессии и трансэпистемического поля экономического знания. И это в полной мере отражается и в текущем развитии дисциплины (эмпирический поворот, «революция достоверности», «эконометриковерие»), и в эпистемологических сдвигах, определяющих современные практики производства экономического знания (инструментальный поворот и нарративный дрейф), и в системе образования (вытеснение и замещение экономических факультетов бизнес-школами, а также резкое снижение внимания к теории и повышение роли обучения на кейсах). Уход экономистов из сферы своей непосредственной ответственности на основе кардинального сдвига в понимании предмета в сторону рационального поведения (выбора), причем не реального, а максимально универсального (то есть, как оно задается формальной онтологией) и существующего в математической репрезентации, которое затем (как и положено универсалии) обнаруживается повсеместно — у людей, животных, и даже в нейромозговой активности также дает дисциплине широкие возможности для экспансивного развития и превращения в доминирующий тип знания о «социальном». Это не только предоставляет возможности для успешного движения в другие науки, утверждение там соответствующего когнитивного стиля и работы с материалом посредством универсального, точного, объективного и вызывающего абсолютное доверие формального метода.



Это также способствует созданию в этих других науках или на стыке с ними новых дисциплин, зачастую с технонаучным потенциалом (таких как нейроэкономика).

«Инструменталистский крен» и «горизонтальный прогресс» в развитии экономической науки по сути означают превращение экономистов в своего рода инженеров (социальных технологов). Однако «инженерная самость» — это не «научная самость» (субъект познания), потому что исходно целью ученых не является создание инструментов и искусственных объектов. Между тем, такая траектория развития позволяет экономистам вписаться в происходящую трансформацию научного знания, которое под воздействием процессов капитализации подразумевает превращение научной сферы исключительно в источник создания технологических инноваций.

Итак, можно сказать, что на современном этапе экономическая наука все в большей степени поглощается экономической профессией и связанным с ней экспертным экономическим знанием. Большая часть такого знания производится за пределами академической сферы и циркулирует в транзистемическом поле на стыке институтов власти, научных институтов, бизнеса и масс-медиа. Это знание по большей части не нуждается в объективной (научной) теории и репрезентации экономических процессов, — напротив, оно стремится конструировать и преобразовывать свой возможный объект, а также продолжать осваивать за счет инструментов управления и «экономизации» все больше различных сфер социального. Иными словами, современное экономическое знание (и экономическая наука как его часть) это не только знание об «экономическом», но и значимая сила, участвующая в раздвигании и расширении границ экономического.

Так или иначе, но экономическое знание в современном мире имеет огромную силу и способность значительно менять мир. Нужно ли ему в этом контексте пытаться соответствовать реальности, стремиться к ее адекватной репрезентации и описанию? Это вопрос этический и практический, но

уже не эпистемологический. Ведь в контексте современного развития моделирование «экономики» (или того, что определяется как «экономическое») в знании становится почти неотделимым от действий по их порождению. Инженерные инструментализированные экономическая наука и экономическое знание в целом как бы призваны инсценировать (perform) «экономическое». Есть и мотивирующие примеры, — создание на основе ряда финансовых моделей принципиально новых объектов — рынков фьючерсов, опционов и других производных финансовых инструментов, которые позволяют получить реальные деньги. Есть и «отлаженная машина», определяющая возможные режимы производства экономической реальности или того, что ей должно считаться. Экономисты, занятые разработкой моделей и инструментов, производят «логически возможные миры», эксперты, связанные с воспроизводством экономического знания за пределами науки, производят дискурсивную реальность, наше представление об экономике и «экономическом», — в конечном счете, и то, и другое обретают плоть и начинают жить своей жизнью. Имея возможности определять и изменять природу экономических процессов, модели как инструменты и как «вдохновляющие истории» (нарративы) также приобретают способность воздействовать на истинность и/или объективность экономического знания.

И все же возникает закономерный вопрос, если сфера экономической науки в трансэпистемическом поле экономического знания строго ограничена задачами производства инструментария, чисто локального и технического, или же способного стать социальной технологией, то тогда какая наука (или, может, иной институт, производящий знания) будет изучать, что происходит в экономической действительности (в рамках социальных взаимодействий, которые мы считаем или определяем как экономические или социально-экономические). Ведь, в конечном счете, «инструментальная экономическая наука» будет производить свои модели для чего-то и для кого-то, то есть не только для других наук или

даже для различных социальных сфер. Они нужны и тем, кто занимается экономикой (или точнее определяет экономическую повестку, экономическую политику, экономические реформы и преобразования).

В глобализованном мире, по-видимому, большая часть функций по производству наших систем представлений об экономических процессах (взаимодействиях) и их описаний в языке (профессиональном и обыденном) постепенно будет делегирована наукой крупным аналитическим и экспертным центрам, а также международным институтам глобального управления. Они консолидируют управленческие функции вокруг решения мировых вызовов и координируют общий вектор развития мировой экономики (цифровизация, зеленая экономика, борьба с бедностью, капитализм стейкхолдеров и т.д.), производя дискриптивные и прескриптивные описания этих, определяемых как наиболее существенные и наиболее важные экономические процессы. Таким образом, то, что раньше описывали научные теории, будет замещаться дискурсами.

Между тем, эти институты, производящие знание за пределами академической сферы, уже генерируют и, по-видимому, далее еще в большей степени будут генерировать дискурсивные онтологии относительно «экономического». А также выработать вытекающие из них общие рекомендации по экономической, модернизационной и технической политике. При этом глобальные и локальные медиа и некоторые другие общественные институты, а также крупные «переговорные площадки» (G-20, Экономический форум в Давосе, климатические саммиты ООН и т.п.) будут способствовать их распространению, ретрансляции и укоренению в качестве общей «картины мира».

## Литература

1. Автономов В.С. (1996). Проблемы методологии и структуры современной экономической науки и теория переходного периода // К вопросу теории и практики экономики переходного периода. М.: ИМЭМО.
2. Автономов В.С. (1998). Модель человека в экономической науке. М.: Экономическая школа.
3. Автономов В.С. (2013). Абстракция – мать порядка? (Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики) // Вопросы экономики. № 4. С. 4–23.
4. Автономов В.С. (2018). Экономическая теория до и после великой рецессии // ВТЭ. №2. С. 58–64.
5. Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. (2010). Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв // Мировая экономика и международные отношения. № 12. С. 15–27.
6. Ананьин О.И. (2005). Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ. М.: Наука.
7. Ананьин О.И. (2018). Метаморфозы теоретической экономики: от Ричарда Кантильона до Ричарда Талера // Экономическая теория: триумф или кризис? СПб.: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». С. 231–251.
8. Арсланов В.В. (2021). «При прочих равных»: Краткая история (меж) альянса политики и экономики в книге Тома Бергина *Free Lunch Thinking: How Economics Ruins the Economy* // ВТЭ. №2. С. 111–119.
9. Арчер М. (1999). Реализм и морфогенез // Теория общества: Фундаментальные проблемы. М.: Канон-Пресс-Ц.
10. Асмус В.Ф. (1963). Проблема интуиции в философии и математике. М.: Соцгиз.
11. Аутвейт У. (1991). Реализм и социальные науки: Действие, структура и философия // Социо-логос: Социология. Антропология. Метафизика. Вып. 1: Общество и сферы смысла. М.: Прогресс. С. 141–158.

12. Балацкий Е.В. (1997). О карьере экономиста сегодня // Вестник российской академии наук. Т. 67. № 10.
13. Балацкий Е.В. (2007). Качественные сдвиги в исследовательской деятельности // Информационное общество. № 1–2. С. 64–68.
14. Барт Р. (1994). Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. М.: Поэтика.
15. Белянова Е.В. и Макашева Н.А. (2020). Конструктивистский проект «Эконометрика–1930»: осуществление невозможного или реализация неизбежного? // Журнал Новой экономической ассоциации. №3 (47). С. 158–177.
16. Беме Г., Ван ден Дале В., Крон В. (1989). Сциентификация техники // Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс. С. 104–131.
17. Библер В.С. (1991). От наукоучения – к логике культуры. М.: Издательство политической литературы.
18. Бигарт Н. (2001). Социальная организация и экономическое развитие // Экономическая социология, Вып. 2. № 5. Р. 49–58.
19. Бикбов А. (2014). Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом ВШЭ.
20. Блауг М. (2004). Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. М.: НП «Вопросы экономики».
21. Блауг М. 2002. Тревожные процессы в современной экономической теории // К вопросу о так называемом «кризисе» экономической науки: материалы теоретического семинара ИМЭМО. М.: ИМЭМО РАН.
22. Блур Д. (2002). Сильная программа в социологии знания // Логос. № 5–6.
23. Боулс С., Гинтис Г. (2006). Вальрасианская экономическая теория в ретроспективе // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и как процесса. Вып. 6. М.: ИД ГУ ВШЭ. С. 303–337.
24. Бродель Ф. (2006–2007). Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3-х т. М.: Весь Мир.
25. Бурдьё П. (1994). Начала. М.: Socio-Logos.
26. Бурдьё П. (2017). Homo Academicus. Экономическая социология, Вып. 18, №4. С. 91–119.
27. Бхаскар Р. (1991) Общества // Социо-логос: Социология. Антропология. Метафизика. Вып. 1: Общество и сферы смысла. М.: Прогресс. С. 219–240.
28. Бэкон Ф. (1971). О достоинстве и приумножении наук // Сочинения. Т. I. М.: Мысль. С. 87–546.
29. Валлерстайн И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга.

30. Вальбрас Л. (2000). Элементы чистой политической экономии или теория общественного богатства. М.: Университетская библиотека.
31. Ван Дер Вее Г. (1994). История мировой экономики. 1945–1990. М.: Наука.
32. Вархотов Т.А. (2020). Технонаука – наука без ученых? // Эпистемология и философия науки. Т. 57. № 1. С. 32–37.
33. Васюков В.А. (2006). Формальная онтология и искусственный интеллект // Искусственный интеллект. М.: ИИнтелЛ. С. 305–324.
34. Вебер М. (1990). Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 707–735.
35. Вебер М. (1990b). «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс. С. 184–208.
36. Вебер М. (1990а). Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс. С. 547–601.
37. Вернадский В.И. (1975). Размышления натуралиста // Кн. 2. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука.
38. Визгин В.П. (1995). Математика в классической физике // Физика в общенаучном и социокультурном контекстах. Физика XIX в. / Отв. ред. А.С. Полак, В.П. Визгин. М.: Наука. С. 6–72.
39. Галилей Г. (1987). Пробирных дел мастер. М.: Наука.
40. Галисон П., Дастон Л. (2018). Объективность. М.: Новое литературное обозрение.
41. Ганичев, Кошовец (2019). Как посчитать цифровую экономику: между реальностью и конструкцией // ЭКО. № 2 (548). С. 8–36.
42. Гирц К. (2004). Интерпретация культур. Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН).
43. Глазьев С.Ю. (1993). Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар.
44. Гольбах П. (1963). Система природы // Избранные произведения. Т. 1. М.: Мысль.
45. Груневеген П. (2004). Политическая экономия и экономическая наука // Экономическая теория. М.: ИНФРА-М. С. 680–687.
46. Гуревич А.Я. (1993). Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: «Индрик».
47. Гуриев С.М. (2008). Три источника – три составные части экономического империализма // Общественные науки и современность. №3. С. 134–141.

48. Гуссерль Э. (1999). Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Дом интеллектуальной книги.
49. Дементьев А. В. (2011). Вклад Даймонда, Мортенсена и Писсаридеса в экономическую науку // Экономический журнал Высшей школы экономики, Вып. 15. №1. С. 50–67.
50. Ефимов В.М. (2011). Дискурсивный анализ в экономике: пересмотр методологии и истории экономической науки // Экономическая социология. Т. 12. № 3. С. 15–53.
51. Ефимов В.М. (2014). Как капитализм, университет и математика сформировали магистральное направление экономической дисциплины // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Т. 14. Вып. 2. С. 5–51.
52. Ефимов В.М. (2016). *Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские практики*. М.: Инфра-М, КУРС. <https://ecsocman.hse.ru/data/2016/12/23/1251072856/efimov.pdf>
53. Жэнгра И. (2017). Социология науки. М.: НИУ ВШЭ.
54. Заостровцев А.П. (ред.) (2018). Экономическая теория: Триумф или кризис? Спб.: АНО ИЦСЭИ «Леонтьевский центр».
55. Зотов А.Ф. (1972). Классификация наук Ампера // Ученые о науке и ее развитии. М.: Наука. С. 41–57.
56. Илларионов С.В. (1984). Проблема реальности в современной физике // Теория познания и современная физика. М.: Наука. С. 197–209.
57. Каломирис Ч., Хабер С. (2018). Непрочные по конструкции: политические причины банковских кризисов и дефицита кредитов. М.: Изд. Института Гайдара.
58. Кант И. (2007). Критика чистого разума. М.: Эксмо.
59. Капелюшников Р.И. (2013). Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Ч. II // Вопросы экономики. №10. С. 28–46. <https://polit.ru/article/2013/11/12/paternalism/>
60. Капелюшников Р.И. (2018). О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения // Куда движется современная экономическая наука? М.: ИЭ РАН. С. 8–33. [https://ineson.org/docs/2018/Kapelyushnikov\\_Libman\\_paper\\_20180524.pdf](https://ineson.org/docs/2018/Kapelyushnikov_Libman_paper_20180524.pdf)
61. Капелюшников Р.И. (2020). Кто такой Homo economicus? // Экономическая политика, Вып. 15. №1. С. 8–39. [https://wp.hse.ru/data/2019/07/30/1483814672/WP3\\_2019\\_07.pdf](https://wp.hse.ru/data/2019/07/30/1483814672/WP3_2019_07.pdf)
62. Карнап Р. (1993). Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 6. С. 11–26.

63. Кей Дж. (2012). Карта не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики. №5. С. 4–13.
64. Колосовский Н.Н. (1958). Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат.
65. Косарева А.М. (1989). Социокультурный генезис науки Нового времени. Философский аспект проблемы. М.: Наука.
66. Кошовец О.Б. (2003). Исследование культуры и культура исследователя: методологические и гносеологические проблемы историко-культурных исследований // Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова.
67. Кошовец О.Б. (2006). Средневековая теология воли и ее роль в генезисе науки Нового времени: от разрушения онтологии к субъективно-психологическому обоснованию познания // Философия и история науки: проблемы взаимодействия. Воронеж: Изд-во ВГУ. С. 500–541.
68. Кошовец О.Б. (2008). Эксперт и воспроизводство научного знания // Экономика как искусство: методологические вопросы применения экономической теории в прикладных социально-экономических исследованиях (под ред. О.И. Ананьина). М.: Институт экономики РАН. С. 210–249. <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/pub/ko01.pdf>
69. Кошовец О.Б. (2010). Дисциплинарное воспроизводство экономического знания (эпистемологический, онтологический и социально-экономический аспекты). М.: Институт экономики РАН.
70. Кошовец О.Б. (2019а). Горизонтальный прогресс экономической науки: между конструируемой реальностью и технонаукой (препринт / научный доклад в серии «Научные доклады ИЭ РАН». М.: ИЭРАН. [https://inecon.org/docs/2019/Koshovets\\_paper\\_2019.pdf](https://inecon.org/docs/2019/Koshovets_paper_2019.pdf)
71. Кошовец О.Б. (2019b). Куда движется современная экономическая наука: горизонтальный прогресс, превосходство метода и замещение теории дискурсом // Общественные науки и современность. №5. С. 175–190.
72. Кошовец О.Б. (2019с). Знание и власть: о трансформации эпистемических практик экономической науки под воздействием политической сферы // Историческая эпистемология – история, онтология, эпистемология. Сборник статей, ред. Л.В. Шиповалова. СПб.: Фонд развития конфликтологии. С. 65–70.
73. Кошовец О.Б. (2021). Измерять и править: как наука и государство производят экономические знания // Terra Economicus. Вып. 19. №3. С. 6–19.
74. Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. (2014). Базовые концептуальные конструкции и мысленные эксперименты в экономической теории // Общество и экономика. № 4. С. 25–41.



75. Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. (2015). Эпистемологический статус моделей и мысленных экспериментов в экономической теории // Вопросы экономики. № 2. С. 123–140.
76. Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. (2020). Натурализация предмета экономики: от погони за естественнонаучными стандартами к обладанию законами Природы // Логос. Т. 30. №3. С. 17–50.
77. Кошовец О.Б., Фролов И.Э. (2013). Онтология и реальность: проблемы их соотношения в методологии экономической науки // Теоретическая экономика: онтология и этика. М.: ИЭ РАН. С. 27–111. <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/pub/frol10.pdf>
78. Кошовец О.Б., Фролов И.Э. (2020). «Прекрасный новый мир»: о трансформации науки в технонауку // Epistemology & Philosophy of Science. Vol. 57. No. 1. Pp. 20–31.
79. Кун Т. (1975). Структура научных революций: Перевод с англ. Налетова И.З. М.: Прогресс.
80. Ламарк Ж.-Б. (1955). Избранные произведения в 2-х тт. М.: Изд-во Академии наук СССР.
81. Ламетри Ж. (1998). Человек-машина. М.: Литература.
82. Леви-Стросс К. (2001). Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс.
83. Леви-Стросс К. (2010). Печальные тропики. М.: АСТ; Астрель.
84. Леонард Р. (2006). Ценность, знак и социальная структура: метафора игры и современное естествознание // Истоки. М.: Изд-во ГУ ВШЭ. С. 265–301.
85. Леонтьев В. (1972). Теоретические допущения и ненаблюдаемые факты // США: экономика, политика, идеология. № 9. С. 101–104.
86. Либман А.М. (2010). Немецкая экономическая наука: от национальной к глобальной // Журнал Новой экономической ассоциации. № 8. С. 166–170.
87. Либман А.М. (2018). Эмпирические исследования в экономике: «Революция достоверности»? // Куда движется современная экономическая наука? М.: ИЭ РАН. С. 34–52.
88. Либман А.М. (2021). Возможны ли открытия в общественных науках? // Вопросы теоретической экономики. №4. С. 24–40.
89. Лиотар Ж.Ф. (1998). Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя.
90. Лоусон Т. (2006). Современная «экономическая теория» в свете реализма // Вопросы экономики. №2. С. 76–98.
91. Макеева Л.Б. (2011). Возможные миры: метафизика и здравый смысл // Возможные миры: семантика онтология. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». С. 214–227.
92. Малышкин Е.В., Шиповалова Л.В. (2016). Исторический исток научной объективности. Или о возможном ответе на «скандальный» вопрос философии // Вопросы философии. №12. С. 96–105.

93. Мальцев А.А. (2018). Гетеродоксальная экономическая теория: текущее состояние и пути дальнейшего развития // Экономическая политика. Т. 13. № 2. С. 148–169.
94. Маркс К. (2001). Капитал. Т. 1. М.: АСТ.
95. Маршалл А. (1993). Принципы экономической науки (Т.1). М.: Прогресс-Универс.
96. Менгер К. (2005). Основания политической экономии. М.: ИД Территория будущего.
97. Мьяки У. (2008). Модели и эксперименты – это одно и то же // Вопросы экономики.
98. Невский С.И. (2021). Политика порядка для послевоенной экономики: немецкая экономическая наука и теория ордолиберализма в 1939–1945 гг. // Terra Economicus. Вып. 19. №2. С. 58–76.
99. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. (1970). Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука.
100. Ньютон И. (1989). Математические начала натуральной философии. М.: Наука.
101. Огурцов А.П. (1988). Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование. М.: Наука.
102. Ореховский П.А. (2015). Авторитетный дискурс российского экономиста // Общественные науки и современность. №6. С. 97–115.
103. Ореховский П.А. (2016). Прерывистый тренд развития структурализма: альтернативная традиция экономического анализа: – Доклад (препринт). М.: ИЭ РАН. [https://inecon.org/docs/orekhovsky\\_paper\\_2016.pdf](https://inecon.org/docs/orekhovsky_paper_2016.pdf)
104. Ореховский П.А. (2017). Прерывистый тренд развития структурализма: альтернативная традиция экономического анализа (Р.Пребиш, Ю.Яременко, Г. Менш и другие) // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), Т. 8. №1. С. 6–25.
105. Перес К. (2011). Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. М.: Дело.
106. Перминов В.Я. (1986). Развитие представлений о надежности математического доказательства. М.: Изд-во МГУ.
107. Петти У. (1940). Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз.
108. Писарев А. (2018). Пинки и Брейн опять захватывают мир: генеалогия и приключения церебрального субъекта // Логос. №5 (126). С. 300–311.
109. Пребиш Р. (1992). Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? М.: ИЛА.
110. Пэнто Л. (1996). Философская журналистика // Социо-Логос постмодернизма. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. С. 30–56.

111. Райнерт Э.С. (2011). Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М: Издательский дом ГУ ВШЭ.
112. Риккерт Г. (1997). Границы естественнонаучного образования понятий. СПб: Наука.
113. Риккерт Г. (1998). Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика.
114. Родин А.В. (2003). Идея внутренней геометрии // Математика и опыт. М: Изд-во МГУ. С. 502–544.
115. Родрик Д. (2014). Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики. М.: Изд-во Института Гайдара.
116. Романов В.Н. (2003). Историческое развитие культуры. Психолого-типологический аспект. М.: Изд-во Савин С.А.
117. Рубинштейн А. (2008). Дилеммы экономиста-теоретика // Вопросы экономики. №11. С. 62–81.
118. Сагден Р. (2012). Правдоподобные миры: статус теоретических моделей в экономической науке // Философия экономики. Антология. Под ред. Д. Хаусмана. М.: Изд-во Института Гайдара.
119. Севальников А.Ю. (2003). Современное физическое познание: в поисках новой онтологии. М.: Инт-т философии РАН.
120. Скотт Дж. (2005). Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга.
121. Сокулер З.А. (2001). Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб: РХГИ.
122. Сорокин П.А. (2000). Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с англ., коммент. и статья В.В. Сапова. СПб: РХГИ.
123. Станжевский Ф. А. (2014). Применение технологий нейровизуализации в исследовании социального сознания // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. № 18. С. 113–124.
124. Стаханов И.П. (1974). Эволюция физических теорий // Проблемы истории и методологии научного познания. М.: Наука.
125. Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. (2016). Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара.
126. Стиглиц Дж. (2011). Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. М.: Эксмо.
127. Сухотин А.К. (2004). Философия математики. Томск: Изд-во Томского ун-та.
128. Сэй Ж.-Б. (2007). Трактат по политической экономии. М.: Дело.

129. Тамбовцев В.Л. (2003). О кризисе в экономической науке // Экономический Вестник Ростовского государственного университета. 2003 Т. 1. № 3. С. 24–27.
130. Тамбовцев В.Л. (2017). Модели и истории в экономической теории // Вестник московского университета. Сер. 6. Экономика. №1. С. 3–21.
131. Тумилович М. Формализм, экономическое образование и экономическая наука // ЭКОВЕСТ. 2003. Т. 3. № 1. С. 102–123.
132. Тутов Л.А., Рогожникова В.Н. (2018). Дилемма «экономист или математик»: взгляд философии // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. №1. С. 3–17.
133. Ферроне В., Рош Д. (2003). Мир Просвещения. Исторический словарь М: Памятники исторической мысли.
134. Филатов И.В. (2000). Методология экономической теории: постпозитивистский этап // Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук.
135. Флек Л. (1999). Возникновение и развитие научного факта: Введ. в теорию стиля мышления и мысл. коллектива. М: Идея-Пресс: Дом интеллектуал. кн.
136. Фридмен М. (1994). Методология позитивной экономической науки // THESIS. Вып. 4.
137. Фролов Д.П. (2012). Институциональная логика технологического прогресса. Случай нанотехнологий // Журнал институциональных исследований. Т. 4. № 1. С. 49–65.
138. Фролов И.Э. (2017). Историческая реконструкция возникновения денег и рынка и их теоретико-систематическое описание как экономических объективаций // Экономика в переломные эпохи. История мировой экономики. Вып. 6. М.: ИЭ РАН. С. 75–127.
139. Фуко М. (1996b). Археология знания. Киев: Ника-Центр.
140. Фуко М. (1996a). Воля к знанию. История сексуальности. Т. 1 // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь.
141. Фуко М. (2002). Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис.
142. Фуко М. (2011). Безопасность, территории, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. СПб.: Наука.
143. Фуркад М., Ольбон Э., Альган Я. (2015). Превосходство экономистов // Вопросы экономики. №7. С. 45–72.
144. Фуркад М., Ольбон Э., Альган Я. (2015). Превосходство экономистов // Вопросы экономики. №7. С. 45–72.
145. Хайдеггер М. (1993). Время картины мира // Время и бытие. М.: Республика. С. 41–62.

146. Ходжсон Дж. (2006). О проблеме формализма в экономической теории // Вопросы экономики. №3. 111–124.
147. Худокормов А. (2008) Современная экономическая теория запада // Вопросы экономики. № 6. С. 20–43.
148. Черниговская Т.В. (2021). Нейронаука в поисках смыслов: мозг как барокко? // Вопросы философии. №1. С. 17–26.
149. Чусов А.В. (2009). Четыре лекции о методе. М.: Макс-пресс.
150. Чусов А.В. (2010). Об изменении онтологии понимания пространства в XIX веке // Вестник МГУ: Сер.7. Философия. № 4. С. 64–74.
151. Чусов А.В. (2008). Математическая модель и экономическая реальность. Анализ модели равновесия в конкурентной экономике Эрроу-Дебре // Доклад на Московском семинаре по философии математики от 17.10.2008 (рукопись).
152. Чусов А.В. (2012). Политэкономическая теория и идеология // XIV международная научная конференция «Ильенковские чтения – 2012»: Э.В. Ильенков: «Идеальное, мышление, сознание». М.: Современная гуманитарная академия. С. 35–44.
153. Шилков Ю.М. (2006). Дисциплинарный образ современной науки // Эпистемология и философия науки. Т. VII. № 1. С. 124–139.
154. Шиповалова Л.В. (2013). Двусмысленность объективности: случай Декарта // Вестник С.-Петербургского университета. Сер. 6. №4. С. 42–45.
155. Шиповалова Л.В. (2014). Научная объективность в исторической перспективе // Диссертация на соискание степени доктора философских наук.
156. Штанько В.И., Добровольская Е.В. (2008). Философские основания формальной онтологии (феноменологический и аналитический аспекты) // Бионика интеллекта. №1 (68). С. 171–176.
157. Щедровицкий Г.П. (1996). Заметки об эпистемологических структурах онтологизации, объективации, реализации // Вопросы методологии. № 3–4.
158. Эйхенбаум Б. (1922). Молодой Толстой. Петербург – Берлин: Изд-во З.И. Гржебина.
159. Элюль Ж. (2003). Политическая иллюзия. М.: NOTA VENE.
160. Юдин Г.Б. (2011). Теоретические основания исследования экономического знания // Экономическая социология. Вып. 12. №4. С. 12–32.
161. Юдин Г.Б. (2008). Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма социологического анализа рынков // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 11. №4. С. 47–58.

162. Юдин Э.Г. (1978). Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. М.: Наука.
163. Юм Д. (1996). Сочинения в 2-х тт. М.: Мысль.
164. Якобсон Р. (1985). Избранные работы. М.: Прогресс.
165. Abi-Rached J.M. (2012). From Brain to Neuro: The Brain Research Association and the Making of British Neuroscience, 1965–1996 // *Journal of the History of the Neurosciences*. Vol. 21. P. 189–213.
166. Abi-Rached J., Rose N. (2010). The Birth of the Neuromolecular Gaze // *History of the Human Sciences*. Vol. 23. No. 1. P. 1–26.
167. Acemoglu D. (2009). The Crisis of 2008: Lessons for and from Economics // *Critical Review*. No. 21 2-3. Pp. 185–194.
168. Alexandrova A. (2009). When Analytic Narratives Explain // *Journal of the Philosophy of History*. Vol. 3. No. 1. P. 1–24.
169. Almond D., Mazumder B. (2011). Health Capital and the Prenatal Environment: The Effect of Ramadan Observance During Pregnancy // *American Economic Journal: Applied Economics*. Vol. 3. No. 4. Pp. 56–85.
170. Ambroise F. (1837). *Histoire de l'Ecole Polytechnique*. Paris: Belin.
171. Angner E., Loewenstein G. (2007). Behavioral Economics // *Philosophy of Economics*. Ed. by Maki U. / *Handbook of the Philosophy of Science*. Ed. by Gabbay D., Thagard P., Woods J. Vol. 13. Amsterdam: Elsevier. P. 641–690.
172. Angrist J., Azoulay P., Ellison G., Hill R., and Feng Lu S. (2017). Economic Research Evolves: Fields and Styles // *American Economic Review*. Vol. 107. No. 5. Pp. 293–297.
173. Angrist J.D., Pischke J.S. (2010). The credibility revolution in empirical economics: How better research design is taking the con out of econometrics. // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 24. No. 2. Pp. 3–30.
174. Antonietti A. (2010). Do neurobiological data help us to understand economic decisions better? // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 2. No. 17. Pp. 207–218.
175. Archer M. eds (1998). *Critical Realism: Essential Readings*. L.: Routledge.
176. Arrow K., Debreu G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy // *Econometrica, Journal of the Econometric Society*. Vol. 22. №3. Pp. 265–290.
177. Astbury W.T. (1961). Molecular Biology or Ultrastructural Biology? // *Nature*. Vol. 190. No. 4781. P. 1124.
178. Aydinonat N.E. (2018). The diversity of models as a means to better explanations in economics // *Journal of Economic Methodology*. No. 25. Pp. 237–251.

179. Backhouse R., Cherrier B. (2017). The age of the applied economist: the transformation of economics since the 1970s. *History of Political Economy*. Vol. 49. Supplement. Ph. 1–33.
180. Backhouse R.E. (2017). *Founder of Modern Economics: Paul A. Samuelson: Vol. 1: Becoming Samuelson, 1915–1948*. Oxford University Press.
181. Badiou A. (1988). *L'être et l'Événement*. P.: Seuil.
182. Baer O.S. (2012). Language in Economics Education // *International Journal of Pluralism and Economics Education*. Vol. 3. No. (3). Pp. 252–265.
183. Baldassarri D., Abascal M. (2017). Field experiments across the social sciences // *Annual Review of Sociology*. Vol. 43. Pp. 41–73.
184. Baldwin G. (1986). Economics and Economists in the World Bank // *Economists in International Agencies*, edited by A. W. Bob Coats. New York: Praeger. Pp. 67–90.
185. Baller S., Dutta S., Lanvin B. (eds.) (2016). *The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy*. Geneva, World Economic Forum.
186. Banerjee A.V. and others (2007). *Making Aid Work*. MIT Press.
187. Barry J.A. (2018). Genealogy of Economic Growth as Ideology and Cold War Core State Imperative // *New Political Economy*. Vol. 25. No. 1. Pp. 18–29.
188. Becker G. (2010). Interview with Gary Becker posted by John Cassidy // *The New Yorker*. January 14.
189. Becker G.S. (1976). *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago.
190. Becker G.S., Stigler G.J. (1977). De Gustibus Non Est Disputandum // *American Economic Review*. Vol. 67. Pp. 76–90.
191. Bekoff M. (2000). Animal Emotions: Exploring Passionate Natures: Current interdisciplinary research provides compelling evidence that many animals experience such emotions as joy, fear, love, despair, and grief—we are not alone // *BioScience*. Vol. 50. No. 10. Pp. 861–870.
192. Bensaude-Vincent B. (2008). Technoscience and Convergence: A Transmutation of Values? // *Summerschool on Ethics of Converging Technologies*. Dormotel Vogelsberg, Omrod. Alsfeld.
193. Bergin T. (2021). *Free Lunch Thinking: How Economists Ruin the Economy*. Random House Business.
194. Berman E.H. (1983). *The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy*. Albany: State University of New York Press.
195. Bernheim B.D. (2009). On the potential of neuroeconomics: a critical (but hopeful) appraisal // *American Economic Journal: Microeconomics*. Vol. 1. Pp. 1–41.

196. Bshary R., Grutter A.S. (2002). Asymmetric cheating opportunities and partner control in a cleaner fish mutualism // *Animal Behaviour*. Vol. 63. No. 3. Pp. 547–555.
197. Biddle J.E. and Hamermesh D.S. (2017). Theory and Measurement: Emergence, Consolidation, and Erosion of a Consensus. *History of Political Economy*. Vol. 49. Supplement. Pp. 34–57.
198. Blaug M. (1997). Ugly Currents in Modern Economics // *Options Politiques*. Vol. 18. No. 17. Pp. 3–8.
199. Blaug M. (2002). Ugly Currents in Modern Economics // *Fact and Fiction in Economics. Models, Realism, and Social Construction*. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 35–56.
200. Blaug M. (2003). The Formalist Revolution of the 1950s // *Journal of the History of Economic Thought*. Vol. 25. No. 2. Pp. 145–156.
201. Blinder A. (1990). Discussion, *American Economic Review*. Vol. 80. Pp. 445–447.
202. Bloch R., Mitterle A., Paradeise A. Peter T. (eds.) (2018). *Universities and the Production of Elites: Discourses, Policies and Strategies of Excellence and Stratification in Higher Education*. London: Palgrave Macmillan. Pp. 53–79.
203. Bockman J., Eyal G. (2002). Eastern Europe as a Laboratory for Economic Knowledge: The Transnational Roots of Neoliberalism // *American Journal of Sociology* Vol. 108. No. 2. Pp. 310–352.
204. Boettke P.J., Leeson P.T., Smith D.J. (2008). *The Evolution of Economics: Where We are and How We Got Here. The Long Term View*. Vol. 7. No. 1. Pp. 14–22.
205. Bos F. (2007). *Use, Misuse and Proper Use of National Accounts Statistics (National Accounts Occasional Paper, NA-096)*.
206. Bräuninger M., Haucap J., Muck J. (2011). Was lesen und schätzen Ökonomen im Jahr DICE *Ordnungspolitische Perspektiven*, Vol. 18. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/49023/1/667448497.pdf>
207. Breslau D. (1997). The Political Power of Research Methods: Knowledge Regimes // *U.S. Labor-Market Policy Theory and Society*, Vol. 26, No. 6. Pp. 869–902.
208. Breslau D. (2003). Economics invents the economy: mathematics, statistics, and models in the work of Irving Fisher and Wesley Mitchell // *Theory and Society*. Vol. 32. No. 3. Pp. 379–411.
209. Brian E. (1994). *La mesure de l'Etat: Administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle*. Paris: Albin Michel.
210. Brian E. (1998). *Mathematics, Administrative Reform and Social Sciences in France at the End of the Eighteenth Century // Rise of the Social Sciences (ed. Heilbron, Magnusson, Wittrock)*. Pp. 207–224.



211. Brodbeck K.-H. (1998). Die fragwürdigen Grundlagen der Konomie. Eine philosophische Kritik der modernen Wirtschaftswissenschaften. Darmstadt: WBG Verlag.
212. Broome A., Seabrooke L. (2007). Seeing like an International Organisation // *New political economy*. Vol. 17. No. 1. Pp. 1–16.
213. Brown J.R. (1991). *The Laboratory of the Mind*. L.: Routledge.
214. Brue S.L. (1996). Controversy and Change in the American Economics Curriculum // *The American Economist*. Vol. 40. No. 2. Pp. 44–51.
215. Bührmann A., Werner Schneider (2008). Vom Diskurs Zum Dispositiv. Eine Einführung in Die Dispositivanalyse. Bielefeld: Transcript.
216. Burki S.J., Sebastian E. (1996). *Latin America after Mexico: Quickening the Pace*, Latin American and Caribbean Studies Viewpoints. Washington, D.C., World Bank.
217. Callon M. (1998). The Embeddedness of Economic Markets in Economics // *The Laws of the Markets* (ed. by M. Callon). Oxford: Blackwell. Pp. 1–57.
218. Callon M. (2005). Technology, Politics, and the Market: An Interview // Barry A., Slater D. (eds.). *Technological Economy*. Oxford, New York: Routledge. Pp. 285–306.
219. Callon M. (2007). What does it mean to say that economics is performative? // *Do economists make markets?* (eds. by D. MacKenzie, F. Muniesa, L. Siu). Princeton: Princeton University press. Pp. 311–357.
220. Callon M. (ed.). (1998). *The laws of the markets*. London: Blackwell.
221. Camerer C.F. (2007). Neuroeconomics: Using neuroscience to make economic predictions. // *The Economic Journal*. Vol. 117. No. 519. Pp. 26–42.
222. Camerer C.F., Loewenstein G. (2004). Behavioral economics: past, present, and future // Loewenstein G., Rabin M., Camerer C.F. (eds). *Advances in behavioral economics*. Princeton: Princeton University Press. Pp. 3–51.
223. Camerer C.F., Loewenstein G., Prelec D. (2005). Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics // *Journal of Economic Literature*. Vol. 43. Pp. 9–64.
224. Cameron J., Siegmann K.A. (2012). Why did mainstream economics miss the crisis? The role of epistemological and methodological blinkers // *On the Horizon*. Vol. 20. Iss. 3. Pp. 164–171.
225. Cammack P. (2002). The Mother of all Governments: The World Bank's Matrix for Global Governance // Wilkinson R., Hughes S. (eds). *Global Governance: Critical Perspectives*. Oxford: Routledge. Pp. 36–53.
226. Caplin A. (2008). Economic theory and Psychological Data: Bridging the Divide // *The Foundations of Positive and Normative Economics: A Hand Book*. Oxford University Press.

227. Carnap R. (1967). *The Logical Structure of the World*. Berkeley: University of California Press.
228. Carrier M., Nordmann A. (eds). (2011). *Science in the context of application. Methodological change, conceptual transformation, cultural reorientation*. Springer.
229. Cartwright N. (2001). *Ceteris Paribus Laws and Socio-Economic Machines // The Economic World View. Studies in the Ontology of Economics*. Cambridge University Press. Pp. 275–292.
230. Cartwright N. (2008). *Models: Fables v. Parables // Insights*. Vol. 1. No. 11. Pp. 2–10.
231. Chang H.J. (2011). *Institutions and economic development: Theory, policy and history // Journal of Institutional Economics*. Vol. 7. No. 4. Pp. 473–498.
232. Charnock G. (2006). *Improving the mechanisms of global governance? The ideational impact of the World Bank on the national reform agenda in Mexico // New Political Economy*. Vol. 11. No. 1. Pp. 73–98.
233. Cheysson E. (1886). *La statistique géométrique: méthode pour la solution des problèmes commerciaux et industriels. Conférence faite au Congrès de l'enseignement technique, industriel et commercial à Bordeaux, le 24 septembre*.
234. Coase R.H. (1997). *Interview with Ronald Coase // Newsletter of the International Society for New Institutional Economics*. Vol. 2. No. 1. Pp. 3–10. <http://www.coase.org/coaseinterview.htm>
235. Coase R.H. (1994). *Essays on Economics and Economists*. University of Chicago Press.
236. Coats A. W. (1993). *The Sociology and Professionalization of Economics: British and American Economic Essays*. Vol 2. Routledge.
237. Coats B., Durham N.C. (eds.) (1981). *Economists in Government: An International Comparative Study*. Duke University Press.
238. Cocchiarella N. (1974). *Formal Ontology and the Foundations of Mathematic // Bertran Russell Philosophy* (ed G. Nakhikian). London: Duckworth. Pp. 29–46.
239. Cochrane J.H. (2010). *Interview with John Cochrane posted by John Cassidy // The New Yorker*. January 13.
240. Cochrane J.H. (2011). *How did Paul Krugman get it so wrong? Economic Affairs*, 31. Pp. 36–40.
241. Cohen J., Easterly W. (eds.) (2009). *What Works in Development? Thinking Big and Thinking Small*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
242. Colander D. (2000). *The death of neoclassical economics // Journal of the History of Economic Thought*. Vol. 22. No. 2. Pp. 127–143.
243. Colander D. (2001). *The Lost Art of Economics. Essays on Economics and Economic Profession*. Edward Elgar.

244. Colander D. (2006). *The Stories Economists Tell. Essays on the Art of Teaching Economics*. Boston: McGraw-Hill.
245. Colander D. (2007). *The Making of an Economist, Redux*. Princeton: Princeton University Press.
246. Colander D., Holt R.P.F., Rosser J.B. (2007). Live and Dead Issues in the Methodology of Economics // *Journal of Post-Keynesian Economics*. Vol. 30. No. 2. Pp. 303–312.
247. Colander D., Holt R.P.F., Rosser J.B. (2010). How to Win Friends and (Possibly) Influence Mainstream Economists // *Journal of Post-Keynesian Economics*. Vol. 32. Pp. 397–408.
248. Colander D.C. (2009). *The Making of a European Economist*, – Cheltenham, Edward Elgar.
249. Collier A. (1989). *Scientific Realism and Socialist Thought*. Harvester Wheatsheaf. Boulder (Colo.), Hemel Hempstead: Harvester wheatsheaf (Herts.).
250. Corcos A., Pannequin F. (2011). Neuroeconomics, decision-making and rationality // *Economie et institution*. Vol. 16. Pp. 13–32.
251. Corry L. (1996). *Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures*. Basel, Boston, Berlin: Birkhauser Verlag.
252. Craver C., Alexandrova A. (2008). No revolution necessary: neural mechanisms for economics // *Economics and Philosophy*, Vol. 24. No. 3. Pp. 381–406.
253. Crosby A. W. (1998). *The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250–1600*, Cambridge: Cambridge University Press.
254. Currie L. (1981). *The Role of Economic Advisers in Developing Countries: Contributions in Economics and Economic History*. Westport, Conn.: Greenwood.
255. Daston L. (2000). Why statistics tend not only to describe the world but to change it // *London Review of Books*. Vol. 22. No. 8. Pp. 35–36.
256. Daston L., Galison P. (2010). *Objectivity*. N.Y.: Zone Books.
257. Davidson P. (1983). Rational expectations: a fallacious foundation for studying crucial decision-making processes // *Journal of Post Keynesian Economics*. No. 5. Pp. 182–198.
258. Davis J.B. (2016). Economics Imperialism versus Multidisciplinarity // *History of Economic Ideas* No. 24. Pp. 77–94.
259. De Alessi L. (1987). Nature and methodological foundations of some recent extensions of economic theory // *Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics*, by G. Radnitzky, P. Bernholtz (eds.). New York: Paragon House Publishers. Pp. 51–78.
260. DeMunagorri R.E. (2002). Quel statut pour l'expert? // *Revue française d'administration publique (E.N.A.)*. Vol. 103. No. 3. Pp. 379–389.

261. De Vroey M., Pensieroso L. (2016). The Rise of a Mainstream in Economics. IRES Discussion Paper No. 26. Louvain: Université Catholique de Louvain.
262. De Waal F.B. (2005). How animals do business // *Scientific American*. Vol. 292. No. 4. Pp. 72–79.
263. Dear P. (1995). *Discipline & experience: The mathematical way in the scientific revolution*. Chicago-London: The Univ. of Chicago Press. Pp. 382–383.
264. Debreu G. (1991). The Mathematization of Economic Theory. // *American Economic Review*, Jg.81, H. 1. Pp. 1–7.
265. Debreu G. (1986). Theoretical Models: Mathematical Form and Economic Content // *Econometrica*, Vol. 54. No. 6. Pp. 1259–1270.
266. DeLong B. (2011). Economics in Crisis // *Project Syndicate*. April, 29.
267. Desrosières A. (1998). *The politics of large numbers: a history of statistical reasoning*. L.: Oxford University Press.
268. Dezalay Y., Garth B. (1996). *Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*. Chicago: University of Chicago Press.
269. Dezalay Y., Garth B. (2006). Les usages nationaux d'une science 'globale': La diffusion de nouveaux paradigmes économiques comme stratégie hégémonique et enjeu domestique dans les champs nationaux de reproduction dans élites d'Etat // *Sociologie du travail*. Vol. 48. No. 3. Pp. 308–329.
270. Divisia F. (1951). *Exposés d'économie: L'apport des ingénieurs français aux sciences économiques*. Paris: Dunod.
271. Donato-Rodríguez X., Zamora-Bonilla J. (2009). Credibility, Idealisation, and Model Building: An Inferential Approach. *Erkenntnis*. Vol. 70. No. 1. Pp. 101–118.
272. Dorris M. C., Glimcher P. W. (2004). Activity in posterior parietal cortex is correlated with the relative subjective desirability of action // *Neuron*, Vol. 44. Pp. 365–378.
273. Dumez H. (1985). *L'économiste, la science et le pouvoir: le cas Walras*. Paris: PUF.
274. Dunne J. (2005). An intricate fabric: Understanding the rationality of practice. *Pedagogy, Culture and Society*. Vol. 13. No. 3. Pp. 367–389.
275. Dunning T. (2012). *Natural experiments in the social sciences: a design-based approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
276. Dupuit J. (1844). De la mesure de l'utilité des travaux publics // *Annales des Ponts et chaussées*. No. 8. 1850. Pp. 332–375.
277. Duvendack M., Palmer-Jones R., Reed W.R. (2017). What is meant by «replication» and why does it encounter resistance in economics? // *American Economic Review*. Vol. 107. No. 5. Pp. 46–51.

278. Earle J, Moran C, Ward-Perkins Z. (2018). *The Econocracy: The Perils of Leaving Economics to the Experts*. Manchester University Press.
279. Earle J, Moran C, Perkins Z.W. (2018). *The Econocracy: On the Perils of Leaving Economics to the Experts*. Penguin.
280. Eichengreen B. (2009). *The Last Temptation of Risk* // *National Interest* (May/June). PH. 8-14.
281. Einav L, Levin J. (2014). Economics in the age of big data // *Science*. Vol. 346.No. 6210, 1243089.
282. Etner F. (1987). *Histoire du calcul économique en France*. Paris: Economica.
283. Evans P, Finnemore M. (2001). *Organizational Reform and the Expansion of the South's Voice at the Fund*. Paper presented at the meeting of the G-24 Technical Group, Washington, D.C., April.
284. Faccarello G. (1986). *Aux origines de l'économie politique liberale: Pierre de Boisguilbert*. Paris: Editions Anthropos.
285. Fama E. (2010). Interview with Eugene Fama posted by John Cassidy // *The New Yorker*. January 13.
286. Fernández R. (2011). Does culture matter? // Benhabib J, Bisin A, Jackson M.O. (Eds.). *Handbook of Social Economics*. Pp. 481–510.
287. Fine A. (1993). Fictionalism // *Midwest Studies in Philosophy*. Vol. 18.No. 1. Pp. 1–18.
288. Fine B. (1999). A Question of Economics: Is It Colonising the Social Sciences? // *Economy and Society*. Vol. 28.No. 3. Pp. 403–25.
289. Finnemore M. (1993). International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and Science Policy // *International Organization*, Vol. 47.No. 4. Pp. 565–598.
290. Fitzgerald J, O'Rourke B. (2015). Performing economics: how economics discourse gets enacted in radio news interviews // 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis 2015 July 8th to July 10th. 2015.
291. Flyvberg B. (2001). *Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again*. Cambridge: Cambridge University Press.
292. Foley D.K. (2008). *Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology*. Harvard University Press.
293. Forman P. (2007). The primacy of science in modernity, of technology in postmodernity, and of ideology in the history of technology // *History and Technology*. No. 23(1/2). Pp. 1–152.
294. Foucault M. (1994). Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir. In *Dits et Ecrits*. Vol. 11. Paris: Gallimard. Pp. 523–4.

295. Foucault M. (2004). *Sécurité, territoire, population*. Cours au Collège de France (1977–1978). Paris: Gallimard.
296. Foucault M. (2008). *The birth of Biopolitics*. lectures at the Collège de France, 1978–1979. New York: Palgrave Macmillan.
297. Fourcade M. (2006). The construction of a global profession: The transnationalization of economics // *American Journal of Sociology*, Vol. 112, No. 1. Pp. 145–194.
298. Fourcade M. (2009). *Economists and Societies. Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s*. Princeton: Princeton University Press.
299. Fourcade M., Ollion E., Algan Y. (2015). The Superiority of Economists // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 29, No. 1. Pp. 89–114.
300. Frank J., Pettit P. (1992). In *Defense of Explanatory Ecumenism*. *Economics and Philosophy*. Vol. 8. Pp. 1–21.
301. Freidson E. (1986). *Professional Powers: A Study in the Institutionalization of Formal Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.
302. Frey B.S., Eichenberger R. (1993). American and European economics and economists // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 7, No. 4. Pp. 85–93.
303. Friedman M. (1999). *Conversation with Milton Friedman // Conversations with Leading Economists: Interpreting Modern Macroeconomists*, Cheltenham: Edward Elgar. Pp. 122–44.
304. Friedman M. (1999). *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
305. Frigg R. (2010). Models and fiction // *Synthese*. Vol. 172, No. 2. Pp. 251–268.
306. Fumagalli R. (2015). Five theses on neuroeconomics // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 23, No. 1. Pp. 77–96.
307. Fumagalli R. (2016). Choice models and realistic ontologies: three challenges to neuro-psychological modelers // *European Journal for Philosophy of Science*. Vol. 6. Pp. 145–164.
308. Furner M.O., Supple B. (1990). *The State and Economic Knowledge*. Cambridge University Press.
309. Gan J.O., Walton M.E., Phillips P.E. (2009). Dissociable cost and benefit encoding of future rewards by mesolimbic dopamine. *Nat. Neurosci*. Vol. 13. Pp. 25–27.
310. Gan J.O., Walton M.E., Phillips P.E. (2009). Dissociable cost and benefit encoding of future rewards by mesolimbic dopamine. *Nat. Neurosci*. Vol. 13. Pp. 25–27.
311. Ganichev N. A., Koshovets O.B. (2019). *Integrating Russia into the Global Project of Digital Transformation: Opportunities, Problems*

- and Risks // *Studies on Russian Economic Development*. Vol. 30. Pp. 627–636.
312. Gärtner M. (2001). Teaching Economics to Undergraduates in Europe. Volume, Structure, and Contents // *Journal of Economic Education*. No. 32 (3). Pp. 219–30.
  313. Gärtner M., Griesbach B., Jung F. (2013). Teaching Macroeconomics after the Crisis. A Survey among Undergraduate Instructors Europe and the United States // *Journal of Economic Education*. Vol. 44. No. 4. Pp. 406–416.
  314. Geertz C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
  315. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. (2008). *The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies*. Sage.
  316. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. (eds). (1994). *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. SAGE.
  317. Giere R.N. (1988). *Explaining Science: A Cognitive Approach*. Chicago: University of Chicago Press.
  318. Gigerenzer G. (1990). Probabilistic thinking and the fight against subjectivity // *The Probabilistic Revolution*. Vol. 2. Pp. 11–33.
  319. Gilboa I., Postlewaite A., Samuelson L., Schmeidler D. (2014). Economic Models as Analogies. *The Economic Journal*. Vol. 124. No. 578. Pp. 513–533.
  320. Glimcher P. (2011). *Foundations of Neuroeconomic Analysis*. New York: Oxford University Press.
  321. Glimcher P.W. (2003). *Decisions, uncertainty, and the brain: the science of neuroeconomics*. Cambridge Mass.: MIT Press.
  322. González G. (2013). El profesorado en formación y las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. *Uni-Pluriversidad*. Vol. 13. No. 38. Pp. 24–34.
  323. Grattan-Guinness I. (1984). Work for the Workers: Advances in Engineering Mechanics and Instruction in France, 1800–1930 // *Annals of Science*. No. 41. Pp. 1–33.
  324. Grattan-Guinness I. (1990). *Convolutions in French Mathematics, 1800–1840: From the Calculus and Mechanics to Mathematical Analysis and Mathematical Physics*. Basel: Birkhäuser.
  325. Gray J.H. (1987). The economic approach to human behavior: its prospects and limitations // *Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics*, by G. Radnitzky, P. Bernholtz (eds.). New York: Paragon House Publishers. Pp. 33–50.

326. Grüne-Yanoff T., Schweinzer P. (2008). The roles of stories in applying game theory // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 15. Is. 2. Pp. 131–146.
327. Grüne-Yanoff T., Marchionni C. (2018). Modeling model selection in model pluralism // *Journal of Economic Methodology*. No. 25. Pp. 265–275.
328. Guala F. (2012). Experimentation in Economics. // *Handbook of the Philosophy of Science*, Vol. 13: Philosophy of Economics, ed. by U. Mäki. Amsterdam: Elsevier. Pp. 597–640.
329. Guiso L., Sapienza P., Zingales L. (2006). Does culture affect economic outcome // *Journal of economic prospective*. Vol. 20. No. 2. Pp. 23–48.
330. Gul F., Pesendorfer W. (2008). The Case for Mindless Economics // *The Foundations of Positive and Normative Economics*, eds. A. Caplin and A. Schotter. New York: Oxford University Press. Pp. 3–41.
331. Gutting G. (1989). Michel Foucault's Archaeology of Scientific Reason. Cambridge: Cambridge University Press.
332. Hacking I. (1990). *The Taming of Chance*. N.Y.: Cambridge University Press.
333. Hahn F. (1985). In Praise of Economic Theory. The 1984 Jevons Memorial Fund Lecture. L.: University College.
334. Hahn R. (1971). *The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1663–1803*. Berkeley: Univ. California Press. Pp. 35–57.
335. Hamermesh D.S. (2013). Six Decades of Top Economics Publishing: Who and How? // *Journal of Economic Literature*. No. 51 (1). Pp. 162–172.
336. Hampton A.N., Bossaerts P., and O'Doherty J.P. (2008). Neural correlates of mentalizing-related computations during strategic interactions in humans // *PNAS*. Vol. 105. No. 18. Pp. 6741–6746.
337. Hansen W.L. (1991). The Education and Training of Economics Doctorates: Major Findings of the American Economic Association's Commission on Graduate Education // *Economics, Journal of Economic Literature*. Vol. 29. No. 3. Pp. 1054–1087.
338. Hardt L. (2016). The Recent Critique of Theoretical Economics: A Methodologically Informed Investigation // *Journal of Economic Issues*. Vol. 50. No. 1. Pp. 269–287.
339. Harrison G. & Ross D. (2010). *The Methodologies of Neuroeconomics* // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 17. No. 2. Pp. 185–196.
340. Hartmann S. (1999). *Models and Stories in Hadron Physics* // *Models as Mediators: Perspectives on Natural and Social Science* (ed. by M. Morgan and M. Morrison). Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 326–346.



341. Harvey D. (1989). *The Condition of Post-Modernity: An Enquiry into the Origins of Social Change*. Oxford: Basil Blackwell.
342. Hausman D. (1992). *The Inexact and Separate Science of Economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
343. Hausman D. (2011). The inexact and separate philosophy of economics: an interview with Daniel Hausman // *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*. Vol. 4. Issue 1. pP.75–76.
344. Hausman D.M. (2018). *Philosophy of Economics* // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/economics/>.
345. Heilbron J., Magnusson L., Wittrock B. (eds). (1998). *The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity: Conceptual Change in Context, 1750–1850*. Dordrecht: Kluwer.
346. Henderson W., Samuels W.J. (2004). The etiology of Adam Smith's division of labor: alternative accounts and Smith's methodology applied to them // *Essays on the history of economics*. London, N.Y.: Routledge. Pp. 8–71.
347. Hicks J.R. (1976). *Revolutions in economics* // *Method and appraisal in economics* (ed. J.L. Spiro). Cambridge. Pp. 207–218.
348. Hill R. (2000). The Case of the Missing Organizations. Co-Operatives and the Textbooks // *Journal of Economic Education*. No. 31 (3). Pp. 281–295.
349. Hirschman D., Popp Berman E. (2014). Do economists make policies? On the political effects of economics // *Socio-Economic Review*. Vol. 12, No. 4. Pp. 779–811.
350. Hodgson G.M. (2009). The Great Crash of 2008 and the Reform of Economics // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 33. Issue 6. Pp. 1205–1221.
351. Hont I., Ignatieff M. (eds.). (1983). *Wealth and Virtue: The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment*. N.Y.: Cambridge University Press.
352. Hoover K. (2012). Pragmatism, Perspectival Realism, and Econometrics // *Economics for Real: Uskali Mäki and the Place of Truth in Economics*. Routledge. Pp. 223–240.
353. Hoyningen-Huene P. (2015). *Appreciation Problems of Neuroeconomics*. Lecture in Leibniz University Hannover, Inst. of Philosophy & University of Zurich, Dept. of Economics.
354. Hutchison T. (1998). Ultra-deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 5. No. 1. Pp. 43–91.
355. Jaffé W. (ed.) (1965). *Correspondence of Léon Walras and Related Papers*. 3 vols. North Holland.

356. Jamison A. (2012). *Turning Engineering Green: Sustainable Development and Engineering Education* // *Engineering, Development and Philosophy*. Springer. Pp. 7–22.
357. Jevons W.S. (1981). *The Papers and Correspondence of W.S. Jevons*. 7 vol. London: Macmillan.
358. Jo T.-H., Chester L., King M.C. (2012). Beyond market-fundamentalist economics: an agenda for heterodox economics to change the dominant narrative // *On the Horizon*. Vol. 20. Iss. 3. Pp. 155–163.
359. Kaldor N. (1972). The Irrelevance of Equilibrium Economics // *The Economic Journal*. Jg. 82. H. Dez. Pp. 1237–1255.
360. Kalenscher, T., Wingerden, M. (2011). Why we should use animals to study economic decision making – a perspective // *Frontiers in Neuroscience*. Vol. 5. No. 82. Pp. 1–11.
361. Kalmi P. (2006). The Disappearance of Cooperatives from Economics Textbooks // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 31. No. 4. Pp. 625–647.
362. Kay J. (2011). The Random Shock that Clinched a Brave Nobel Prize // *Financial Times*, October 18.
363. Keen S. (2004). *Debunking Economics. The Naked Emperor of the Social Sciences*. Reprinted. Annandale. NSW: Pluto Press.
364. Kincaid H. (2012). Some Issues Concerning the Nature of Economic Explanation // *Philosophy of Economics*. North-Holland. Pp. 137–158.
365. Klamer A., Colander D. (1990). *The Making of an Economist*. Boulder, Westview Press.
366. Klant J.J. (1994). *The Nature of Economic Thought. Essays Economic Methodology*. Aldershot: Edward Elgar.
367. Knorr Cetina K.D. (1984). *The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science*. Oxford: Pergamon Press.
368. Knorr-Cetina K.D. (1999). *Epistemic cultures: how the sciences make knowledge*. Cambridge: Harvard University Press.
369. Knorr-Cetina K.D., Bruegger U. (2002). Global Microstructures: The Virtual Societies of the Financial Markets // *American Journal of Sociology*, Vol. 107. No. 4. Pp. 905–950.
370. Knuuttila T. (2017). Imagination extended and embedded: artifactual versus fictional accounts of models. *Synthese*.
371. Koshovets O., Varkhotov T. (2019). Neuroeconomics: New Heart for Economics or New Face of Economic Imperialism // *Journal for Institutional Studies*. Vol. 11. No. 1. Pp. 6–19.
372. Krajbich I., Oud B. and Fehr E. (2014). Benefits of Neuroeconomic Modeling: New Policy Interventions and Predictors of Preference //

- American Economic Review: Papers & Proceedings. Vol. 104. No. 5. Pp. 501–506.
373. Kuran M. & Yarrow D. (2018). The Global Governance of Systemic Risk: How Measurement Practices Tame Macroprudential Politics // *New Political Economy*. Vol. 24. No. 6. Pp. 816–832.
374. Krueger A.O. et al. (1991). Report on the Commission on Graduate Education in Economics // *Journal of Economic Literature*. Vol. 29. No. 3. Pp. 1035–1053.
375. Krueger F., McCabe K., Moll J., Kriegeskorte N., Zahn R., Strenziok M., Heinecke A., Grafman J. (2007). Neural correlates of trust. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 104, 20084–20089.
376. Krugman P. (1979). A Model of Innovation, Technology Transfer and the World Distribution of Income // *Journal of Political Economy*. Vol. 87. No. 2. Pp. 253–266.
377. Krugman P. (1994). The Fall And Rise Of Development Economics. <https://web.mit.edu/krugman/www/dishpan.html>.
378. Krugman P. (1998). Two Cheers for Formalism // *Economic Journal*. Vol. 108. No. 451. Pp. 1829–1836.
379. Krugman P. (2009). How Did Economists Get It So Wrong? // *New York Times Magazine*, September 2.
380. Kuorikoski J., Lehtinen A. (2018). Model selection in macroeconomics: DSGE and ad hocness // *Journal of Economic Methodology*. No. 25. Pp. 252–264.
381. Lakoff G. (1993). *The Contemporary Theory of Metaphor* // *Metaphor and Thought*. / ed. A. Ortony. Cambridge: Cambridge University Press.
382. Latour B. (1987). *Science in Action. How to follow scientists and engineers through society?* Harvard University Press.
383. Latour B. (1991). *Nous n'avons jamais été modernes Essai d'anthropologie symétrique*. Paris: Editions la Découverte.
384. Latour B., Woolgar S. (1986). *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
385. Lawson T. (1997). *Economics and Reality*. L.: Routledge.
386. Lawson T. (2003). *Reorienting Economics*. L., N.Y.: Routledge.
387. Lawson T. (2004). A conception of Ontology. The Cambridge Social Ontology Group Position paper.
388. Lawson T. (2009). The Current Economic Crisis: its Nature and the Course of Academic Economics // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 33. No. 4. Pp. 759–777.
389. Lawson T. (2012). Mathematical Modelling and Ideology in the Economics Academy: competing explanations of the failings of the modern discipline? // *Economic Thought*. Vol. 1. No. 1. Pp. 3–22.

390. Lazear E. (2000). Economic Imperialism // *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 115. No. 1. Pp. 99–146.
391. Leamer E. (2008). *Macroeconomic Patterns and Stories*. Berlin: Springer.
392. Leamer E. (2012). *The Craft of Economics*. MIT Press.
393. Leatherdale S.T. (2019). Natural experiment methodology for research: a review of how different methods can support real-world research // *International Journal of Social Research Methodology*. Vol. 22. No. 1. Pp. 19–35.
394. Lebaron F. (2000). *La croyance économique: Les économistes entre science et politique*. Paris: Seuil.
395. Lebaron F. (2000). The Space of Economic Neutrality: Types of Legitimacy and Trajectories of Central Bank Managers // *International Journal of Contemporary Sociology*. Vol. 37. No. 2. Pp. 207–228.
396. Lebaron F. (2006). 'Nobel' Economists as Public Intellectuals. The Circulation of Symbolic Capital // *International Journal of Contemporary Sociology*, Vol. 43. No. 1. Pp. 87–101.
397. Lebaron F. (2014). *The World of Economics: A Strong Field – Pegged to the Field of Power* // Presentation at the Workshop *Die Soziologie ökonomischen Wissens*, Jena.
398. Lee F.S. (1970). To Be a Heterodox Economist: The Contested Landscape of American Economics, 1960s and 1970s // *Journal of Economic Issues*. Vol. 38. No. 3. Pp. 747–763.
399. Leijonhufvud A. (2006). The uses of the past Discussion paper No 603 // Working Papers from Department of Economics, University of Trento, Italia. <https://core.ac.uk/download/pdf/11829511.pdf>.
400. Lenger A. (2018). Socialization in the Academic and Professional Field: Revealing the Homo Oeconomicus Academicus // *Historical Social Research*. Vol. 43. No. 3. Pp. 39–62.
401. Leonard T.C. (2008). Review of «Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*» // *Constitutional Political Economy*. Vol. 19. No. 4. Pp. 356–360.
402. Levine D.K. (2012). Why Economists Are Right: Rational Expectations and the Uncertainty Principle in Economics // *Huffington post*, January 26.
403. Levi-Strauss C. (1954). Mathematics of man // *International Social Science Bulletin*. Vol. 6. Pp. 581–591.
404. Lindenfeld D. (1997). *The Practical Imagination: The German Sciences of State in the Nineteenth Century*. Chicago: University of Chicago Press.
405. Lindqvist S. (1990). Labs in the Woods: The Quantification of Technology during the Late Enlightenment // Frängsmyr T.,

- Heilbron J.L., Rider R.E. (eds). *The Quantifying Spirit in the 18th Century*. University of California Press. Pp. 291–314.
406. Lipsey R.G. (2001). Successes and Failures in the Transformation of Economics // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 8. No. 2. Pp. 169–201.
407. Loren R.G., Wolf L., Weingart P. (1983). *Functions and Uses of Disciplinary Histories*. Boston: D. Reidel Publishing Company.
408. Louçã F. (2007). *The Years of High Econometrics*. N.Y.: Routledge.
409. Louie K., Glimcher P.W. (2010). Separating value from choice: delay discounting activity in the lateral intraparietal area. *J. Neurosci.* Vol. 30. Pp. 5498–5507.
410. Love J.L. (1980). Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange // *Latin American Economic Review*. Vol. 15. No. 3. Pp. 45–72.
411. Lucas R. (1980). Methods and problems in business cycle theory // *Journal of Money, Credit and Banking*. Vol. 12. No. 4. Pp. 696–715.
412. Lucas R. (1981). *Studies in Business-Cycle Theory*. Oxford: Basil Blackwell.
413. Lucas R. (1988). What Economists Do. [http://home.uchicago.edu/~vlima/courses/econ203/fall01/Lucas\\_wedo.pdf](http://home.uchicago.edu/~vlima/courses/econ203/fall01/Lucas_wedo.pdf).
414. Lucas R. (2003). Macroeconomic Priorities // *The American Economic Review*. March.
415. Lucas R. (2009). In Defense of the Dismal Science // *The Economist*, Aug. 6.
416. Lynch Z., Larson B. (2009). *The neuro revolution: How brain science is changing our world*. N.Y.: St. Martin's press.
417. MacKenzie D., Millo Y. (2003). Constructing a Market, Performing a Theory: The Historical Sociology of Financial Derivatives Exchange // *American Journal of Sociology*. Vol. 109. No. 1. Pp. 107–145.
418. MacLeod M., Rubenstein E. (2006). «Universals» // *The Internet Encyclopedia of Philosophy* (eds. J. Fieser & B.Dowden).
419. Maesse J. (2013). Spectral performativity. How economic expert discourse constructs economic worlds // *Economic Sociology. The European Electronic Newslette*. Vol. 14. No. 2. Pp. 25–31.
420. Maesse J. (2015a). Crisis management policy. How discourses shape academic-political actors // *On the Horizon*, Vol. 23, No. 3. Pp. 231–245.
421. Maesse J. (2016). The power of myth. The dialectics between 'elitism' and 'academism' in economic expert discourse // *European Journal of Cross-Cultural Competence and Management*. Vol. 4. No. 1. Pp. 3–20.
422. Maesse J. (2018). Opening the Black Box of the Elitism Dispositif: Graduate Schools in Economics // Bloch R., Mitterle A., Paradeise A.

- Peter T. (eds.) *Universities and the Production of Elites: Discourses, Policies, and Strategies of Excellence and Stratification in Higher Education*. London: Palgrave Macmillan. Pp. 53–79.
423. Maesse J., Nicoletta G.C. (2021) Economics as ideological discourse practice: a Gramsci-Foucault-Lacan approach to analysing power/knowledge regimes of subjectivation // *Journal of Multicultural Discourses*. Vol. 16. No. 2. Pp. 107–126.
424. Maesse J. (2015b). Economic experts. A discursive political economy of economics // *Journal of Multicultural Discourses*. Vol. 10. No. 3. Pp. 279–305.
425. Mahoney J., Goertz G. (2006). A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research // *Political Analysis*. Vol. 14. Pp. 227–249.
426. Mair A. Miller D. (eds.) (1992). *A Modern Guide to Economic Thought: Introduction to Comparative Schools of Thought in Economics*. Edward Elgar Publishing.
427. Mäki U. (1992). On the method of isolation in economics // *Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Idealization IV: Intelligibility in Science, ed. by C.Dilworth)*. No. 26. Pp. 319–354.
428. Mäki U. (1999). Science as a free market: A reflexivity test in an economics of economics // *Perspectives on Science*. Vol. 7. Pp. 486–509.
429. Mäki U. (2005). Models are experiments, experiments are models // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 12. No. 2. Pp. 303–315.
430. Mäki U. (2007). Economics imperialism and scenarios of scientific progress. Manuscript unpublished.
431. Mäki U. (2009). Economics Imperialism: Concept and Constraints // *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 39. No. 3. Pp. 351–380.
432. Mäki U. (2009). MISSing the world: Models as isolations and credible surrogate systems // *Erkenntnis*. Vol. 70. No. 1. Pp. 29–43.
433. Mäki U. (2018). Empirical turn in economics? // *The 30th Annual EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) Conference 2018. Evolutionary foundations at a crossroad: Assessments, outcomes and implications for policy makers, – Nice, France. 6–8 September.*
434. Mäki U. (ed.) (2001). *The Economic World View. Studies in the Ontology of Economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
435. Maloney J. (1985). *Marshall, Orthodoxy and the Professionalisation of Economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
436. Mannheim K. (1985). *Ideologie Und Utopie*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
437. Marchionni C., Vromen J. (2010). Neuroeconomics: Hype or hope? // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 17. Pp. 2, 103–106.

438. Markoff J., Montecinos V. (1993). The Ubiquitous Rise of Economists // *Journal of Public Policy*. Vol. 13. No. Pp. 37–68.
439. Marshall A. (2008). The Present Position of Economics. BiblioLife.
440. Martini C., Boumans M. (eds.) (2014). *Experts and consensus in social science*. New York: Springer.
441. McCloskey D. (1990). *Storytelling in economics* // Nash C. (ed.) *Narrative in culture. The uses of Storytelling in the sciences, philosophy and literature*. London: Routledge. Pp. 5–22.
442. Mcrae R.F. (1961). *The Problem of the Unity of the Sciences: Bacon to Kant*. Toronto: University of Toronto Press.
443. Megill A. (1994). *Rethinking Objectivity*. Duke University Press.
444. Ménard C. (1978). *La formation d'une rationalité économique: A.A. Cournot*. Paris: Flammarion.
445. Menger K. (1974). *Morality, Decision and Social Organization*. Springer.
446. Meynaud J. (1964). *La technocratie, mythe ou réalité?* Paris: Payot.
447. Miller P. (2001). *Governing by numbers. Why calculative perspectives matter* // *Social Research*. Vol. 68. P. 2; Pp. 379–396.
448. Mirowski P. (1984). *Physics and the 'marginalist revolution'* // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 8. No. 4. Pp. 361–379.
449. Mirowski P. (1989). *More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics*. Cambridge University Press.
450. Mirowski P. (1991). *The When, the How and the Why of Mathematical Expression in the History of Economic Analysis* // *Journal of economic perspectives*. Vol. 5. No. 1. Pp. 145–157.
451. Mirowski P. (1992). *What Were von Neumann and Morgenstern Trying to Accomplish?* // *History of Political Economy*. No. 24. Pp. 113–147.
452. Mirowski P. (2013). *Never let a serious crisis go to waste: how neoliberalism survived the financial meltdown*. London: Verso.
453. Mirowski P., Nik-Khah E. (2017). *The Knowledge We Have Lost in Information: The History of Information in Modern Economics*. Oxford University Press.
454. Morgan M. (2001). *Models, Stories and the Economic World* // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 8. No. 3. Pp. 361–384.
455. Morgan M. (2002). *Model experiments and models in experiments* // *Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values*, ed. by L. Magnani and N.J. Nersessian. Dordrecht: Kluwer. Pp. 41–58.
456. Morgan M. (2005). *Experiments versus models: New phenomena, inference and surprise* // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 12. No. 2. Pp. 317–329.

457. Morgan M. (2008). Economics. // Porter T.M. (ed.) The Cambridge History of Science. The Modern Social Sciences. Cambridge University Press. Pp. 275–306. Vol. 7.
458. Morgan M. (2012). The World in the Model. How Economists Work and Think. Cambridge.
459. Morgan M.S. (2014). What if? Models, fact and fiction in economics. Journal of the British Academy. No. 2. Pp. 231–268.
460. Morgan M., Morrison M. ed. (1999). Models as Mediators. Cambridge: Cambridge University Press.
461. Morgan M.S., Rutherford M., (eds.) (1998). From Interwar Pluralism to Postwar Neoclassicism. Supplemental issue to vol. 30 of History of Political Economy. Durham, N.C.: Duke University Press.
462. Mortensen D., Pissarides C. (1994). Job creation and job destruction in the theory of unemployment // Review of Economic Studies. No. 61. Pp. 397–415.
463. Mortensen J.L. (2012). Seeing like the WTO: numbers, frames and trade law // New political economy. Vol. 17. No. 1. Pp. 77–95.
464. Moschella M. (2012). Seeing Like the IMF on Capital Account Liberalisation. New political economy. Vol. 17. No. 1. Pp. 59–76.
465. Murad M. (2011). Models, Scientific Realism, the Intelligibility of Nature, and their Cultural Significance // Studies in History and Philosophy of Science Part A. Vol. 42. No. 2. Pp. 253–261.
466. Murray Li T. (2005). Beyond «the State» and failed schemes. American anthropologist. Vol. 107. No. 3. Pp. 383–394.
467. McCloskey D. (1991). Economic Science: A Search Through the Hyperspace of Assumptions? // Methodus 3. Pp. 6–16.
468. Naqvi N., Shiv B., Bechara A. (2006). The role of emotion in decision making: A cognitive neuroscience perspective // Current directions in psychological science. Vol. 15. No. 5. Pp. 260–264.
469. Nash S. (2004). On Closure in Economics // Journal of Economic Methodology. Vol. 11. No. 1. Pp. 75–89.
470. Navier C.-L.-M.-H. (2012). On the Means of Comparing the Respective Advantages of Different Lines of Railway and on the Use of Locomotive Engines. HardPress Publishing.
471. Nordmann A. (2006). Collapse of distance: epistemic strategies of science and technoscience // Danish Yearbook of Philosophy. No. 41. Pp. 7–34.
472. Ormerod P.A. (1994). The Death of Economics. London: Faber and Faber.
473. Ozgercin K. (2012). Seeing like the BIS on Capital Rules: Institutionalising Self-regulation in Global Finance // New political economy. Vol. 17. No. 1. Pp. 97–116.



474. Padoa-Schioppa C., Assad J.A. (2008). The representation of economic value in the orbitofrontal cortex is invariant for changes of menu // *Nature Neuroscience*. Vol. 11. No. 95–102.
475. Panhans M.T., Singleton J.D. (2017). The empirical economist's Toolkit: from models to methods // *History of Political Economy*. Vol. 49. Supplement. Pp. 127–157.
476. Parker R. (1993). Can Economists Save Economics? // *American Prospect*, 13.
477. Parkin M. (2000). The Principles of Macroeconomics at the Millennium // *American Economic Review*. No. 90 (2). Pp. 85–89.
478. Peirce C. (1998). *The Essential Peirce*. Vol. 2. Eds. Peirce edition Project. Bloomington: Indiana University Press.
479. Petty W. (1899). *The Economic Writings*. Vol. I. Ed. by C.H. Hull. London.
480. Pickering A. (ed). (1992). *Science as practice and culture*. Chicago: University of Chicago Press.
481. Pigou A.C. (1953). *Alfred Marshall and Current Thought*. London: Macmillan.
482. Porter M.E. (2000). Attitudes, values, beliefs, and the microeconomics of prosperity / *Culture matters: how values shape human progress*, eds. L.E.Harrison & S.P.Huntington. N.Y.: Basic Books.
483. Porter T. (1988). *The Rise of Statistical Thinking, 1820–1900*. Princeton University Press.
484. Porter T. (1992). Objectivity as standardization: The rhetoric of impersonality in measurement, statistics, and cost-benefit analysis // *Annals of Scholarship*. No. 9 (1|2). Pp. 19–59.
485. Porter T. (1996). *Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*. Princeton: Princeton University Press.
486. Porter T. (2003). Measurement, Objectivity, and Trust // *Interdisciplinary Research and Perspectives*. No. 1:4. Pp. 241–255.
487. Porter T. (2008). *Statistics and Statistical Methods* // Porter T.M. (ed). *The Cambridge History of Science. The Modern Social Sciences*. Cambridge University Press. Vol. 7. Pp. 238–250.
488. Posner R. (2010). Interview with Richard Posner posted by John Cassidy // *The New Yorker*. January 13.
489. Posner R.A. (2009). *A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
490. Putnam H., Walsh V. (eds.) (2011). *The End of Value-Free Economics*. Routledge.
491. Puttaswamaiah K. (1995). *Nobel Economists. Lives and Contributions*, three volumes. New Delhi: Indus Publishing Company.

492. Pykett J. (2015). *Brain Culture: Shaping Policy Through Neuroscience*. Bristol: Policy Press.
493. Radnitzky G., Bernholz P. (eds.) (1986). *Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics – Pwpa Books*.
494. Rangel A., Camerer C. and Montague P. (2008). A framework for studying the neurobiology of value-based decision making // *Nature Reviews Neuroscience*. Vol. 9. Pp. 545–556.
495. Reiss J. (2014). Struggling Over the Soul of Economics: Objectivity Versus Expertise // C. Martini, M. Boumans (ed.) *Experts and Consensus in Social Science*. Springer. Pp. 131–152.
496. Robbins L.C. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. London: Macmillan.
497. Rodriguez-Pereyra G. (2019). Nominalism in Metaphysics // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (summer 2019 edition, ed. E.N. Zalta).
498. Rodrik D. (2008). The new development economics: We shall experiment, but how shall we learn? – HKS Working Paper No. RWP08–055.
499. Rodrik D. (2011). *The Globalization Paradox. Why Global Markets, States, and Democracy Can't Coexist*. Oxford University Press.
500. Rodrik D. (2015). *Economic Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science*. W.W. Norton.
501. Rorty R. (1991). *Objectivity, Relativism and Truth*. N.Y.: Cambridge University press.
502. Rose N., Abi-Rached J.M. (2013). *Neuro: The New Brain Sciences and the Management of Mind*. Princeton. NJ: Princeton University Press.
503. Rose N., Miller P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government // *The British Journal of Sociology*. Vol. 43. No. 2. Pp. 173–205.
504. Rosenberg A. (1992). *Economics: Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?* Chicago: University of Chicago Press.
505. Rosenberg A. (2011). *The Atheist's Guide to Reality*. New York: Norton.
506. Rosenzweig M., Wolpin K. (2000). Natural «Natural Experiments» in Economics // *Journal of Economic Literature*. Vol. 38. No. 4. Pp. 827–834.
507. Ross D. (2008). Two Styles of Neuroeconomics // *Economics and Philosophy*. Vol. 24. Pp. 473–483.
508. Ross D. (2014). *Philosophy of Economics*. Basingstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan.

509. Ross D. (2018). Economics and allegations of scientism // *Science Unlimited?* University of Chicago Press. Pp. 225–245.
510. Ross D. and Kincaid H. (2009). Introduction: The New Philosophy of Economics // *The Oxford handbook of philosophy of economics*, ed. by H. Kincaid and D. Ross. Oxford: Oxford University Press. Pp. 3–32.
511. Roux S. (2011). Introduction: The Emergence of the Notion of Thought Experiments // *Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts* (eds. by K. Ierodiakonou and S. Roux). Leiden – Boston: Brill.
512. Runde J.H. (1998). Assessing Causal Economic Explanations // *Oxford Economic Papers*. Vol. 50. No. 1. Pp. 151–172.
513. Rusnock A. (1999). Biopolitics: Political Arithmetic in the Enlightenment // *The Sciences in Enlightened Europe*, (ed. W. Clark, J. Golinski, S. Schaffer). Chicago: University of Chicago Press. Pp. 49–68.
514. Saint-Paul G. (2009). A «modest» intellectual discipline // *VOX*. 19 September.
515. Samii C. (2016). Causal empiricism in quantitative research // *Journal of Politics*. Vol. 78. Issue 3. Pp. 941–955.
516. Samuels W.J. (1991). «Truth» and «Discourse» in the Social Construction of Economic Reality // *Journal of Post Keynesian Economics*. Vol. 13. No. 4. Pp. 511–524.
517. Samuelson P. (1983). *Foundations of Economic Analysis*. Enlarged edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
518. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2005). *Economics*. Boston: Irwin McGraw-Hill.
519. Sanfey A.G., Loewenstein G., McClure S.M., Cohen J.D. (2006). Neuroeconomics: cross-currents in research on decision-making // *Trends in Cognitive Sciences*. Vol. 10. Pp. 108–116.
520. Sanfey A.G., Rilling J.K., Aronson J.A., Nystrom L.E., Cohen J.D. (2003). The neural basis of economic decision making in the ultimatum game // *Science*. Vol. 300. Pp. 1755–1757.
521. Sargent T. (2010). Interview with Thomas Sargent by Art Rolnick // *The Region*, Federal Reserve Bank of Minneapolis, September 2010.
522. Schabas M. (2008). *British Economic Theory From Locke To Marshall from PART I – Sciences of the social to the late nineteenth century*. Cambridge University Press.
523. Schmitt F.O. (1990). *The Never-Ceasing Search*. Philadelphia. PA: American Philosophical Society.
524. Schumpeter J.A. (2006). *History of economic analysis*. L& NY: Routledge.

525. Schumpeter J.A., Schumpeter E.B., Mann F.K., Ebner A. (2009). *Geschichte der ökonomischen Analyse*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
526. Scott J. (1998). *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
527. Seabrooke, L. (2006). *The Social Sources of Financial Power: Domestic Legitimacy and International Financial Orders*. NY: Cornell University Press, Ithaca.
528. Sent E.-M. (2001). Sargent's symmetry saga: ontological versus technical constraints // *The Economic World View. Studies in the Ontology of Economics* (ed. U. Maki). Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 335–358.
529. Shapiro B.J. (1984). *Probability and Certainty in Seventeenth-Century England: A Study of the Relationships between Natural Science, Religion, History, Law, and Literature*. The University of Chicago Press.
530. Sharman J.C. (2012). Seeing like the OECD on tax. *New political economy*. Vol. 17. No. 1. Pp. 17–33.
531. Shi-xu (2014). *Chinese discourse studies*. Basingstoke: Palgrave.
532. Simon H.A. (1987). *Bounded Rationality* // *The New Palgrave*. Ed. by J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman. N.Y.: W.W. Norton.
533. Sims C.A. (2010). But Economics Is Not an Experimental Science // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 24. No. 2. Pp. 59–68.
534. Skidelsky R. (2016). *Economists versus the Economy* // Robert Skidelsky personal Website. 23 December.
535. Skolnick Weisberg D., Keil F.C., Goodstein J., Rawson E., Gray J.R. (2008). The seductive allure of neuroscience explanations. *Journal of Cognitive Neuroscience*. Vol. 20. No. 3. Pp. 470–477.
536. Slaughter S., Rhoades G. (2003). *Academic Capitalism and the New Economy*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
537. Smith R. (1997). *The Fontana History of the Human Sciences*. London: Fontana Press.
538. Solow R. (2010). *Building a Science of Economics for the Real World*. // House Committee on Science and Technology Subcommittee on Investigations and Oversight.
539. Sovey A.J., Green D.P. (2011). Instrumental variables estimation in political science: A readers' guide. // *American Journal of Political Science*. Vol. 55. Issue 1. Pp. 188–200.
540. Sparsam J., Pahl H. (2021). Macroeconomics and monetary policy as autonomous domains of knowledge and power. Rational expectations, monetarism and the Federal Reserve // J. Maesse,

- S. Pühringer, T. Rossier, P. Benz (eds.) *Power and influence of economists. Contributions to the social studies of economics.* Oxon. NY: Routledge.
541. Staum M.S. (1996). *Minerva's Message. Stabilizing the French Revolution.* Montreal: McGill-Queen's University Press.
  542. Steiner P. (2003). *Physiocracy and French Pre-Classical Political Economy // A Companion to the History of Economic Thought* (eds. Biddle J.E., Davis J.B., Samuels W.J.). Blackwell Publishing. Pp. 61–77.
  543. Stock W.A., Siegfried J.J. (2014). *Fifteen Years of Research on Graduate Education in Economics: What Have we Learned? // The Journal of Economic Education.* Vol. 45. No. 4. Pp. 287–303.
  544. Sugden R. (2000). *Credible Worlds: The Status of Theoretical Models in Economics // Journal of Economic Methodology.* Vol. 7. No. 1. Pp. 1–31.
  545. Sugden R. (2009). *Credible Worlds, Capacities, and Mechanisms // Erkenntnis.* Vol. 70. No. 1. Pp. 3–27.
  546. Suppe F. (1989). *The Semantic View of Theories and Scientific Realism.* Urbana: University of Illinois Press.
  547. Svorenčík A. (2015). *The Experimental Turn in Economics: A History of Experimental Economics.* // PhD diss. University of Utrecht file:///C:/Temp/SSRN-id2560026.pdf.
  548. Syll L.P. (2016). *Deductivism: the fundamental flaw of mainstream economics // Real World Economics Review.* No. 74. Pp. 20–41.
  549. Syll L.P. (2010). *What is (wrong with) economic theory? // Real-world economics review,* 54.
  550. Syll L.P. (2012a). *Rational expectations – a fallacious foundation for macroeconomics in a non-ergodic world // Real-world economics review.* No. 62. December 12.
  551. Syll L.P. (2012b). *David K. Levine is totally wrong on the rational expectations hypothesis // Real-world economics review.* February 16.
  552. Taylor O.H. (1929). *Economics and the Idea of Natural Laws // The Quarterly Journal of Economics.* Vol. 44. No. 1. Pp. 1–39.
  553. Thakur R., Weiss T.G. (2010). *Global Governance and the UN: An Unfinished Journey.* Bloomington^ Indiana University Press.
  554. Thaler R. (2010). *Interview with Richard Thaler posted by John Cassidy // The New Yorker.* January 21.
  555. Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008). *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness.* New Haven and London: Yale University Press.
  556. Thoma J. (2015). *On the Hidden Thought Experiments of Economic Theory // Philosophy of the Social Sciences.* Vol. 46. No. 2. Pp. 129–146.

557. Thornton D.J. (2011). *Brain Culture: Neuroscience and Popular Media*. New Brunswick: Rutgers University Press.
558. Tilly C. (1990). *Coercion, Capital, and European States, a.d. 990–1992*. Oxford: Blackwell.
559. Toon A. (2010). The ontology of theoretical modelling: Models as make-believe // *Synthese*. Vol. 172. No. 2. Pp. 301–315.
560. Tribe K. (1988). *Governing Economy: German Economic Discourse, 1750–1830*. Cambridge: Cambridge University Press.
561. Valdes J.G. (1995). *Pinochet's Economists: The Chicago School of Economics in Chile. A Study in the Transfer of Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press.
562. Van Fraassen B. (1980). *The Scientific Image*. Oxford: Oxford University Press.
563. Van Leeuwen H.G. (1970). *The Problem of Certainty in English Thought 1630–1690*. Springer.
564. Verran H. (2012). Number. In: *Inventive Methods: The Happening of the Social*. C. Lury, N. Wakeford (eds). London: Routledge Books.
565. Vetterlein A. (2012). Seeing like the World Bank on poverty // *New political economy*. Vol. 17. No. 1. Pp. 35–58.
566. Vidal F, Ortega F. (2017). *Being Brains: Making the Cerebral Subject*. New York: Fordham University Press.
567. Vromen J. (2007). Neuroeconomics as a natural extension of bioeconomics: the shifting scope of standard economic theory // *Journal of Bioeconomics*. Vol. 9. No. 2. Pp. 145–167.
568. Vromen J. (2010). On the surprising finding that expected utility is literally computed in the brain // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 1. No. 17. Pp. 17–36.
569. Wagner P. (1991). *Social Sciences and Modern States*. Cambridge University Press.
570. Walras L. (1960). *Economique et Mécanique* // *Metroeconomica*. Vol. 12. No. 1. P. 3.
571. Walras L. (1965). *Correspondence of Leon Walras and Related Papers*. Amsterdam: North Holland. Vol. 2.
572. Walters B., Young D. (1999). Is Critical Realism the Appropriate Basis for post Keynesianism? // *Journal of Post-Keynesian Economics*. Vol. 22. No 1. Pp. 105–123.
573. Ward B. (1972). *What's Wrong with Economics?* L: Macmillan.
574. Weil A. (1949). *Sur l'étude algébrique de certains types de lois de mariage (Système Murngin)* // C. Lévi-Strauss. *Les structures élémentaires de la parenté*. P.: Presses Universitaires de France. Pp. 278–285.
575. Weintraub R. (2002). *How Economics Became a Mathematical Science*. Durham: Duke University Press.

576. Weyl H. (2009). *Philosophy of Mathematics and Natural Science*. Princeton : Princeton University Press.
  577. Whaples R. (2009). The policy views of American economic association members: The results of a new survey // *Economic Journal Watch*. Vol. 6. No. 3. Pp. 337–348.
  578. Wise M.N. (1989). *Work and Waste: Political Economy and Natural Philosophy in Nineteenth-Century Britain*. *History of Science*. No. 27. Pp. 263–317.
  579. Wright D.J., Ginsburg D.H. (2012). Behavioral Law and Economics: Its Origins, Its Fatal Flaws, and Its Implications for Liberty // *Northwestern University Law Review*. Vol. 106. No. 3. Pp. 1–106.
  580. Ylönen M., Pellizzoni L. (eds.). (2012). *Neoliberalism and Technoscience: Critical Assessments (Theory, Technology and Society)*. Routledge.
  581. Ysmal C. (1972). *Histoire et archéologie. Note sur la recherche de Michel Foucault* // *Revue française de science politique*. Vol. 22. No. 4. Pp. 775–804.
  582. Ziman J. (1998). Why must scientists become more ethically sensitive than there used to be? // *Science*. Vol. 282. No. 5395. Pp. 1813–1814.
  583. Zuidhof P.-W. (2013). Thinking Like an Economist. The Neoliberal Politics of the Economics Textbook // *Review of Social Economy*. Vol. 72. No. 2. Pp. 157–185.
-



Редакционно-издательский отдел:

Тел.: +7 (499) 129 0472

e-mail: [print@inecon.ru](mailto:print@inecon.ru)

[www.inecon.ru](http://www.inecon.ru)

Научное издание

**О.Б. Кошовец**

ОБРАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В НАУКЕ, ПОЛИТИКЕ И ПУБЛИЧНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА

Дизайн серии – Валериус В.Е., Ахмеджанова В.А.

Редактор – Полякова А.В.

Компьютерная верстка – Хацко Н.А.

Подписано в печать 22.05.2023 г.

Заказ № 10. Тираж 300 экз. Объем 18,8 уч.-изд. л.

Отпечатано в ИЭ РАН

ISBN 978-5-9940-0732-7



9 785994 007327